

Знамя.
1945 г.
Кн. 4

189758

3-72

57781

АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Роман 1

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

В течение дня удной через Краснодар и ближние города и по-
двигались гряды силы немецких войск: танковые части, пехота
в машинах, тяжелые артиллерийские орудия, части связи, обозы, санитар-
ные и саперные части, подразделения больших и малых соединений. Гул мото-
ров не умолкая, катился по земле. Массы пыли мглою засти-
ли небо над полем и степью.

В этом тяжелом ритмическом движении неисчислимых войск и ору-
дий войны была какой-то неумолимой порядок — Ordnung. И казалось, нет
света такой силы, которая могла бы противостоять этой силе с ее
неумолимым железным порядком — Ordnung'ом.

Вдавливала громадными колесами землю, плавно и грузно катились
высокие, как вагоны, грузовики с боеприпасами и продовольствием,
пухлые и пузатые цистерны с бензином. Солдаты были в добротном
одежде и ладно пригнанном обмундировании. Офицеры были нарядны.
Впереди двигались румыны, венгры, итальянцы. Пушки, танки, само-
леты этой армии носили клейма всех заводов Европы. У человека, знав-
шего не только русскую грамоту, рябило в глазах от одних марок
близковатых грузовых и легковых машин, и он ужасался тому, какая про-
изводительная сила большинства стран Европы питала немецкую армию,
идущую сейчас через донецкую степь в реве моторов, в чудовищной
пыли, мглою закрывавшей небо.

Даже самый маленький человек, мало смысливший в делах войны,
встретив и видел, как под напором этой силы советские армии стреми-
тельно откатывались на восток и юго-восток, все дальше, неотвра-

тимо, иному казалось — безвозвратно, — к Новочеркаску, Ростову, тихий Дон, в Сальские степи, на Кубань. И кто уже знает правду, те они теперь... И уже только по немецким сводкам и разговорам немецких солдат можно догадаться, где, на каком рубеже бьется, а может быть, сложил голову за землю родную сын твой, отец, муж, брат.

В то время как через город еще продолжали двигаться немецкие части, пожирая, как саранча, все, что еще не было пожрано частями прошедшими ранее, в Краснодаре, как уже в освобожденном городе, хозяйственно и прочно оседали глубокие тылы наступающих немецких армий: их штабы, отделы снабжения, резервные части.

Все эти первые дни существования новой властью немцев, ошеломленные даже внешним видом движения колоссальных масс неприятельских войск, местные жители почти не общались друг с другом. Никто из местных жителей не разбирался в том, какое немецкое начальство здесь временно, а какое постоянно, какая власть установилась в городе и что требуется от жителей, кроме того, что творилось у каждого в доме по произволу проходящих солдат и офицеров. Каждая семья существовала сама по себе, и, все более сознавая безвыходность и ужас своего положения, каждая по-своему применялась к этому новому и ужасному положению.

Новым и ужасным в жизни бабушки Веры и Елены Николаевны было то, что в их доме расположился один из немецких штабов во главе с генералом фон Венцелем, его адъютантом и денщиком с палевой головой и палевыми веснушками. Теперь у их дома всегда стоял немецкий часовой. Теперь их дом всегда был полон свободных как в свой собственный дом, приходивших и уходящих, то совещавшихся, то просто пивших и евших немецких генералов и офицеров, звуков их немецкой речи и звуков немецких граммофонов и немецкой речи на радио. А хозяйева дома, бабушка Вера и Елена Николаевна были вытеснены в маленькую, нестерпимо душную, от беспрерывно топившейся рядом на кухне плиты комнатку и с самого раннего утра до поздней ночи обслуживали господ немецких генералов и офицеров.

Еще вчера бабушка Вера Васильевна была заслужившая себе репутацией на селе общественное имя персональная пенсионерка, мать геолога одного из крупнейших трестов Донбасса, а Елена Николаевна — вдова видного советского работника, заведующего земельным отделом в Каневе, мать лучшего из учеников краснодонской школы, — еще вчера они были всем известные и всеми уважаемые люди. А теперь они были в полном и беспрекословном подчинении у немецкого денщика с палевыми веснушками.

Генерал барон фон Венцель был настолько поглощен делами войны, что не замечал бабушки Веры и Елены Николаевны. Значительную часть времени он проводил в штабе или, сидя в своей комнате, читал, надписывал и подписывал бумаги, которые подавал ему адъютант; или часами сидел над картой и пил коньяк с другими генералами. Иногда генерал сердился и кричал так, будто командовал на плацу, и другие генералы стояли перед ним, вытянув руки по сдвоенным красным лампасам. И бабушке Вере и Елене Николаевне было ясно, что по воле генерала фон Венцеля движутся через Краснодар в глубь страны немецкие войска с танками, самолетами, пушками и генералу важно именно то, чтобы

они двигались и приходили всегда во-время и в то место, куда им назначено. А всё то, что они делали в местах, где они проходили, это не интересовало генерала фон Венцеля, как не интересовало его то, что он живет в доме бабушки Веры и Елены Николаевны.

По приказу генерала фон Венцеля или с его холодного молчаливого согласия возле него и вокруг него совершались сотни и тысячи дурных и грязных поступков: арестовывали и убивали невинных людей, оскорбляли женщин, в каждом доме что-нибудь отбирали, отбирали и у бабушки Веры и у Елены Николаевны сало, мед, яйца, масло, чтобы убогатворить и порадовать генерала в тяжелом военном быту его. И генерал ел сало, мед, яйца и масло, но это не мешало ему так высоко носить неподвижную узкую голову с малиновым кадыком, уверенно расположившимся меж пальмовых ветвей, что, казалось, ничто дурное и грязное не в силах досягнуть до сознания генерала.

Генерал был очень чистоплотный человек, дважды в день, утром и перед сном, мылся с головы до ног горячей водой. Морщины на узком лице генерала и его кадык всегда были чисто выбриты, промыты, надушены. Для него была сделана отдельная уборная, которую бабушка Вера должна была ежедневно мыть, чтобы генерал мог совершать свои дела, не становясь на корточки. Генерал ходил в уборную по утрам всегда в одну и то же время, а денщик караулил возле, и услышав покашливание генерала, подавал ему специальную вафельную бумажку. Но при этой его чистоплотности генерал не стеснялся при бабушке Вере и Елене Николаевне громко отрыгивать пищу после еды, а если он находился один в своей комнате, он выпускал дурной воздух из кишечника, не заботясь о том, что бабушка Вера и Елена Николаевна находятся в комнате рядом.

А адъютант на длинных ногах старался во всем походить на генерала. Казалось, он, адъютант, даже вырос таким длинным только затем, чтобы походить на своего длинного генерала. И так же, как генерал, он старался не замечать ни бабушки Веры, ни Елены Николаевны.

Ни для генерала, ни для его адъютанта бабушка Вера и Елена Николаевна не существовали не только как люди, а даже как предметы. А денщик с палевой головой и палевыми веснушками был теперь их полновластный начальник и хозяин.

И осваиваясь с этим новым и ужасным положением, бабушка Вера с первых же дней обнаружила, что она не согласна мириться с этим положением. Хитрая бабушка Вера догадалась, что денщик с палевыми веснушками не настолько властен в присутствии своих начальников, чтобы посметь убить ее, бабушку Веру. И с каждым днем она все смелее пререкалась с денщиком, а когда он кричал на нее, она сама кричала на денщика. Однажды, вспыхив, он пул ее своим громадным каблуком в поясницу, но бабушка в ответ изо всей силы ударила его сковородкой по голове и, как это ни странно было, побагровевший денщик словно захлебнулся. Такие странные и сложные отношения установились у бабушки Веры с денщиком с палевыми веснушками. А Елена Николаевна все еще находилась в состоянии глубокого внутреннего оцепенения и, неподвижно нося чуть закинутую назад голову в короне пышных светлорусых волос, механически, молча исполняла то, что от нее требовали.

В один из таких дней Елена Николаевна шла по улице, параллельной Садовой, за водой и вдруг увидела двигавшуюся ей навстречу знакомую подводку, запряженную буланым коньком, и идущего рядом с подводой сына Олега.

Елена Николаевна беспомощно оглянулась, выронила ведра и коромысло и, раскинув руки, кинулась к сыну.

— Олечка... мальчик...— повторяла она, то припадая лицом к груди его, то поглаживая его светлорусые, позолотившиеся от солнца волосы, то просто касаясь ладонями его груди, плеч, спины, бедер.

Он был выше ее на голову; за эти дни он сильно загорел, осунулся в лице, возмужал; но сквозь эту возмужалость более чем когда-либо проступали те, навеки сохранившиеся для нее в сыне черты его, какие она знала в нем, когда он лепетал первые слова и делал первые шаги на полных круглых загорелых ножках и его заносило вбок, как ветром. Он действительно был еще только большое дитя. Он обнимал мать своими большими сильными руками, а глаза его из-под широких светлых бровей сияли так, как они сияли матери все эти шестнадцать с половиной лет,— чистым и ясным сыновним светом, и он все повторял:

— Мамо... мамо... мамо...

Никого и ничего не существовало для них в эти несколько мгновений; ни двух немецких солдат, из ближнего двора наблюдавших за ними,— нет ли в этом чего-либо, нарушающего порядок, Ordnung, ни стоявших возле брочки родных людей, с разными чувствами смотревших на встречу матери и сына: дядя Коля— флегматично и печально, тетя Марина— со слезами на черных, красивых, утомленных глазах, трехлетний мальчик— удивленно и капризно, почему не его первого обнимает и целует тетя Лена, а дед-возчик— с тактичным выражением старого человека, вот, мол, какие дела бывают на свете. А добрые люди, тайком наблюдавшие из окон за встречей так похожих друг на друга рослого юноши, с непокрытой опаленной солнцем головой, и совсем еще молодой женщины с пышными косами, окружавшими ее голову, могли бы подумать, что это встретились брат и сестра, когда б они не знали, что это Олег Кошевой вернулся до матери своей, как возвращались теперь сотни и тысячи краснодонцев, не успевших уйти от беды, возвращались к своим родным, в свои хаты, занятые немцами.

Тяжело было в эти дни тем, кто покинул родные места, дом, близких людей. Но те, кто успел уйти от немца, брели уже по своей, советской земле. Насколько тяжелее было тем, кто приложил все усилия, чтобы уйти от немца, и пережил крах этих усилий и видел смерть перед лицом своим и теперь брел по родным местам, которые еще вчера были своими, а вот стали немецкими,— брел без пищи, без крова, в одиночку, павший духом, отданный на милость встречного немца-победителя, как преступник в глазах его!

В то мгновение, когда в открытой яркой степи, в белом блеске воздуха Олег и его товарищи увидели двигавшиеся прямо на них немецкие танки, души их содрогнулись, впервые встав перед лицом смерти. Но смерть повременила.

Немцы-мотоциклисты оцепили всех, кто не успел переправиться, и согнали в одно место к Донцу. И здесь снова сошлись вместе и Олег с товарищами, и Ваня Земнухов с Клавой и ее матерью, и дирек-

ор шахты № 1-бис Валько. Валько был весь мокрый — бриджи и
иджак хоть выжми, — вода хлопала в его хромовых сапогах.

В эти минуты всеобщего смятения мало кто обращал внимание
друг на друга, при взгляде на Валько каждый думал: «Вот и этому
е удалось переплыть Донца». А он с выражением какой-то сосредото-
ченной злости на полном небритом цыганском лице присел на землю,
нял свои добротные сапоги, вылил воду, выжал портянки, обулся и,
бернув к ребятам сумрачное лицо свое, вдруг, не то чтобы подмигнул,
чуть-чуть свет веки черного глаза — не робейте, мол, я с вами.

Немецкий офицер-танкист, в черном шлеме-берете, с лицом за-
опченным и злым, на ломаном русском языке приказал всем воен-
ным выйти из толпы. Военные, уже без оружия, выходили из толпы
руппами или в одиночку. Немецкие солдаты, пиная их прикладами в
пину, уводили в сторону, и вскоре неподалеку от толпы образовалась
на степи другая, меньшая толпа военных. Что-то пронзительно-печаль-
ное было в лицах, взглядах этих людей, жавшихся друг к другу в своих
астарело-грязных гимнастерках и запыленных сапогах среди залитой
огнем яркой степи.

Военных построили в колонну и погнали вверх по Донцу. А всех
гражданских людей распустили по домам.

И люди начали растекаться по степи в разные стороны от Донца.
Большая часть потянулась вдоль дороги на запад, через хутор, где
почевали Ваня и Жора, в сторону Лихой.

Отец Виктора Петрова и дед, везший Кошевого и его родню, в тот
момент как увидели в степи немецкие танки, присоединились с подво-
дами к своим. И вся их группа, включавшая теперь и Клаву Ковалеву
матерью, влилась в поток людей и подвод, отходивших на запад, в
сторону Лихой.

Некоторое время никто из людей не верил, что все именно так и
будет, отпустили их и нет в этом никакого подвоха, — все с опаской
осилились на двигавшихся по дороге встречным потоком немецких сол-
дат. Но солдаты с усталыми, потными, грязными от размазавшейся
пыли лицами, озабоченные тем, что ждало их впереди, почти не смот-
рели на русских беженцев.

Когда прошло первое потрясение, кто-то неуверенно сказал:

— На то есть приказ немецкого командования — местных жителей
не обижать...

Валько, от которого валил под солнцем пар, как от лошади, мрачно
смахнулся и, кивнув на колонну злых, вымазанных, как черти, немецких
солдат, сказал:

— Не видишь, у них времени нет. А то дали б они тебе водички
спить!

— А ты, кажись, уже испил? — вдруг весело отозвался чей-то голос,
ни из тех неунывающих голосов, какие при всех, даже самых ужасных,
происшествиях жизни обязательно обнаружатся во всяком сборище
неских людей.

— Я уже испил, — мрачно согласился Валько. И, подумав, доба-
вил: — Да еще не всю чару.

На самом деле вот что произошло с Валько, когда он, покинув на-
ряду ребят, спустился к переправе. Благодаря свирепому своему виду

он все же заставил одного из военных, ведавших переправой, вступить с ним в переговоры. От военного Валько узнал, что командование переправой находится на той стороне реки, потому что на этой стороне вот-вот могут появиться немцы. «Я из него, сукиного сына, печенки выну а заставлю, чтобы он со своими лайдаками порядок мне навел!»— ярости думал Валько, прыгая с края одного понтона на край другого, сбоку о двигавшихся по наплавному мосту машин. В это время налетели немецкие пикировщики, и он, как и все люди, прыгавшие вместе с ним, вынужден был лечь. Потом ударила немецкая артиллерия, на понтонах началась паника. И тут Валько заколебался.

По своему положению он не только имел право, а обязан был воспользоваться последней возможностью перебраться на ту сторону Донца. Но как это бывает в жизни даже очень сильных и рассудительных натур с горячей кровью, скрытно кипящей в жилах, иногда долг частный, меньший, но ближний берет верх над долгом общим и главным, но дальним.

Едва Валько представил себе, что могут подумать о нем его рабочие Григорий Ильич Шевцов — его друг, ребята-комсомольцы, оставшиеся на берегу, — едва Валько представил себе это, вся кровь прихлынула к черному лицу его, и он повернул обратно. В это время уже по всей ширине наплавного моста бежали навстречу ему люди сплошной лавиной. Тогда он, в чем был, бросился в воду и поплыл к берегу.

В то время, когда немцы уже обстреливали и оцепляли этот берег Донца, и люди с этого берега, обезумев, бежали по понтонам на другой берег и дрались у спуска к понтонам и десятками и сотнями перебирались вплавь на другой берег, — Валько, рассекая волны своими сильными руками, плыл к этому берегу. Он знал, что будет первым из тех, кем немцы расправятся, а плыл, потому что поступить иначе ему не позволяла совесть.

На беду себе, немцы поступили так недальновидно, что не убили Валько, а отпустили его вместе с другими. И вот, вместо того чтобы двигаться на восток, к Саратову, куда он обязан был явиться по службе и где находились его жена и дети, Валько в потоке беженцев двигался на запад.

Еще не доходя Лихой, вся эта сборная колонна беженцев начал распадаться. Валько предложил группе краснодонцев выделиться и колонны, обойти Лихую и двигаться к Краснодару вдали от больших дорог, проселками, а то и целиною.

Как это всегда бывает в трудные моменты жизни народов и государств, в душе даже самого рядового человека мысли о собственной судьбе тесно переплетаются с мыслями о судьбе всего народа и государства.

В эти первые дни после того, что было пережито ими, и взрослые, и ребята находились в подавленном настроении и почти не говорили друг с другом. Они подавлены были не только тем, что ждало их впереди, а и тем, что будет теперь со всей советской землей. Но каждый переживал это по-своему.

В состоянии наибольшего душевного равновесия находился трехлетний сынишка Марины, двоюродный братик Олега. Никаких сомнений в устойчивости того мира, в каком он жил, у него не было, поскольку мама и папа всегда были при нем. Ему, правда, страшно было один момент, когда что-то заревело и загремело в небе и кругом так бухало и бежали

люди. Но он рос в такое время, когда кругом всегда бухало и всегда бежали люди, поэтому он поплакал немного и успокоился. И теперь уже все было хорошо. Он только находил, что путешествие несколько затянулось. Это ощущение особенно владело им в полдень, когда его всего размаривало, и он начинал хныкать, скоро ли придет домой к бабушке. Но стоило остановиться на привал и отведать каши и потыкать палкой в норку суслика и обойти, ступая боком, почтительно задирая голову, вокруг гнедых коней, каждый из которых был чуть не вдвое больше буланого конька, а потом сладко поспать, уткнувшись головкой в мамины колени,— как все становилось на свои места и мир снова был полон прелести и чудес.

Дед-возчик думал о том, что вряд ли его жизни, жизни маленького старого человека, грозит опасность при немцах. Но он боялся, что немцы еще в дороге отберут у него лошадь. Кроме того, он думал о том, что немцы лишат его пенсии, которую он получал, как возчик, проработавший на шахтах сорок лет, и не только лишат пособия, которое он получал за трех сыновей-фронтовиков, а еще, пожалуй, будут утеснять за то, что у него столько сыновей в Красной Армии. И его глубоко волновал вопрос о том, победит ли Россия в войне. В свете того, что он видел, он очень боялся того, что Россия не победит. И тогда он, маленький дед, с взъерошенными на затылке серыми перышками, как у воробышка, очень жалел о том, что не умер прошлой зимой, когда у него, как говорил ему доктор, случился «приступ». Но иногда он вспоминал всю свою жизнь и войны, в которых сам участвовал, вспоминал, что Россия велика, богата, а за последний десяток лет стала еще богаче,— неужели же найдется у немца сила победить ее, Россию? И когда дед думал так, им овладевало нервное оживание, он почесывал высохшие черные от солнца лодыжки, почмокивал на буланого конька, по-детски выпячивая губы, и подшевеливал конька вожжою.

Николаю Николаезичу, дяде Олега, было всего обиднее то, что его так хорошо начавшаяся работа в тресте — работа молодого геолога, советского выпуска, выдвинувшегося в первые же годы исключительно удачными разведками,— вдруг прервалась таким неожиданным и ужасным образом. Ему казалось, что немцы непременно убьют его, а если не убьют, ему придется проявить немало изворотливости, чтобы уклониться от службы у немцев. А он знал, что при всех условиях не пойдет служить к немцам, потому что служить у немцев ему было так же неестественно и отвратительно, как ходить на четвереньках.

А молоденькая тетушка Марина подсчитывала, из каких источников дохода складывалась их жизнь до немцев. И получалось, что их жизнь до немцев складывалась: из заработка Николая Николаевича, пенсии Елены Николаевны, которую она получала за покойного мужа, отчима Олега, пенсии бабушки Веры Васильевны, квартиры, которую им давал трест, и огорода, который они разводили при доме. И выходило так, что первых грех источников существования они с приходом немцев безусловно лишились и могли лишиться остальных. Она все вспоминала убитых детей на переправе и переносила жалость к ним на своего ребенка и начинала плакать. Ей приходили в голову рассказы о том, что немцы грубо пристают к женщинам и совершают насилия над ними, и тогда она вспоминала, что она хорошенькая женщина и к ней уже, наверное, будут при-

ставать немцы, и она то ужасалась, то утешала себя тем, что будет нарочно попроще одеваться и изменит прическу, и все, может быть, обойдется.

Отец Виктора Петрова, лесничий, знал, что возвращение домой грозит смертельной опасностью ему, как человеку, известному в районе своим участием в борьбе против немцев в 1918 году, и его сыну — комсомольцу. Но он заходил в тупик, когда думал о том, как ему теперь поступить. Он знал, что кто-нибудь из партийных людей обязательно оставлен для организации подпольной и партизанской борьбы. Но сам он, человек беспартийный и немолодой, уже не был таким боевым человеком, как в молодости. Всю жизнь он честно работал рядовым лесничим и привык к той мысли, что он до конца жизни останется лесничим, даст образование сыну и дочери и выведет их в люди. Но когда в сердце к нему закрадывалась мысль о том, что прошлое его может остаться неизвестным для немцев и у него сохранится возможность так же служить лесничим при немцах, — им овладевали такая тоска и отвращение, что ему, крупному, сильному человеку, хотелось плакать и драться.

В это же самое время сын его, Виктор, находился в состоянии крайней обиды и оскорбления за Красную Армию. Он с детства обожал Красную Армию и ее командиров и с первых дней войны готовился к тому, чтобы принять участие в войне как командир Красной Армии. Он был руководителем военного кружка в школе и проводил военные занятия и физические упражнения в кружке под дождем, и на морозе, как учил этому Суворов. Поражения Красной Армии, конечно, не могли пошатнуть в глазах Виктора ее престижа. Но обидно было, что ему своевременно не удалось попасть в Красную Армию командиром, а между тем, будь он теперь командиром Красной Армии, она, несомненно, не попала бы в такое тяжкое и горестное положение. Что же касается его судьбы при немцах, то о ней Виктор просто не думал, целиком полагаясь на отца и на друга своего Анатолия Попова, который во всех трудных случаях жизни умел найти что-нибудь неожиданное и абсолютно правильное.

А друг его Анатолий всей душой болел за отечество и, молча покусывая ногти, всю дорогу думал о том, что же ему, Анатолию, теперь делать? За время войны он столько прочел докладов на комсомольских собраниях о защите социалистического отечества, но ни в одном из докладов он не мог выразить еще и того ощущения отечества, как чего-то большого и певучего, какой была его, Анатолия, мама, Таисья Прокофьевна, с ее рослым полным телом, лицом румяным, добрым и с чудными старинными казачьими песнями, которые она пела ему с колыбели. Это ощущение отечества всегда жило в его сердце и исторгало слезы из глаз его при звуках родной песни или при виде истоптанного хлеба и сожженной избы. И вот отечество его находилось в беде, такой беде, что ни видеть это, ни думать об этом нельзя было без острой боли сердечной. Надо было действовать, действовать немедленно, но — как, где, с кем?

Этого рода мысли в большей или меньшей степени волновали всех его товарищей.

И только Уля не имела сил думать ни о судьбе родной земли, ни о своей судьбе. Все, что она пережила с того момента, как увидела по-

шатнувшийся копер шахты № 1-бис: прощание с любимой подружкой и с матерью, этот путь по обожженной солнцем, вытоптанной степи и, наконец, переправу, где в этой окровавленной верхней части туловища женщины, с красным платком на голове, и в мальчижке, с вылетевшими из орбит глазами точно воплотилось все пережитое ею,— все это снова и снова, то остро, как кинжалы, то тяжко-тяжко, как жернова, поворачивалось в кровоточащем сердце Ули. Всю дорогу она шагала рядом с телегой, молчаливая и будто спокойная, и только эти черты мрачной силы, обозначившиеся в ее глазах, ноздрях, губах, выдавали, какие бури волнами ходили в душе ее.

Зато Жоре Арутюнянцу было совершенно ясно, как он будет жить при немцах. И он очень авторитетно рассуждал вслух:

— Каннибалы! Разве наш народ может с ними примириться, да? Наш народ, как и в прежде оккупированных немцами местностях, безусловно возьмется за оружие. Мой отец — тихий человек, но я не сомневаюсь, что он возьмется за оружие. А мать с ее характером, та безусловно возьмется за оружие. Если наши старики так поступают, как же мы, молодежь, должны поступать? Мы, молодежь, должны взять на учет выявить, потом взять на учет,— поправился Жора, — всех ребят, кто не уехал, и немедленно связаться с подпольной организацией. Мне, по крайней мере, известно, что в Краснодаре остались Володя Осьмухин и Толя Орлов, — разве они будут сидеть сложа руки? А Люся, сестра Володи, эта прекрасная девушка, — с чувством сказал Жора, — она, во всяком случае, безусловно не будет сидеть сложа руки.

Выбрав момент, когда никто, кроме Клавы, не мог их слышать, Ваня Земнухов сказал Жоре:

— Слушай, ты — абрек! Честное слово, все с твоей согласны. Но... придержи язык. Во-первых, это дело совести каждого. А во-вторых, ты же не можешь поручиться за всех. А ну, как кто-нибудь невзначай трепанет, что тогда будет — и тебе, и всем нам?

— Почему ты назвал меня абреком? — спросил Жора, в черных глазах которого появилось вдохновенно-самодовольное выражение.

— Потому что ты черный и действуешь, как наездник.

— Ты знаешь, Ваня, когда я перейду в подполье, я обязательно возьму себе кличку Абрек, — понизив голос до шопота, сказал Жора Арутюнянц.

Ваня разделял мысли и настроения Жоры Арутюнянца. Но во все, о чем бы сейчас Ваня ни думал, властно вторгались чувство счастья от близости Клавы и чувство гордости, когда он вспоминал свое поведение у переправы и снова слышал слова Ковалева: «Ваня, спаси их», и чувствовал себя спасителем Клавы и ее матери. Это чувство счастья было тем более полным, что Клава разделяла с ним это чувство. Если бы не беспокойство за отца и не жалобные причитания матери, Клава Ковалева была бы открыто и просто счастлива с любимым человеком, здесь в залитой солнцем донецкой степи, несмотря на то, что на горизонте там, то тут возникали башни немецких танков, стволы зениток и каски, каски, каски немецких солдат, мчавшиеся над золотистой пшеницей в реве моторов и в пыли.

Но среди всех этих людей, так по-разному думавших о судьбе своей и всего народа, было два человека, тоже очень разных по характеру и по

возрасту, но удивительно схожих тем, что оба они находились в состоянии небывалого морального подъема и энергической деятельности. Одним из этих людей был Валько, а другим — Олег.

Валько был человек немногословный, и никто никогда не знал, что совершается в душе его под цыганской внешностью. Казалось, все в его судьбе изменилось к худшему. А между тем никогда еще его не видели таким подвижным и веселым. Всю дорогу он шел пешком, обо всех заботился, охотно заговаривал с ребятами, то с одним, то с другим, будто испытывая их, и все чаще шутил.

А Олегу тоже не сиделось в бричке. Он вслух выражал нетерпение, когда же, наконец, увидит мать, бабушку. Он с наслаждением потирал кончики пальцев, слушая Жору Арутюнянца, а то вдруг начинал подсмеиваться над Ваней и Клавой или с робким заиканием утешал Улю, или нянчился трехлетнего братишку, или объяснялся в любви тетушке Марине, или пускался в длинные политические разговоры с дедом. А иногда он шагал рядом с бричкой, молчаливый, с резко обозначившимися на лбу продольными морщинами, с упрямой еще детской складкой полных губ, как бы чуть тронутых отзвуком улыбки, с глазами, устремленными вдаль с задумчивым, сурово-нежным выражением.

Они были уже не более чем в одном переходе от Краснодона, когда вдруг наскочили на какую-то отбившуюся команду немецких солдат. Немецкие солдаты деловито — даже не очень грубо, а именно деловито — обшарили обе подводы, взяли из чемоданов Марины и Ули все шелковые вещи, сняли с отца Виктора и с Валько сапоги и взяли у Валько старинные золотые часы, которые, несмотря на купанье, что он перенес, великолепно шли.

Душевное напряжение, какое они испытывали в этом первом непосредственном столкновении с немцами, от которых все ждали худшего, перешло в смущение друг перед другом, а потом в неестественное оживление — все наперебой изображали немцев, как они обшаривали подводы, — поддразнивали Марину, очень сокрушавшуюся по шелковым чулкам, и даже не пощадили Валько и отца Виктора, дольше других чувствующавших себя смущенно в бриджах и в тапочках. И только Олег не разделял этого ложного веселья, в лице у него долго стояло резкое, злое выражение.

Они подошли к Краснодону ночью, и по совету Валько, полагавшего, что ночное движение в городе воспрещено, не вошли в город, а остановились на ночлег в балке. Ночь была месячная. Все были взволнованы и долго не могли уснуть.

Валько пошел разведать, куда тянется балка. И вдруг услышал за собой шаги. Он обернулся, остановился и при свете месяца, блестящего по росе, узнал Олега.

— Товарищ Валько, мне очень нужно с вами поговорить. Очень нужно, — сказал Олег тихим голосом, чуть заикаясь.

— Добре, — сказал Валько. — Да стоя придется, бо доже мокро. — Он усмехнулся.

— Помогите мне найти в городе кого-нибудь из наших подпольщиков, — сказал Олег, прямо глядя в потупленные под сросшимися бровями глаза Валько.

Валько резко поднял голову и некоторое время внимательно изучал лицо Олега.

Перед ним стоял человек нового, самого юного поколения.

Самые, казалось бы, несоединимые черты — мечтательность и действительность, полет фантазии и практицизм, любовь к добру и беспощадность, широта души и трезвый расчет, страстная любовь к радостям земным и самоограничение, — эти, казалось бы, несоединимые черты вместе создавали неповторимый облик этого поколения.

Сказать правду, Валько плохо знал его. Но он верил в него.

— Подпольщика ты вроде уже нашел, — с усмешкой сказал Валько, — а что нам дальше делать, об том мы сейчас поговорим.

Олег молча ждал.

— Я вижу, ты не сегодня решился, — сказал Валько.

Он был прав. Едва возникла непосредственная угроза Ворошилов-граду, Олег, впервые скрыв от матери свое намерение, пошел в райком комсомола и попросился, чтобы его использовали при организации подпольных групп.

Его очень обидели, когда сказали без всякого объяснения причин примерно следующее:

— Вот что, хлопец, собирай-ка свои монатки да уезжай подбру-поздорову, да поживее.

Он не знал, что райком комсомола не создавал своих подпольных групп, а те комсомольцы, которых оставляли в распоряжение подпольной организации, были уже выделены заранее. Поэтому ответ, который он получил в райкоме, не только не был грубым, а был даже, в известном смысле, выражением внимания к товарищу. И ему пришлось уехать.

Но в тот самый момент, как прошло первое напряжение событий на переправе и Олегу стало ясно, что уйти не удалось, его так и озарила мысль: теперь мечта его осуществится! Вся тяжесть бегства, расставания с матерью, неясности всей его судьбы свалилась с души его. И все силы души его, все страсти, мечты, надежды, весь пыл и напор юности, — все это хлынуло на волю.

— Оттого ты так и подобрался, что решился, — продолжал Валько. — У меня у самого такой характер. Еще вчера — иду, а все у меня из памяти не выходит: то, как мы шахту взорвали, то, вижу, армия отступает, беженцы мучаются, дети. И такой у меня мрак на душе! — с необыкновенной искренностью говорил Валько. — Должен бы радоваться тому, что хоть семью увижу, с начала войны не видался, — а в сердце все стучит: «Да... Коли успеешь. Ежели успеешь»... А сам думаю: «Ну, успею, а дальше что?» Так было вчера. А что ж сегодня? Армия наша ушла за Дон. Немец нас захватил. Семейю я не увижу. Может быть, никогда не увижу. А на душе у меня отлегло. Почему? Потому что теперь у меня один шлях, як у чумака. А это для нашего брата самое главное.

Олег чувствовал, что сейчас в балке под Краснодоном, при свете месяца, чудно блестящего по росе, этот суровый сдержанный человек со сросшимися, как у цыгана, бровями, говорит с ним, с Олегом, так откровенно, как он, может быть, не говорил ни с кем.

— Ты вот что: ты с этими ребятами связи не теряй, эго ребята свои, — говорил Валько. — Себя не выдавай, а связь с ними держи.

И присматривай еще ребят, годных к делу, таких, что покремнистей. Но только смотри, без моего ведома ничего не предпринимай,— завалишься. Я тебе скажу, когда и что тебе делать...

— Вы знаете, кто оставлен в городе?— спросил Олег.

— Не знаю,— откровенно сознался Валько.— Не знаю, но найду.

— А мне как вас находить?

— Тебе меня находить не надо. Коли б у меня была квартира, я бы ее тебе все равно не назвал, а у меня, откровенно сказать, ее пока что нет.

Как ни печально было являться вестником гибели мужа и отца, но Валько решил на первых порах укрыться в семье Шевцова, где знали и любили Валько. С помощью такой отчаянной девчонки, как Любка, он надеялся установить связи и подыскать квартиру в более глухом месте.

— Ты лучше дай мне свой адрес, я тебя найду.

Валько несколько раз вслух повторил адрес Олега, пока не затвердил.

— Ты не бойся, я тебя найду,— тихо говорил Валько.— И коли нескоро обо мне услышишь, не рипайся, жди... А теперь иди,— сказал Валько и своей широкой ладонью легонько подтолкнул Олега в плечо.

— Спасибо вам,— чуть слышно сказал Олег.

С необъяснимым волнением, словно бы несшим его по росистой траве, подходил он к лагерю. Все уже спали, одни лошади похрустывали травой. Да Ваня Земнухов, в задранный на затылок кепке, сидел в головах у спящих Клары и ее матери, обхватив руками острое колено.

«Ваня, друг любимый»,— с размягченным чувством, которое у него было теперь ко всем людям, подумал Олег. Он подошел к товарищу и с волнением опустился рядом с ним на мокрую траву.

Ваня повернул к нему свое лицо, бледное при свете месяца.

— Ну, как? Что он сказал тебе?— живо спросил Ваня.

— О чем ты спрашиваешь?— сказал Олег, удивившись и смутившись одновременно.

— Что Валько сказал? Знает он что-нибудь?

Олег в нерешительности смотрел на него.

— Уж не думаешь ли ты со мной в прятки играть?— сказал Ваня с досадой.— Не маленькие же мы в самом деле!

— Как ты узнал?— все более изумляясь, глядя на друга широко раскрытыми глазами, шопотом спросил Олег.

— Не так уж мудрено узнать твои подпольные связи, они такие же, как и у меня,— сказал Ваня с усмешкой.— Неужто ты думаешь, что я тоже не думал об этом?

— Ваня!..— Олег своими большими руками схватил и крепко сжал узкую руку Земнухова, сразу ответившую ему энергичным пожатием.— Значит, вместе?

— Конечно, вместе.

— Навсегда?

— Навсегда,— сказал Ваня очень тихо и серьезно.— Пока кровь течет в моих жилах.

Они смотрели друг другу в лицо, блестя глазами.

— Ты знаешь, он пока ничего не знает. Но сказал — найдет. И он найдет, — говорил Олег с гордостью. — Ты ж смотри, в Нижней Александровке не задержишься...

— Нет, об этом не думай, — решительно тряхнув головой, сказал Ваня. Он немного смутился. — Я только устрою их.

— Любишь ее? — склонившись к самому лицу Вани, шопотом спросил Олег.

— Разве о таких вещах говорят?

— Нет, ты не стесняйся. Ведь это же хорошо, это же очень хорошо. Она т-такая чудесная, а ты... О тебе у меня даже слов нет, — с наивным и счастливым выражением в лице и в голосе говорил Олег.

— Да, столько приходится переживать и нам, и всем людям, а жизнь все-таки прекрасна, — сказал близорукий Ваня.

— В-верно, в-верно, — сказал Олег, сильно заикаясь, и слезы выступили ему на глаза.

Немногим более недели прошло с той поры, как судьба свела на степи всех этих разнородных людей, и ребят, и взрослых. Но вот в последний раз всех вместе осветило их солнце, вставшее над степью, и показалось, что целая жизнь оставалась за их плечами, — такой теплой и грустью и волнением наполнились их сердца, когда пришла пора расставаться.

— Ну, хлопцы та дивчата... — начал было Валько, один стоявший среди балки в бриджах и тапочках, махнул плотной рукой и ничего не сказал.

Ребята обменялись адресами, дали обещание держать связь, простились. И долго еще они видели друг друга, после того как растеклись в разные стороны по степи. Нет-нет, да и взмахнет кто-нибудь рукой или платком. Но вот одни, потом другие исчезли за холмом или в балке. И будто не было этого совместного пути в великую страшную годину, под палящим солнцем...

Так Олег Кошевой переступил порог родного дома, занятого немцами.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Марина с маленьким сыном поселилась в комнатке рядом с кухней вместе с бабушкой Верой и Еленой Николаевной. А Николай Николаевич и Олег сбили себе из досок два топчана и кое-как устроились в дровяном сарайчике во дворе.

Бабушка Вера, истомившаяся без слушателей (не могла же она считать собеседником денщика с палевыми веснушками!), сразу обрушила на них ворох городских новостей. Ни одно предприятие и учреждение не работает, но, по приказу немецкого коменданта, люди обязаны являться по месту работы и отсиживать положенные часы. Немцы вылавливают в городе евреев и увозят под Ворошиловград, где будто бы образовано гетто, но многие говорят, что на самом деле евреев довозят только до Верхнедудуванной рощи и там убивают и закапывают. И Мария Андреевна Борц очень боится за мужа, чтобы кто-нибудь его не выдал. До сих пор ни один коммунист и ни один комсомолец не явились на регистрацию к немецкому коменданту («да чтоб я сама им в глотку полезла, — нехай вони так подавятся!») — сказала

бабушка Вера), да, говорят, многих уже раскрыли и поарестовали, но кого именно, про то бабушка Вера не знала. После пожара в тресте, при сходных обстоятельствах сгорела новая баня за Шапхаем: немцы только прибрали и оборудовали здание под казарму, как вдруг здание загорелось. Из разговоров немецких солдат было известно, что в районе станции Митякинской и в других местах идут сильные бои между немецкими частями и партизанами. И в связи со всеми этими делами в городе и в районе арестовали по подозрению много невинных людей.

С того момента как Олег вернулся домой, то оцепенение, в котором все дни со времени его отъезда, а особенно с приходом немцев находилась Елена Николаевна, снялось с нее, точно волшебной рукою. Она теперь все время находилась в состоянии душевного напряжения и той энергической деятельности, которая так свойственна была ее натуре. Как орлица над выпавшим из гнезда орленком, кружила она над сыном. И часто-часто ловил он на себе ее внимательный напряженно-беспокойный взгляд. «Как ты, сынок? В силах ли ты вынести все это, сынок?»

А он после того нравственного подъема, который он испытал в дороге, вдруг впал в глубокое душевное оцепенение. Все было не так, как он представлял себе.

Юноше, вступающему в борьбу, она предстает в мечтах как беспрерывный ряд подвигов против насилия и зла. Но зло оказалось неуловимым и каким-то невыносимо мерзко будничным.

Не было в живых лохматого, черного, простодушного пса, с которым Олег так любил возиться. Улица с вырубленными в дворах и палисадниках дерезьями и кустами выглядела голой. И по этой голой улице, казалось, ходили голые немцы.

Генерал барон фон Венцель так же не замечал Олега, Марину и Николая Николаевича, как он не замечал бабушки Веры и Елены Николаевны.

Бабушка Вера, правда, не чувствовала ничего оскорбительного для себя в поведении генерала.

— То ж ихний новый порядок, — говорила бабушка. — А я вже стара и знаю, що то дуже старий порядок, як був у нас при крепостном праве. При крепостном праве у нас то ж булы немцы-помещики, такі ж надменни и такі ж каты, як ций барон, хай ему очи повывлазиють. Що ж минн на его обижаться? Он все равно будет такой, пока наши не придуть, та не выдеруть ему глотку...

Но для Олега генерал с его узкими блестящими штиблетами и чисто промытым кадыком был главным виновником того невыносимого унижения, в какое повергнуты были Олег и близкие к нему люди и все люди вокруг. Освободиться от этого чувства унижения, казалось, можно было, только убив немецкого генерала, но на место этого генерала появится другой и притом совершенно такой же — с чисто промытым кадыком и блестящими штиблетами.

Адъютант на длинных ногах стал уделять много вежливого холодного внимания Марине и все чаще заставлял ее прислуживать ему и генералу. В бесцветных глазах его, когда он смотрел на Марину, было презрительное и в то же время мальчишеское любопытствующее выражение, будто он смотрел на экзотическое животное, которое может доставить немало развлечения, но неизвестно, как с ним обходиться.

Теперь излюбленным занятием адъютанта было — помянуть конфеткой маленького сына Марины и, дождавшись, когда мальчик протянет толстую ручонку, быстро отправить конфетку в рот к себе. Адъютант проделывал это раз и другой, и третий, пока мальчик не начинал плакать. Тогда, присев перед мальчиком на корточки на длинных своих ногах, адъютант высовывал язык с конфеткой на красном кончике, демонстративно сосал и жевал конфетку и долго хохотал, выкатив бесцветные глаза.

Он был противен Марине весь — от длинных ног до неестественно белых ногтей. Он был для нее не только не человек, а даже не скотина. Она брезговала им, как брезгуют в нашем народе лягушками, ящерицами, тритонами. И когда он заставлял ее прислуживать себе, она испытывала чувство отвращения и одновременно ужаса перед тем, что она находится во власти этого существа.

Но кто поистине делал жизнь молодых людей невыносимой, так это денщик с палевыми веснушками. У денщика было удивительно много свободного времени: он был главным среди других денщиков, поваров, солдат хозяйственной команды, обслуживавшей генерала. И все свободное время денщика с палевыми веснушками уходило на то, чтобы снова и снова расспрашивать молодых людей, как они хотели уйти от немцев и как им это не удалось и, в который уже раз, высказывать им свои соображения о том, что только глупые или дикие люди могут хотеть уйти от немцев.

Он преследовал молодых людей и в дровяном сарае, где они отсиживались, и на дворе, когда они выходили подышать свежим воздухом, и в доме, когда генерал отсутствовал. И только появление бабушки освобождало их от преследований денщика.

Как это было ни странно, но громадный, с красными руками денщик, внешне державшийся с бабушкой так же развязно, как и со всеми, побаивался бабушки Веры. Немец-денщик и бабушка Вера изъяснялись друг с другом на чудовищной помеси русского и немецкого языков, подкрепляемой мимической работой лица и тела, всегда очень точной и ядовитой у бабушки и всегда очень грубой, какой-то плотской, и глупой, и злой у денщика. Но они великолепно понимали друг друга.

Теперь вся семья сходилась в дровяном сарайчике завтракать, обедать и ужинать, и все это проделывалось точно украдкой. Ели постные борщи, зелень, вареную картошку и — вместо хлеба — пшеничные пресные лепешки бабушкиного изготовления. У бабушки было припрятано еще не мало всякого добра. Но после того как немцы пожрали все, что плохо лежало, бабушка стряпала только постное, стараясь показать немцам, что больше и нет ничего. Ночью, когда немцы спали, бабушка тайком приносила в сарай кусочек сала или сырое яичко и в этом тоже было что-то унижительное — есть, прячась от дневного света.

Валько не подавал вестей о себе. И Ваня не приходил. И трудно было представить себе, как они встретятся. Во всех домах стояли немцы. Они с ревнивой наблюдательностью присматривались к каждому проходящему человеку. Даже обычная встреча, разговор на улице вызывали подозрение.

Мучительное наслаждение доставляло Олегу, вытянувшись на топчане с подложенными под голову руками, когда все спали вокруг и свежий

воздух из степи вливался в раскрытую дверь сарая и почти полная луна рассеивала далеко по небу грифельный свет и блистающим прямоугольником лежала на земляном полу, у самых ног,— мучительное наслаждение доставляло Олегу думать о том, что здесь же, в городе, живет Лена Позднышева. Образ ее, смутный, разрозненный, несоединимый, реял над ним: глаза, как вишни в ночи, с золотыми точками туны,— да, он видел эти глаза весной в парке, а может быть, они припились ему,— смех, будто издали, весь из серебряных звучков, как будто даже искусственный, так отделялся каждый звук от другого, будто ложечки перебирали за стеной. Олег томился от сознания ее близости и от разлуки с ней, как томятся только в юности,— без страсти, без укоров совести,— одним представлением ее, одним счастьем видения.

В те часы, когда ни генерала, ни его адъютанта не было дома, Олег и Николай Николаевич заходили в родной дом. В нос им ударял сложный парфюмерный запах, запах заграничного табака и еще тот специфический холостяцкий запах, которого не в силах заглушить ни запахи духов, ни табака, и который в равной степени свойственен жилищам генералов и солдат, когда они живут вне семьи.

В один из таких тихих часов Олег вошел в дом проведать мать. Немецкий солдат-повар и бабушка Вера молча стряпали на плите— каждый свое. А в горнице, служившей столовой, развалясь на диване в ботинках и в пилотке, лежал денщик, курил и, видно, очень скучал. Он лежал на том самом диване, на котором обычно спал Олег.

Едва Олег вошел в комнату, ленивые, скупающие глаза денщика остановились на нем.

— Стой! — сказал денщик. — Ты, кажется, начинаешь задирать нос,— да, да, я все больше замечаю это! — сказал он и сел, опустив на пол громадные ступни в ботинках с толстой подметкой. — Опустить руки по швам и держи вместе пяточки, — ты разговариваешь с человеком старше тебя! — Он пытался вызвать в себе если не гнев, то раздражение, но духота так разморила его, что он не имел силы на это. — Исполни то, что тебе сказано! Слышишь? Ты!.. — вскричал денщик.

Олег, понимавший то, что говорит денщик, и молча смотревший на его палевые веснушки, вдруг сделал испуганное лицо, быстро присел на корточки, ударил себя по коленкам и вскричал:

— Генерал идет!

В то же мгновение денщик уже был на ногах. Вставая, он успел вырвать изо рта сигаретку и смять ее в кулаке. Ленивое лицо его мгновенно приняло подобострастно-тупое выражение. Он щелкнул каблукми и застыл, вытянув руки по швам.

— То-то холуй! Развалился на диване, пока барина нет... Вот так и стой теперь, — сказал Олег, не повышая голоса, испытывая наслаждение от того, что он может высказать это денщику без опасения, что тот поймет его, и прошел в комнату к матери.

Мать, закинув голову, стояла у двери с бледным лицом, держа в руках шитье: она все слышала.

— Разве так можно, сынок... — начала было она.

Но в это мгновение денщик с ревом ворвался к ним.

— Назад!.. Сюда!.. — ревел он вне себя.

Лицо его так побагровело, что не видно стало веснушек.

— Не обращай внимания, мама, на этого идиота,— чуть дрожащим голосом сказал Олег, не глядя на денщика, словно его тут и не было.

— Сюда!.. Свинья! — ревел денщик.

Вдруг он ринулся на Олега, схватил его обеими руками за отвороты пиджака и стал бешено трясти Олега, глядя на него совершенно белыми на багровом лице глазами.

— Не надо... не надо! Олежек, ну уступи ему, зачем тебе... — говорила Елена Николаевна, пытаясь своими маленькими руками оторвать от груди сына громадные красные руки денщика.

Олег, тоже весь побагровев, обеими руками схватил денщика за ремень под мундиром, и сверкающие глаза его с такой силой несправости вонзились в лицо денщика, что тот на мгновение смешался.

— П-пусти... Слышишь? — сказал Олег страшным шопотом, с силой подтянув денщика к себе и приходя в тем большую ярость, что на лице денщика появилось это выражение не то чтобы страха, но сомнения в том, что он, денщик, поступает достаточно выгодно для себя.

Денщик отпустил его. Они оба стояли друг против друга, тяжело дыша.

— Уйди, сынок... Уйди... — повторяла Елена Николаевна.

— Дикарь... Худший из дикарей, — стараясь вложить презрение в свои слова, говорил денщик пониженным голосом, — всех вас нужно дрессировать хлыстом, как собак!

— Это ты худший из дикарей, потому что ты холуй у дикарей, ты только и умеешь воровать кур, рыться в чемоданах у женщин да стаскивать сапоги с прохожих людей! — с ненавистью глядя прямо в белые глаза его, говорил Олег.

Денщик говорил по-немецки, а Олег по-русски, но все, что они говорили, так ясно выражали их позы и лица, что оба отлично понимали друг друга. При последних словах Олега денщик тяжелой набрякшей ладонью с такой силой ударил Олега по лицу, что Олег едва не упал.

Никогда, за все шестнадцать с половиной лет жизни, ничья рука — ни по запальчивости, ни ради наказания — не касалась Олега. Самый воздух, которым он дышал с детства и в семье, и в школе, был чистый воздух соревнования, где грубое физическое насилие было так же невозможно, как кража, убийство, клятвопреступление. Бешеная кровь хлынула Олегу в голову. Он кинулся на денщика. Денщик отпрянул к двери. Мать повисла на плечах у сына.

— Олег! Опомнись!.. Он убьет тебя!.. — говорила она, блестя сухими глазами, все крепче прижимаясь к сыну.

На шум прибежали бабушка Вера, Николай Николаевич, повар-немец в поварской шапочке и белом халате поверх солдатского мундира. Денщик ревел, как ишак. А бабушка Вера, растопырив сухие руки, с развешивающимися на них пестрыми рукавами, кричала и прыгала перед денщиком, как наседка, вытесняя его в столовую.

— Олежек, мальчик, умоляю тебя... окошко открыто, беги, беги!.. — жарко шептала Елена Николаевна на ухо сыну.

— В окошко? Не буду я лезать в окошко в своем доме! — говорил Олег, самолюбиво подрагивая ноздрями и губами. Но он уже пришел

в себя. — Не бойся, мама, пусти, — я и так уйду... Я пойду к Лене, — вдруг сказал он.

Он решительными шагами вышел в столовую. Все отступили перед ним.

— И свинья же ты, свинья! — сказал Олег, обернувшись к денщику. — Бьешь, когда знаешь, что тебе нельзя ответить... — И неторопливым шагом вышел из дому.

Щека его горела. Но он чувствовал, что одержал моральную победу: он не только ни в чем не уступил немцу, — немец испугался его! Не хотелось думать о последствиях своего поступка. Все равно! Бабушка права: считаться с их новым порядком! К чортовой матери! Он будет поступать так, как ему нужно. Посмотрим еще, кто кого!

Он вышел, через калитку от Саплиных, на улицу, параллельную Садовой. И почти у самого дома столкнулся с Степой Сафоновым.

— Ты куда? А я к тебе, — живо сказал маленький белоголовый Степа, очень радушно, обеими руками, встряхивая большую руку Олега!

Олег смутился:

— Тут, в одно место...

Он хотел даже добавить «по семейному делу», но язык у него не повернулся.

— Что у тебя такая щека красная? — удивленно спросил Степа, отпустив руку Олега. Он точно подрядился спрашивать невпопад.

— С немцем подрался, — сказал Олег и улыбнулся.

— Что ты говоришь?! Здорово!.. — Степа с уважением смотрел на красную щеку Олега. — Тем лучше. Я к тебе, собственно говоря, и шел немножко по этому делу.

— То есть, по какому делу? — засмеялся Олег.

— Пойдем, я тебя провожу, а то, если будем стоять, кто-нибудь из фрицев привяжется... — Степа Сафонов взял Олега под руку!

— Луч-чше я тебя провожу, — сказал Олег, заикаясь.

— Может быть, ты вообще можешь отложить на некоторое время свое дело и пойти со мной?

— Куда?

— К Вале Борц.

— К Вале?.. — Олег чувствовал угрызения совести от того, что он до сих пор не навестил Валу. — У них немцы стоят?

— Нет. В том-то и дело, что нет. Я, собственно, и шел к тебе по поручению Вали.

Какое это было счастье — вдруг очутиться в доме, в котором не стоят немцы! Очутиться в знакомом тенистом садике все с той же точно отделанной мехом, клумбой, похожей на шапку монаха и той же многоствольной старой акацией с ее светлозеленой кружевной листвой, такой неподвижной, будто она нашита на синее степное небо!

Марии Андреевне все ученики ее школы еще казались маленькими! Она долго тискала, целовала Олега, шумела:

— Забыл старых друзей? Когда вернулся, а глаз не кажешь, — забыл! А где тебя больше всех любят? Кто сиживал у нас часами, наморщив лоб пока ему играли на пианино? Чьей библиотекой ты пользовался, к своей?.. Забыл, забыл! Ах, Олежка-дролетка! А у нас... — Она схватилась за голову. — Как же — прячется! — сделал страшные глаза, сказа

она шопотом, вырвавшись из нее, подобно паровозному пару, и слышимым на всю улицу. — Да, да, даже тебе не скажу — где... Так униженно и ужасно прятаться в собственном доме! И, кажется, ему придется уйти в другой город. У него не так ярко выраженная еврейская внешность, — как ты находишь? Здесь его просто выдадут. А в Сталино у нас есть верные друзья, мои родственники, русские люди... Да, придется ему уйти, — говорила Мария Андреевна, и лицо ее приняло грустное, даже скорбное выражение, но в силу исключительного здоровья Марии Андреевны скорбные чувства не находили на ее лице соответствующей формы: несмотря на предельную искренность Марии Андреевны, казалось, что она притворяется.

Олег насилу освободился из ее объятий.

— И правда, свинство с твоей стороны, — говорила Валя, самолюбиво приподымая верхнюю полную губу, — когда вернулся, а не зашел!

— И т-ты ведь могла зайти! — сказал Олег с смущенной улыбкой.

— Если ты считаешь, что девушки будут сами заходить к тебе, тебе обеспечена одинокая старость! — шумно сказала Мария Андреевна.

Олег весело взглянул на нее, и они вместе засмеялись.

— Вы знаете, он уже с фрицем подрался, — видите, какая у него щека красная! — с удовольствием сказал Степа Сафонов.

— Серьезно, подрался? — Валя с любопытством смотрела на Олега. — Мама, — вдруг обернулась она к матери, — мне кажется, тебя в доме ждут...

— Боже, какие конспираторы! — шумно сказала Мария Андреевна, развед к небу свои плотные руки. — Уйду, уйду...

— С офицером? С солдатом? — допытывалась Валя у Олега.

Кроме Вали и Степы Сафопова, в садике присутствовал незнакомый Олегу паренек, худенький, босой, с курчавыми жесткими светлыми волосами на косой проборе и с чуть выдавшимися вперед губами. Паренек молча сидел в развилине меж стволов акаций и с момента появления Олега не спускал с него твердых по выражению, пытливых глаз. В этом его взгляде и во всей манере держать себя было что-то внушавшее уважение, и Олег тоже невольно поглядывал в его сторону.

— Олег! — сказала Валя с решительным выражением в лице и в голосе, когда мать вошла в дом. — Помогите нам установить связь с подпольной организацией... Нет, ты подожди, — сказала она, заметив, как в лице Олега сразу появилось отсутствующее выражение. Впрочем, тут же простодушно улыбнулся. — Ведь ты же, наверно, знаешь, как это делается! У вас в доме всегда бывало много партийных, и я знаю, что ты больше дружишь с взрослыми, чем с ребятами.

— Нет, к сожалению, связи мои потеряны, — с улыбкой отвечал Олег.

— говори кому другому, — здесь все свои... Да! Ты, может быть, стесняешься? Это же Сережа Тюленин! — воскликнула Валя, быстро взглянув на паренка, молча сидевшего в развилине стволов.

Валя ничего больше не добавила к характеристике Сережи Тюленина, этого было вполне достаточно.

— Я говорю правду, — сказал Олег, обращаясь уже к Сереже Тюленину и не сомневаясь в том, что он-то, Сережа Тюленин, и был глав-

ным зачинщиком этого разговора.— Я знаю, что подпольная организация существует. Я не сомневаюсь, что поджог треста и бани — это ее дело, — говорил Олег, не заметив, как при этих его словах какая искорка-дичинка промелькнула в глазах у Вали и улыбка чуть тронула ее верхнюю полную яркую губу. — И у меня есть сведения, что в ближайшее время мы, комсомольцы, получим указания, что нам делать.

— Время идет. Руки горят! — сказал Сережка.

Они стали обсуждать ребят и дивчат, которые могли быть в городе. Степа Сафонов, общительный парень, друживший с ребятами и дивчатами всего города, — всем им давал такие отчаянные характеристики, что Валя, Олег и Сережка, позабыв о немцах и о том, ради чего они подняли этот разговор, покатывались от хохота.

— А где Ленка Позднышева? — вдруг спросила Валя.

— Она здесь! — воскликнул Степа. — Я ее на улице встретил. Идет такая расфуфыренная, голову вот так несет, — и Степа с вздернутым веснущатым носиком будто проплыл по саду. — Я ей: «Ленка, Ленка», она только головой кивнула, вот так, — показал Степа.

— И вовсе непохоже! — лукаво косясь на Олега, фыркала Валя.

— Помнишь, как мы чудно пели у нее? Три недели тому назад, всего три недели, — подумать только! — сказал Олег, с доброй грустной улыбкой взглянув на Валу. Он сразу заторопился уходить.

Они вышли вместе с Сережкой.

— Мне Валя много рассказывала о тебе, Олег, да я, как тебя увидел, и сам положился на тебя душою, — кинув на Олега несколько смущенный быстрый взгляд, сказал Сережка. — Говорю тебе об этом так, чтобы ты знал и больше говорить об этом не буду. А дело вот в чем: это никакая ни подпольная организация подожгла трест и баню, это я поджег...

— К-как, один? — Олег с заблестевшими глазами смотрел на Сережку.

— Сам, один...

Некоторое время они шли молча.

— П-плохо, что один... Здорово, смело, но... п-плохо, что один, — сказал Олег, на лице которого было одновременно и добродушное и озабоченное выражение.

— А подпольная организация есть, я знаю, — продолжал Сережка, никак не отозвавшись на замечание Олега. — Я было напал на след, да Сережка с досадой махнул рукой, — не зацепился...

Он рассказал Олегу о посещении Игната Фомина и о всех обстоятельствах этого посещения, не utanв, что он вынужден был для человека, который скрывался у Фомина, ложный адрес.

— Ты Вале об этом тоже рассказывал? — вдруг спросил Олег.

— Нет, Вале я этого не рассказывал, — спокойно сказал Сережка.

— Х-хорошо... очень х-хорошо! — Олег схватил Сережку за руку. — Ведь если у тебя с этим человеком был такой разговор, ты можешь к нему и еще зайти? — говорил он волнуясь.

— В том-то и дело, что нет, — сказал Сережка, и возле его слесбы подпухших губ легла жесткая складка. — Человека этого его звали, Игнат Фомина, немцам выдал. Он его не сразу выдал, а так на пя-

на шестой день после того как немцы пришли. По Шанхаю болтают, будто он хотел через того человека всю организацию раскрыть, а тот, видать, был осторожный. Он подождал, подождал, да и выдал его, и сам пошел в полицию служить.

— В какую полицию? — удивленно воскликнул Олег: пока он сидел в дровяном сарайчике, вот какие дела творились в городе...

— Знаешь, барак вгизу, за райисполкомом, где наша милиция была?.. Там теперь немецкая полевая жандармерия, и они при себе формируют полицию из русских. Говорят, нашли сволочь на место начальника, — какой-то Соликовский. Служил десятником на мелкой шахтенке, где-то в районе. А сейчас с его помощью набирают полицейских из разной шпаны.

— Куда они его дели? Убили? — спрашивал Олег.

— Коли дураки, так уже убили, — сказал Сережка, — а думаю, еще держат. Им надо от него все узнать, а он не из таких, что скажет. Наверно, держат в том же бараке, да жилы тянут. Там и еще арестованные есть, только не могу дознаться, кто такие...

У Олега вдруг сердце сжалось от страшной мысли: пока он ждет вестей от Валько, этот могучей души человек со своими цыганскими глазами, может быть, уже сидит в этом бараке под горой в темной и тесной камерке, и из него тоже тянут жилы, как сказал Сережка.

— Спасибо... Спасибо, что все это рассказал, — глухим голосом сказал Олег.

И он, руководствуясь только соображениями целесообразности, без малейшего колебания в том, что нарушает обещание, данное Валько, передал Сережке свой разговор с Валько, а потом с Ваней Земнуховым.

Они медленно шли по Деревянной улице, — босой Сережка — вразвалку, а Олег, легко и сильно ступая по пыли в своих, как всегда, аккуратно вычищенных ботинках, — и Олег развивал перед товарищем свой план действий: присматриваться к молодежи, брать на примету наиболее верных, стойких, годных к делу; узнать, кто арестован в городе и в районе, где сидят, найти возможность помощи им; и непрерывно разведывать среди немецких солдат о всех военных и гражданских мероприятиях командования.

Сережка, сразу оживившись, предложил организовать сбор оружия: после боев и отступления много его валялось по всей округе, даже в гепи.

Они оба понимали, насколько всё это дела будничные, но это были дела осуществимые, — в обоих заговорило чувство реальности.

— Все, что мы друг другу сказали, все, что мы узнаем и сделаем, тебе должен знать, кроме нас, никто, как бы близко к нам люди ни стояли, кем бы мы ни дружили! — говорил Олег, глядя перед собой ярко цветевшими, расширенными глазами. — Дружба дружбой, а... здесь кровью пахнет, — с силой сказал он. — Ты, Ваня, я, и — все... А установим связи, там нам скажут, что делать...

Сережка промолчал: он не любил словесных клятв и завершений.

— Что в парке сейчас? — спрашивал Олег.

— Немецкий автопарк. И зенитки кругом. Изрыли всю землю, как вишни!

— Бедный наш парк!.. А у вас немцы стоят?

— Так, проходом,— им наше помещение не нравится,— усмехнулся Сережка. — Встречаться у меня нельзя,— сказал он, поняв смысл впросов Олега, — народонаселение большое.

— Будем держать связь через Валую.

— Точно,— с удовольствием сказал Сережка.

Они дошли до переезда и здесь крепко пожали друг другу руки. Они были почти ровесники и сразу сблизились за время этого короткого разговора. Настроение у них было мужественно-приподнятое.

Семья Позднышевых жила в районе «Сеняков» и, как и Кошечевы Коростылевыми, занимала половину стандартного дома. Олег еще издали увидел распахнутые, в старинных тюлевых занавесках, окна и квартиры, и до него донеслись звуки пианино и искусственный смех Леночки из этих раздельных серебряных звучков. Кто-то, очень энергичный, сильными пальцами брал первые аккорды романса, знакомого Олегу, и Леночка начинала петь, но тот, кто аккомпанировал ей, тут же сбивался, и Леночка смеялась, а потом показывала голосом, где он ошибся, и как надо, и все повторялось снова.

Звук ее голоса и звуки пианино вдруг так взволновали Олега, что он некоторое время не мог заставить себя войти в дом. Они, эти звуки, снова напомнили ему счастливые вечера, здесь же, у Лены, кругу друзей, которых, казалось, было тогда так много... Валя аккомпанировала, а Леночка пела, а Олег смотрел на ее лицо, немного взволнованное, смотрел, очарованный и счастливый ее волнением, звукам ее голоса и этими навеки запечатленными в сердце звуками пианино, и полнявшими собой весь мир его юности.

Ах, если бы никогда больше не переступал он порога этого дома! Если бы навеки осталось в сердце это слитное ощущение музыки, юности, неясного волнения первой любви!

Но он уже вошел в сени, а из сеней в кухню. В этой полутемной кухне, находившейся в теневой стороне дома, очень мирно и привычно, как они, очевидно, делали это не первый раз, сидели у маленького кухонного столика сухонькая, в старомодном темном платье и в старомодной прическе буклями, мать Лены и немецкий солдат с такой же правой головой, как тот денщик, с которым подрался Олег, но без веснушек, низенький, толстый, — по всем ухваткам, тоже денщик. Они сидели на табуретках друг против друга, и немецкий денщик с улыбкой, с модовольной и вежливой, с некоторым даже кокетством во взоре, что-то вынимал из рюкзака, который он держал на коленях, и передавал это что-то в руки матери Лены. А она со своим сухоньким лицом, буклями, с дамским, старушечьим выражением понимания того, что задабривают, и одновременно с улыбкой льстивой и угоднической дрожжащими руками принимала что-то и клала себе в колени. Они были так заняты этим несложным, но глубоко захватившим обоих делом, что не расслышали, как Олег вошел. И он смог рассмотреть то, что лежало на коленях у матери Лены: плоская жестяная коробочка сардинки, плитка шоколада и узкая, четырехугольная, пол-литровая, с вывинчивающейся пробкой, жестяная банка в яркой, желтой с синим, этикетке, такие банки Олег видел у немцев в своем доме,— это было прованское масло.

Мать Лены заметила Олега и невольно сделала движение руками, будто она хотела закрыть то, что лежало у нее на коленях, и денщик тоже увидел Олега и с равнодушным вниманием уставился на него, придерживая свой рюкзак.

В то же время в соседней комнате оборвались звуки пианино и пение Леночки и раздался ее смех и смех мужчин, и обрывки немецких фраз. И Леночка, отделяя один серебряный звук своего голоса от другого, сказала:

— Нет, нет, я повторяю, ich wiederhole, здесь пауза, и еще раз повтор, и сразу...

И она сама пробежала тонкими пальчиками одной руки по клавишам.

— Это ты, Олежек? Разве ты не уехал? — удивленно подняв редкие брови, говорила мама Лены фальшиво-ласковым голосом. — Ты хочешь видеть Леночку?

С неожиданным проворством она спрятала то, что лежало у нее на коленях, в нижнее помещение кухонного столика, потрогала сухонькими пальцами букли, в порядке ли они, и втянув в плечи голову и выставив носик и подбородок, прошла в комнату, откуда доносились звуки пианино и голос Леночки.

С отхлынувшей от лица кровью, опустив большие руки, сразу став неуклюжим и угловатым, Олег стоял посреди кухни, под равнодушным взглядом немецкого денщика.

В комнате послышалось восклицание Лены, выразившее удивление и смущение. Она пониженным голосом сказала что-то мужчинам в комнате, будто извинилась, и ее каблучки бегом протопали через всю комнату. Леночка появилась в дверях на кухню в сером, темного рисунка, тяжеловатом на ее тонкой фигуре платье, с голой тонкой шейкой, смуглыми ключицами и голыми смуглыми руками, которыми она схватилась за дверные косяки.

— Олег?.. — сказала она, смутившись так, что ее смуглое личико залилось румянцем. — А мы тут...

Но оказалось, что у нее решительно ничего не заготовлено для объяснения того, «что они тут». И она с чисто женской непоследовательностью, неестественно улыбнувшись, подбежала к Олегу, повлекла его за руку за собой, потом отпустила, сказала: «идем, идем», — и уже у порога опять обернулась с наклоненной головой, приглашая его еще раз.

Олег вошел вслед за ней в комнату, едва не столкнувшись с матерью Лены, шмыгнувшей мимо него. Двое немецких офицеров в одинаковых серых мундирах, — один офицер, сидя вполупорот на стуле перед раскрытым пианино, а другой, стоя между окном и пианино, — смотрели на Олега без любопытства, но и без досады, просто как на помеху, с которой хочешь — не хочешь, надо мириться.

— Он из нашей школы, — сказала Леночка своим серебряным раздельным голоском. — Садись, Олег... Ты ведь помнишь этот романс. Я уже час бьюсь, чтобы они его разучили. Мы сейчас же все это повторим, господа! Садись, Олег...

Олег поднял на нее глаза, полуприкрытые золотистыми ресницами, и сказал внятно и тоже раздельно так, что каждое его слово точно но лицу ее било:

— Ч-чем же они платят тебе? Кажется, постным маслом? Ты п-продешевила!..

Он повернулся на каблуках и мимо матери Лены и мимо толстого денщика с стандартно-палевой головой вышел на улицу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

В первую военную зиму, после смерти отца, Володя Осьмухин, вместо того чтобы учиться в последнем, десятом, классе школы имени Ворошилова, работал слесарем в механическом цехе треста «Краснодонуголь». Он работал в цехе до того дня, как его свезли в больницу с приступом аппендицита.

С приходом немцев Володя, разумеется, не собирался вернуться в цех. Но после того как вышел приказ немецкого коменданта о явке по месту службы и начались репрессии и пошел слух, что всех уклонившихся угонят в Германию, Володя, посоветовавшись с другом своим, Толей Орловым, решил вернуться в цех.

Начальником цеха был старик Лютиков, выдвинувшийся из старых опытных мастеровых. Это был тот самый Лютиков, фамилию которого Шульга в разговоре с Иваном Проценко назвал в числе коммунистов, оставленных в Краснодоне для подпольной работы. Володя, конечно, не знал этого, но Лютиков был издавна близок с семьей его матери, семьей Рыбаловых, и хорошо знал Володю. И став на работу в цех, Володя именно с Лютиковым завел разговор о том, что он, Володя, хотел бы применить свои силы в подпольной работе против немцев.

Лютиков был старым человеком, но не был старым членом партии. И по натуре своей он, будучи хорошим человеком, не был общественно-деятельным человеком. Он вступил в партию, потому что с годами чувствовал себя все более неловко, как это он, старый русский мастеровой, до сих пор не состоит в своей партии. Подпольной работы он раньше не вел, хотя ему и приходилось помогать подпольщикам-большевикам. И в тот момент, когда Володя обратился к нему, Лютиков находился в состоянии крайней растерянности, вызванной внезапным и странным исчезновением Шульги.

В первый же день, как вышел приказ немецкого коменданта о явке на работу, Матвей Шульга, зачисленный в цех под именем Евдокима Остапчука, одним из первых явился к станку. Работы в цехе никакой не было, кроме того, что забегали немецкие солдаты, ефрейторы и офицерские денщики с консервными банками, наполненными сливочным маслом или медом, и требовали запаять банки для отправки в Германию. У Матвея Костиевича нашлась возможность поговорить с Лютиковым наедине.

В дни эвакуации районный комитет партии, по указанию Проценко, не вывез шрифты районной типографии. Они были закопаны в парке и Матвею Костиевичу в последний момент был передан план с точным указанием места, где они закопаны. В беседе с Лютиковым Матвей Костиевич очень беспокоился, что шрифты могут быть найдены немецкими зенитчиками и солдатами автопарка. Матвей Костиевич объяснил где закопаны шрифты, и дал Лютикову задание тем или иным способом

узнать, в сохранности ли шрифты и, если будет возможность, перенести их в другое место.

Матвей Костневич дал это задание и исчез. Он не явился на работу ни на следующий день, ни на третий, ни через неделю. Квартиры Матвея Костневича Лютиков не знал. Кто еще из коммунистов был оставлен в городе для подпольной работы, этого Лютиков тоже не знал. Все знал один Матвей Костневич, но Матвей Костневич исчез.

Жора Арутюнянц, вернувшись из неудачной эвакуации, сразу вступил в откровенно дружеские отношения с Володией и Толей Орловым. Только с Люсей Осьмухиной отношения у него сложились напряженно официальные. Осьмухины жили в районе, через который шел главный поток немецких войск. А Жора жил в маленьком домике на выселках, — немцы не жаловали эти места. И друзья большей частью встречались у Жоры Арутюнянца.

В тот день, когда Володя получил от Лютикова задание разведать, в каком положении находятся шрифты, все трое сошлись у Жоры Арутюнянца, у которого была совсем крохотная, такая, что едва умещались кровать и письменный столик, но все же отдельная комнатка. И здесь их застал вернувшийся с хутора Нижне-Александровского Ваня Земнухов. Ваня еще больше похудел, одежда его износилась, он был весь в пыли, — он еще не заходил домой. Но он был в очень приподнятом деятельном настроении, и с его появлением план всей их дальнейшей жизни целиком перешел к Земнухову.

Ваня тут же отрядил Толю «Гром гремит» разузнать, стоят ли немцы у Кошевого и можно ли проникнуть к нему.

Подойдя к домику Кошевых со стороны Садовой улицы, «Гром гремит» увидел, как из домика, возле которого стоял немецкий часовой, в слезах выбежала красивая, с пушистыми черными волосами, босая женщина в поношенном платье и скрылась в деревянном сарайчике, откуда послышались ее плач и звуки мужского голоса, успокаивавшего ее. Худая загорелая старуха выскочила в сени с ведром в жилистой руке, зачерпнула воды прямо из кадки и быстро ушла обратно в горницы. В доме проходила какая-то суета, слышался молодой недовольный барственный голос немца и словно бы извиняющийся голос женщины. Толя не мог больше задерживаться, чтобы не обратить на себя внимание, и, обогнув возле парка весь этот квартал, подошел к домику со стороны улицы, параллельной Садовой. Но отсюда ему уже ничего не было видно и слышно. Воспользовавшись тем, что в соседнем дворе, как и во дворе Кошевых, были калитки на обе улицы, Толя прошел огородом этого соседнего двора и с минуту постоял у задней стенки сарайчика, выходящей на огород.

В сарайчике слышны были теперь три женских голоса и один мужской. Молодой женский голос, плача, говорил:

— Хоть убьют, не вернусь до дому!..

А мужской хмуро уговаривал:

— Ото дело! А Олега куда? А ребенок?..

«Продажная тварь!.. за пол-литра прованского! Продажная тварь!.. Ты еще обо мне услышишь, да, ты услышишь обо мне, ты пожалеешь обо мне!» — говорил в это время Олег, возвращавшийся от Лены Позднышевой, терзаясь вспышками ярости и муками самолюбия. Солнце,

склонявшееся к вечеру, красное, жаркое, било ему в глаза, и в красные круги, панизовавшиеся один на другой, наплывали снова и снова тонкое смуглое личико Лены и это тяжелое, темного рисунка, платье на ней и серые немцы у пианино. Он все повторял: «Продажная тварь! Продажная тварь!..» И задыхался от горя почти детского.

Марина сидела в сарае, закрыв лицо руками, склонив голову, окутанную облаком пушистых черных волос. Родные обступили ее.

Длинноногий адъютант в отсутствии генерала задумал освежиться холодным обтиранием и приказал Марине принести в комнату таз и ведро воды. Когда Марина с тазом и ведром воды отворила дверь в столовую, адъютант стоял перед нею совершенно голый. Он был длинный, белый — «як глиста», — плача рассказывала Марина. Он стоял в дальнем углу возле дивана, и Марина не сразу заметила его. Вдруг он оказался почти рядом с ней. Он смотрел на нее с любопытством презрительно и нагло. И ею овладели такой испуг и отвращение, что она выронила таз и ведро с водой. Ведро опрокинулось, и вода разлилась по полу. А Марина убежала в сарай.

Все ожидали теперь последствий неосторожного поступка Марины.

— Ну, что ты плачешь? — грубо сказал Олег. — Ты думаешь, он хотел что-нибудь сделать с тобой? Будь он здесь главный, он бы не пощадил тебя. Еще и денщика позвал бы на помощь. А тут он, действительно, просто хотел умыться. А тебя встретил голым, потому что ему даже в голову не пришло, что тебя можно стесняться! Ведь мы же для этих скотов хуже дикарей. Еще скажи спасибо, что они не мочатся и не испражняются на наших глазах, как это делают их солдаты и армейские офицеры на постое! Они мочатся и испражняются при наших людях и считают это в порядке вещей. У, как я раскусил эту чванливую, грязную породу, — нет, они не скоты, они хуже, они — выродки! — с ожесточением говорил он. — И то, что ты плачешь и что все мы здесь столпились, — ах, какое событие! — это обидно и унижительно! Мы должны презирать этих выродков, если мы не можем пока их бить и уничтожать, да, да, презирать, а не унижаться до плача до бабьих пересудов! Они еще свое получают! — говорил Олег.

Раздраженный, он вышел из сарая. И как же отвратительно показалося ему снова и снова видеть эти голые палисадники, всю улицу от парка до переезда, точно обнаженную, и немецких солдат на ней!

Елена Николаевна вышла вслед за ним.

— Я взволновалась, так долго не было тебя. Что Леночка? — спросила она, внимательно и испытующе глядя в сумрачное лицо сына. У Олега дрогнули губы, как у большого ребенка.

— Продажная тварь! Никогда больше не говори мне о ней..

И как это всегда бывало, он, незаметно для себя, рассказал матери все, — и то, что он увидел на квартире у Лены, и как он поступил.

— А что же, в самом деле!.. — воскликнул он.

— Ты не жалей о ней, — мягко сказала мать. — Ты потому так волнуешься, что ты о ней жалеешь, а ты не жалей. Если она могла так поступить, значит она всегда была не такая, как.. мы думали. — Она хотела сказать: «как ты думал», но решила сказать «как мы думали». — Но это говорит дурино о ней, а не о нас..

Большая степная луна по-летнему низко висела на юге. Николай Николаевич и Олег не ложились и молча сидели в сарае у распахнутой дверцы, глядя в небо.

Олег расширенными глазами смотрел на эту висевшую в синем вечернем небе полную луну, окруженную точно заревом, отсвет которого лежал на крышах домов и на немецком часовом у крыльца, и на листьях капусты и тыкв в огороде, — Олег смотрел на луну и точно видел ее впервые. Он привык к жизни в маленьком степном городе, где все было открыто и все было известно, что происходит на земле и на небе. И вот все уже шло мимо него: и как народился месяц-молочик, и как развивался, и как взошла, наконец, эта полная луна на синее небо. И кто знает, вернется ли когда-нибудь в жизни эта счастливая пора беззаветного полного слияния со всем, что происходит в мире простого, доброго и чудесного?

Генерал барон фон Венцель и адъютант, хрустя мундирами, молча прошли в дом. Все спало вокруг. Только часовой ходил возле дома. Николай Николаевич посидел и тоже лег спать. А Олег с расширенными детскими глазами все сидел у распахнутой дверцы, весь облитый лунным сиянием.

Вдруг позади себя, за дощатой стенкой сарая, выходящей на соседний двор, он услышал шорох.

— Олег... Ты спишь? Проснись, — шептал кто-то, прижавшись к **цели**.

Олег в одно мгновение очутился у этой стенки.

— Кто это? — прошептал он.

— Это я... Ваня... У тебя дверца открыта?

— Я не один. И часовой ходит.

— Я тоже не один. Можешь вылезти к нам?

— Могу...

Олег выждал, когда часовой отошел к калитке Саплиных, и, прижимаясь к стенке, снаружи обошел сарайчик. Обок соседнего огорода, в полынн, на которую падала густая тень от сарайчика, лежали веером на брюхе трое — Ваня Земнухов, Жора Арутюнянц и — третий, такой же, как они, долговязый парень, в кепке, затемнявшей его лицо.

— Тыфу, чорт! Такая светлая ночь, едва пробрались к тебе! — сказал Жора, сверкнув глазами и зубами. — Володя Осьмухин, из школы Ворошилова. Можешь быть абсолютно уверен в нем, как во мне, — сказал Жора, убежденный в том, что дает наивысшую аттестацию, какую только можно дать товарищу.

Олег лег между ним и Ваней.

— Признаться, совсем не ждал тебя в этот запретный час, — шепнул Олег Ване с широкой улыбкой.

— Если их правила соблюдать, с тоски сдохнешь, — сказал Ваня с усмешкой.

— А ты ж, мой хлончик гарный! — засмеялся Кошевой и большой своей рукой обнял Ваню за плечи. — Устроил их? — шепнул он Ване в самое ухо.

— Смогу я до света посидеть в твоём сарае? — спросил Ваня. — Я ведь еще дома не был, у нас, оказывается, немцы стоят...

— Я же тебе сказал, что можно у нас почевать! — возмущенно сказал Жора.

— До вас больно далеко... Это для тебя с Володей ночь светлая, а я погибну навеки в каком-нибудь сыром шурфе!

Олег понял, что Ваня хочет поговорить с ним наедине.

— До света можно, — сказал он, пожимая Ване плечо.

— У нас новость исключительная, — чуть слышным шопотом сказал Ваня, — Володя установил связь с одним подпольщиком и уже получил задание... Да ты сам Расскажи.

Ничто так не возбудило бы деятельной природы Олега, как это неожиданное появление ребят ночью и особенно то, что рассказал ему Володя Осьмухин. На мгновение ему показалось даже, что это не кто иной, как Валько, мог дать Осьмухину такое задание. И Олег, почти припав лицом к лицу Володи и глядя в его узкие темные глаза, стал допытываться:

— Как ты нашел его? Кто он?

— Назвать его я не имею права, — немного смутившись, но твердо, сказал Володя. — Мы с Жорой хотим сейчас разведку сделать, да вдвоем, конечно, трудно. Толя Орлов просился, да больно кашляет, — усмехнулся Володя.

Олег некоторое время молча смотрел мимо него.

— А я бы не советовал делать этого сейчас, — сказал он. — Всех, кто подходит к парку, видно, а что делается в парке, не видно. Проще все это проделать днем, без всяких фокусов.

Парк был огорожен сквозным забором, и по всем четырем направлениям к парку прилегали улицы. И Олег, с присущей ему практической сметкой, предложил завтра же направить по каждой улице, в разное время по одному пешеходу, на обязанности которого будет только запомнить расположение крайних к улице зонтиков, блиндажей и автомашин.

То возбуждение деятельности, с которым ребята пришли к Олегу, несколько упало. Но нельзя было не согласиться с простыми доводами Олега.

Случалось ли тебе, читатель, плутать в глухом лесу в ночи, или одинокому попасть на чужбину, или встретить опасность один на один, или впасть в беду, такую, что даже близкие люди отвернулись от тебя, или в поисках нового, неизвестного людям, долго жить непонятым и непризнанным всеми? Если случалась тебе одна из этих бед или трудностей жизни, ты поймешь, какая светлая мужественная радость, какое невыразимое сердечное чувство благодарности, какой прилив сил необоримых охватывают душу человека, когда он встретит друга, чье слово, чья верность, чье мужество и преданность остались неизменными! Ты уже не один на свете, с тобою рядом бьется сердце человека!.. Именно этот светлый поток чувств, их высокое стеснение в груди испытал Олег, когда, оставшись наедине с Ваней, при свете степной луны, передвинувшейся по небу, увидел спокойное, насмешливое, вдохновенное лицо друга с этими близорукими глазами, светившимися добротой и силой.

— Ваня! — Олег обхватил его большими руками и прижал к груди и засмеялся тихим счастливым смехом. — Наконец-то я вижу тебя!

Что ты так долго? Я изныл б-без тебя! Ах ты, ч-орт эдакий! — говорил Олег, заикаясь и снова прижимая его к груди.

— Пусти, ты ребра мне поломал, — я ведь не девушка, — тихо смеялся Ваня, освобождаясь от его объятий.

— Не думал я, что она т-тебя на цепку возьмет! — лукаво говорил Олег.

— Как тебе не совестно, право, — смутился Ваня, — разве я мог после всего, что случилось, покинуть их, не устроив, не убедившись, что им не угрожает опасность? А потом ведь это необыкновенная девушка. Какой душевной ясности, какой широты взглядов! — с увлечением говорил Ваня.

Действительно, за те несколько дней, что Ваня провел в Нижней Александровке, он успел изложить Клаве все, что он продумал, прочувствовал и написал в стихах за девятнадцать лет своей жизни. И Клава, очень добрая девушка, влюбленная в Ваню, молча и терпеливо слушала его. И когда он что-нибудь спрашивал, она охотно кивала головой, во всем соглашаясь с ним. Не было ничего удивительного в том, что чем больше Ваня проводил времени с Клавой, тем более широкими казались ему ее взгляды.

— Вижу, вижу, т-ты пленен! — заикаясь, говорил Олег, глядя на друга смеющимися глазами. — Ты не сердчай, — вдруг серьезно сказал он, заметив, что этот тон его неприятен Ване, — я ведь так, озорую, а я рад твоему счастью. Да, я рад, — сказал Олег с чувством, и на лбу его собрались продольные морщины, и он несколько мгновений смотрел мимо Вани.

— Скажи откровенно, эго не Валько дал задание Осьмухину? — спросил Олег.

— Думаю, что нет.

— Я боюсь за него, — сказал Олег. — Давай, однако, пробираться в сарай...

Они прикрыли за собой дверцу и, не раздеваясь, пристроились оба на узком топчане и долго еще шептались в темноте. Казалось, нет исподалеку от них немецкого часового и нет вокруг никаких немцев. В который уже раз они говорили:

— Ну, хватит, хватит, надо трошки поспать...

И снова начинали шептаться.

Олег проснулся оттого, что дядя Коля будил его. Земнухова уже не было.

— Ты что ж одегым спишь? — спросил дядя Коля с чуть заметной усмешкой в глазах и губах.

— Сон свалил богатыря... — отшучивался Олег, потягиваясь.

— То-то, богатыря! Слышал я все ваше заседание в бурьяне под сараем. И что вы с Земнуховым трепали...

— Т-ты слышал? — Олег с заспанно-растерянным выражением лица сел на топчане. — Что ж ты нам сигнала не подал, что не спишь?

— Чтоб не мешать...

— Не ждал я от тебя!

— Ты еще многого от меня не ждешь, — говорил Николай Николаевич своим медлительным голосом. — Знаешь ли ты, например, что у меня есть радиоприемник, прямо под немцами, под половицей?

Олег до того растерялся, что лицо его приняло глупое выражение

— К-как? Ты в свое время не сдал его?

— Не сдал.

— Выходит, утаил от советской власти?

— Утаил.

— Ну, Коля, действительно... Не знал я, что ты такой лукавец,— сказал Олег, не зная, то ли смеяться, то ли обижаться.

— Во-первых, этим приемником меня премировали за хорошую работу,— говорил дядя Коля,— во-вторых, он заграничный, семилампный.

— Их же обещали вернуть!

— Обещали. И теперь он был бы у немцев, а он— у нас под половицей. И я, когда ночью слушал тебя, понял, что он очень нам пригодится. Выходит, я кругом прав,— без улыбки говорил дядя Коля.

— Все ж таки молодец ты, дядя Коля! Давай умоемся да сгоняем партию в шахматы до завтрака... Власть у нас немецкая, и работать нам все равно не на кого!— в отличном настроении сказал Олег.

И в это время оба они услышали, как девичий звонкий голос, громко, на весь двор, спросил:

— Послушай-ка ты, балда,— Олег Кошевой не в этом доме живет?

— Was sagst du? Ich verstehe nicht¹,— отвечал часовой у крыльца.

— Видала ты, Ниночка, такого обалдуя? Ни черта по-русски не понимает. Тогда пропусти нас или позови какого-нибудь настоящего русского человека,— говорил звонкий девичий голос.

Дядя Коля и Олег, переглянувшись, высунули из сарая головы.

Перед немецким часовым, немного даже растерявшимся, у самого крыльца стояли две девушки. Та из них, что разговаривала с часовым, была такой яркой внешности, что и Олег и Николай Николаевич обратили внимание прежде всего на нее. Это впечатление яркости шло от ее необыкновенно броского, пестрого платья: по небесно-голубому крепдешину густо запущены были какие-то красные вишенки, зеленые горошки и еще блестящие чего-то желтого и лилового. Утреннее солнце блестело в ее волосах, уложенных спереди золотистым валом и ниспадавших на шею и плечи тонкими и, должно быть, тщательно продуманными между двух зеркал кудрями. А яркое платье ее так ловко обхватывало ее талию и так легко, воздушно облегалo ее стройные полные ноги в прекрасных телесного цвета чулках и в кремовых изящных туфельках на высоких каблуках, что от всей девушки исходило ощущение чего-то необыкновенно естественного, подвижного, легкого, воздушного.

В тот момент, когда Олег и дядя Коля выглянули из сарайчика, девушка сделала попытку взойти на крыльцо, а часовой, стоявший сбоку крыльца с автоматом на одной руке, другой рукой преградил ей путь.

Девушка, нисколько не смутившись, небрежно хлопнула своей маленькой белой ручкой по грязной руке часового, быстро взошла на крыльцо и, обернувшись к подруге, сказала:

— Ниночка, иди, иди...

Подруга заколебалась. Часовой вскочил на крыльцо и, расставив обе руки, загородил девушке дверь. Автомат на ремне свисал с его толстой шеи. На небритом лице немца застыла улыбка самодовольно-глупая

¹ Что ты говоришь? Я не понимаю (немецк.)

оттого что он выполнял свой долг, и в то же время заискивающая, оттого что он понимал, что только девушка, имеющая на то право, может так обращаться с ним.

— Я — Кошевой, идите сюда, — сказал Олег и вышел из сарайчика.

Девушка резко обернула голову в его сторону, одно мгновение смотрела на него прищуренными голубыми глазами и почти в то же мгновение, стуча своими кремовыми каблучками, сбежала с крыльца.

Олег поджидал ее, большой, со своими широкими плечами и опущенными руками, глядя ей навстречу с наивно-вопросительным добрым выражением, будто говорил: «Вот я и есть Олег Кошевой... Только объясните мне, зачем я вам нужен: если для доброго, то пожалуйста, а если для злого, то зачем же вы меня выбрали?..» Девушка подошла к нему и некоторое время смотрела на него так, будто сличала с фотографией. Другая девушка, на которую Олег все еще не обращал внимания, подошла вслед за подружкой и остановилась в сторонке.

— Правильно: Олег... — точно для самой себя, с удовлетворением подтвердила первая девушка. — Нам бы поговорить наедине, — и она чуть подмигнула Олегу голубым глазом.

Олег, заволновавшись и смутившись, пропустил обеих девушек в сарай. Девушка в ярком платье внимательно посмотрела на дядю Колю прищуренными глазами и с удивленно-вопросительным выражением перебрала их на Олега.

— Можете говорить при нем так же, как и при мне, — сказал Олег.

— Нет, у нас дело любовное, — правда, Ниночка? — обернувшись к подружке, с легкой усмешкой сказала она.

Олег и дядя Коля тоже посмотрели на другую девушку. Лицо у нее было крупных черт, сильно прокаленное на солнце, руки, обнаженные до локтя, смуглые до черноты, были крупные, красивые, темные волосы, необыкновенной гущины, тяжелыми завитками, как бы вылитыми из бронзы, обкладывали ее голову, спускались на круглые сильные плечи. И в широком лице ее было, одновременно, выражение необычайной простоты — где-то в полных губах, в мягком подбородке, в смягченных линиях носа, очень простоватого, и выражение силы, вызова, страсти, полета, — где-то в надбровных буграх лба, в раскрытии бровей, в глазах широких, карих, с прямым отважным взглядом.

Глаза Олега невольно задержались на этой девушке — в дальнейшем разговоре он все время чувствовал ее присутствие, и стал заикаться.

Выждав, когда шаги дяди Коли отдалились по двору, девушка с голубыми глазами приблизила лицо свое к Олегу и сказала:

— Я — от дяди Андрея...

— Смело вы... К-как вы немца-то! — помолчав, сказал Олег с улыбкой.

— Ничего, немец любит, когда его бьют!.. — Она засмеялась.

— А к-кто вы будете?

— Любка, — сказала девушка в ярком душистом крепдешине.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Любовь Шевцова принадлежала к той группе комсомолок и коммольцев, которые еще в начале года были выдвинуты в распоряжение партизанского штаба для использования в тылу врага.

Она заканчивала военно-фельдшерские курсы и собиралась уже «правиться на фронт». Но ее перебросили на курсы радистов, там же Ворошиловграде.

По указанию штаба, она скрыла это от родных и от товарищей всем говорила и писала домой, что продолжает учиться на курсах военных фельдшеров. То, что ее жизнь была теперь окружена тайной, очень нравилось Любке. Она была «Любка-артистка, хитрая, как лиска», с всю жизнь играла.

Когда она была совсем маленькой девочкой, она была доктором. Она выбрасывала за окно все игрушки, а всюду ходила с сумкой с красным крестом, наполненной бинтами, марлей, ватой, — беленькая, толстенная девочка с голубыми глазами и ямочками на щечках. Она перевязывала своего отца и мать и всех знакомых, взрослых и детей и всех собак кошек.

Мальчик, старше ее, босой, прыгнул с забора и распорол ступню стеклом от винной бутылки. Мальчик был из дальнего двора, незнакомый и никого из взрослых не было в доме, чтобы помочь ему, а шестилетняя Любка промыла ему ногу и залила подом и забинтовала. Мальчишки звали Сережа, фамилия его была Левашов. Но он не проявил к Любке ни интереса, ни благодарности. Он больше никогда не появлялся в дворе, потому что он вообще презирал девчонок.

А когда она начала учиться в школе, она училась так легко, весело, будто она не на самом деле училась, а играла в ученицу. Но ей уже не хотелось быть доктором или учителем, или инженером, а хотелось быть домашней хозяйкой и, за что бы она ни бралась по дому, — мыть полы или делала клецки, — все получалось у нее как-то ловчее, веселее чем у мамы. Впрочем, она хотела быть и Чапаевым, именно Чапаевым, а не Анкой-пулеметчицей, потому что, как выяснилось, она тоже презирала девчонок. Она наводила себе чапаевские усы жженой пробкой и дралась с мальчишками до победного конца. Но когда она немножко выросла, она полюбила танцы: бальные — русские и заграничные, народные — украинские и кавказские. К тому же у нее обнаружился хороший голос, и теперь уже было ясно, что она будет артисткой. Она выступала в клубах и под открытым небом в парке, а когда началась война, она с особым удовольствием выступала перед военными. Но она совсем не была артисткой, она только играла в артистки, она просто не могла пайки себя. В душе ее все время, точно переливалось что-то многоцветное, играло, пело, а то вдруг бушевало, как огонь.

Какой-то живчик не давал ей покоя, ее терзала жажда славы, и страшная сила самопожертвования, и безумная отвага, и чувство детского озорного, пронзительного счастья, все звало и звало ее вперед, и выше, чтобы всегда было что-то новое и чтобы всегда нужно было чему-то стремиться. Теперь она бредила подвигами на фронте: она будет летчиком или военным фельдшером, на худой конец, — но выяс-

лось, что она будет разведчицей-радишкой в тылу врага, и это, конечно, было лучше всего.

Очень смешно и странно было, что из краснодонских комсомольцев, вместе с ней попал на курсы радистов тот самый Сережа Левашов, которому она в детстве оказала медицинскую помощь и который отнесся к ней тогда так пренебрежительно. Теперь она имела возможность отплатить ему, потому что он сразу в нее влюбился, а она, конечно, нет, хотя у него были очень красивые губы и красивые уши, и вообще он был парень дельный. Ухаживать он совсем не умел, он сидел перед ней со своими широкими плечами, молчал и смотрел на нее с покорным выражением, и она могла смеяться над ним и терзать его, как хотела.

Пока она училась на курсах, не раз бывало, что то один, то другой из курсантов больше не появлялся на занятиях. Все знали, что это значит: его выпустили досрочно и забросили в тыл к немцам.

Был душный майский вечер; городской сад поник от духоты, облитый светом месяца, цвели акации, голова кружилась от их запаха. Любка, которая любила, чтобы вокруг всегда было много людей, все тащила Сергея в кино или «прошвырнуться» по Ленинской. А он говорил:

— Посмотри, как хорошо кругом. Неужто тебе не хорошо?— И глаза его с непонятной силой светились в полутьме аллеи.

Они делали еще и еще крути по саду, и Сергей очень надоел Любке своей молчаливостью и тем, что не слушался ее.

А в это время в городской сад со смехом и визгом ворвалась компания ребят и девчат. Среди них оказался один с курсов, ворошиловградец Борька Дубинский, который тоже был равнодушен к Любке и всегда смешил ее своей трепатней «с точки зрения трамвайного движения».

Она закричала:

— Борька!

Он сразу узнал ее по голосу и подбежал к ней и к Сергею и мгновенно стал трепаться.

— С кем это ты? — спросила Любка.

— Это наши дивчата и ребята с типографии. Познакомить?

— Конечно! — сказала Любка.

Они тут же познакомились, и Любка всех потащила на Ленинскую. А Сергей сказал, что он не может. Любка подумала, что он обиделся, и нарочно, чтобы он не заносился, подхватила под руку Борьку Дубинского, и они вместе, выделывая в четыре ноги невозможные вензеля, выбежали из парка, только платье ее мелькнуло среди деревьев.

Утром она не встретила Сергея за завтраком в общежитии, его не было и на занятиях, и за обедом, и за ужином, и бесполезно было бы спрашивать, куда он делся.

Конечно, она совсем не думала о том, что произошло вчера в городском саду, — «подумаешь, новости!». Но к вечеру она вдруг заскучала по дому, вспомнила отца и мать, и ей показалось, что она никогда их не увидит. Она тихо лежала на койке в комнате общежития, где вместе с ней жило еще пять подруг. Все уже спали, затемнение с окна было снято, свет месяца буйно врвался в ближнее распахнутое окно.

А на другой день Сергей Левашов навсегда ушел из ее памяти, как если бы его и не было.

Шестого июля Любку вызвали в партизанский штаб и сказали что дела на фронте идут неважно, курсы эвакуируются, а ее, Любку оставляют в распоряжении штаба: пусть возвращается домой, в Краснодар, и ждет, пока ее не вызовут. Если придут немцы, она должна вести себя так, чтобы не вызвать подозрения с их стороны. И ей дали адрес на Каменном броде, куда она должна была зайти еще перед отъездом, чтобы познакомиться с хозяйкой.

Любка побывала на Каменном броде и познакомилась с хозяйкой. Потом она уложила свой чемоданчик, «проголосовала» на ближайшем перекрестке, и первая же грузовая машина, рейсом через Краснодар, подобра дерзкую белокурую девчонку.

Валько, расставшись со своими спутниками, весь день пролежал в степи и, только когда стемнело, вышел балкой на дальнюю окраину Шанхая и кривыми улочками и закоулками пробрался в район шахты № 1-Бис. Он хорошо знал город, в котором вырос.

Он опасался того, что у Шевцовых стоят немцы, и, крадучись с тыла, через заборчик проник во двор и притаился возле домашней пристройки в надежде, что кто-нибудь да выйдет на двор. Так просидел он довольно долго и начал уже терять терпение. Наконец хлопнула наружная дверь и женщина с ведром тихо прошла мимо Валько. Он узнал жену Шевцова, Евфросинью Мироновну, и вышел ей навстречу.

— Кто такой, боже мой милостивый! — тихо сказала она.

Валько приблизил к ней черное, обросшее уже щетиной лицо, и она узнала его.

— То ж вы?.. А где ж... — начала было она. Если бы не ночная полутьма, в которой из-за серой дымки, затянувшей небо, едва сквозь рассеянный свет месяца, можно было бы видеть, как все лицо Евфросиньи Мироновны покрылось бледностью.

— Обожди трохи. И фамилию мою забудь. Зови меня дядько Андрий. У вас немцы стоят? Ни?.. Пройдем в хату, — хрипло сказал Валько, подавленный тем, что он должен был сказать ей.

Любка, — не та нарядная Любка в ярком платье и в туфельках на высоких каблуках, которую Валько привык видеть на сцене клуба, — простоя, домашняя, в дешевой кофточке и короткой юбке, босая, встала ему навстречу с кровати, на которой она сидела и шила. Золотистые волосы свободно падали на шею и плечи. Прищуренные глаза ее, при свете подвешенной над столом шахтерской лампочки казавшиеся темными, без удивления уставились на Валько.

Валько не выдержал ее взгляда и рассеянно оглядел комнату, еще хранившую следы достатка хозяев. Глаза его задержались на открытке висевшей на стене у изголовья кровати. Это была открытка с портретом Титлера.

— Не подумайте чего плохого, товарищ Валько, — сказала мать Любки.

— Дядько Андрий, — поправил ее Валько.

— Чи то — дядя Андрей, — без улыбки поправила ее она.

Любка спокойно обернулась на открытку с Титлером и презрительно повела плечом.

— То офицер немецкий повесил, — пояснила Евфросинья Мироновна. — У нас тут все дни два офицера немецких стояли, только вчера уехали на Новочеркасск. Как только вошли, так до нее — «русский девушка, красив, красив, блонд», смеются, все ей шоколад, печенье. Смотрю, берет чертовка, а сама нос дерет, грубит, то засмеется, а потом опять грубит, — вот какую игру затеяла! — сказала мать, с добрым осуждением к дочери и с полным доверием к Валько, что он все поймет как нужно. — Я ей говорю: «Не шути с огнем». А она мне: «Так нужно». Нужно ей так — вот какую игру затеяла! — повторила Евфросинья Мироновна. — И можете представить, товарищ Валько...

— Дядько Андрий, — снова поправил ее Валько.

— Дядя Андрей... Не велела мне им говорить, что я ее мать, выдала меня за свою экономку, а себя — за артистку. А родители мои, — говорит, — промышленники, владели рудниками, и их советская власть в Сибирь сослала. Видали, чего придумала?

— Да, уж придумала, — спокойно сказал Валько, внимательно глядя на Любку, которая стояла против него с шитьем в руках и с неопределенной усмешкой смотрела на дядю Андрея.

— Офицер, что спал на этой кровати, — это ее кровать, а мы с ней спали вдвоем в той горнице, — стал разбираться в своем чемодане, белье ему нужно было, что ли, — продолжала Евфросинья Мироновна, — достал вот этот портретик и наколол на стенку. А она, — можете себе представить, товарищ Валько, — прямо к нему, и — раз! Портретик толдой. «Это, — говорит, — моя кровать, а не ваша, не хочу, чтобы Гитлер над моей кроватью висел». Я думала, он тут ее убьет, а он схватил ее за руку, вывернул, портретик отнял и снова на стенку. И другой офицер тут. Хохочут, аж стекла звенят: «Ай, — говорят, — русский девушка шлехт!..» Смотрю, она в самом деле злая стала, красная вся. Как рванулась в нашу комнату, аж подол завился. И что ж вы подумаете? Вылетает пулей и — портрет Сталина у нее в руках! Вбежала к кнопкам его, портрет Сталина, на другую стенку. Приколола, стала портрета, кулачки пожимала, — я со страху чуть не умерла. И правда, то ли она уж очень им нравилась, то ли они самые распоследние дураки, только они стоят, рогочут и кричат: «Сталин — плехо!» А она кулаками топчет и кричит: «Нет, Сталин хороший человек!.. То Гитлер уродина, кровопийца, его только в сортире утопить!» И еще такое говорила, что я, право слово, думала — вот вытащит он револьвер да застрелит... Так и не дала им снять. Уж я сама сняла да спрятала подальше. А Гитлера, когда они уехали, она не велела сымать: «Пушай, — говорит, — повисит, так нужно...»

Мать Любки была еще не так стара, но как многие простые пожилые женщины, смолоду неудачно рожавшие, она расплылась в бедрах и в поясе, и ноги у нее опухли в щиколотках. Она тихим голосом рассказывала Валько всю эту историю и в то же время поглядывала на него вопросительным, робким, даже молящим взглядом, а он избегал встретиться с ней глазами. Она все говорила и говорила, будто старалась отсрочить момент, когда он скажет ей то, что она боялась услышать. Но теперь она рассказала все и с ожиданием, волнуясь и робея, посмотрела на Валько.

— Может, осталась у вас, Евфросинья Мироновна, какая ни есть мужняя одежда, попроще,— хрипло сказал Валько,— а то вроде в таком пиджаке и шароварах при тапочках не дуже удобно сразу видать, что ответственный,— усмехнулся он.

Что-то такое было в его голосе, что Евфросинья Мироновна ои побледнела и Любка опустила руки с шитьем.

— Что же с ним? — спросила мать чуть слышно.

— Евфросинья Мироновна, и ты, Любка! — тихим, но твердым голосом сказал Валько. — Не думал я, что судьба приведет меня к тебе с недоброй вестью, но обманывать я вас не хочу, а утешить вас нечем. Ваш муж и твой отец, Люба, и друг мой, лучше какого не бы Григорий Ильич, погиб, погиб от бомбы, что сбросили на мирных людей проклятые каты... Да будет ему вечная память и слава в сердцах наших людей!..

Мать, не вскрикнув, приложила к глазам угол платка, которым бы повязана, и тихо заплакала. А у Любки лицо стало совсем белым, то застыло. Она постояла так некоторое время и вдруг, точно из тела вынули стержень, на котором оно держалось, вся изломившись, с без чувств опустилась на пол.

Валько поднял ее на руки и положил на кровать.

По характеру Любки он ждал от нее взрыва горя, с плачем, слезами, может быть, ей было бы легче. Но Любка лежала на кровати неподвижно, молча, с лицом застывшим и белым, и в опущенных углах ее большого рта обозначилась горькая складка, как у матери.

А мать выражала свое горе так естественно, тихо, просто и сердечным как свойственно бывает простым русским женщинам. Слезы сами вылились из глаз ее, она утирала их уголком платка, или смахивала рукой или обтирала ладонью, когда они затекали ей на губы, на подбородок. Но именно потому, что горе ее было так естественно, она, как обычно выполняла все, что должна делать хозяйка, когда у нее гость. Она дала Валько умыться, засветила ему ночник и достала из сундука старую гимнастерку, пиджак и брюки мужа, какие он носил обычно до войны.

Валько взял ночник, вышел в другую комнату и переоделся. Это было немного тесновато ему, но он почувствовал себя свободным, когда влез в эту одежду: теперь он выглядел мастеровым, одним из многих.

Он стал рассказывать подробности гибели Григория Ильича, зная, что как ни тяжелы эти подробности, только они могут дать сейчас близким жестокое и сладкое в горечи своей утешение. Как ни был Валько сам взволнован и озабочен, он долго и много ел и выпил графин водки. Он целый день провел без пищи и очень устал, но все-таки поднял Любку с постели, чтобы поговорить о деле.

Они вышли в соседнюю горницу.

— Ты здесь оставлена нашими для работы, — то сразу видно сказал он, сделав вид, что не заметил, как Любка отпрянула от него, как сразу изменилась в лице. — Не трудись, — поднимая тяжелую руку сказал он, когда она попыталась возражать ему, — кто тебя оставил и для какой работы, про то я тебя не спрашиваю и ты мне того не подтверждай, ни опровергать не обязана. Прошу помочь мне... А тебе тоже сгложусь.

И он попросил ее, чтобы она где-нибудь укрыла его на сутки и свела с Кондратовичем, — тем самым, вместе с которым они взорвали шахту № 1-бис.

Любка с удивлением смотрела в смуглое лицо Валько. Она всегда знала, что это большой и умный человек. Несмотря на то, что он дружил с ее отцом, как с равным, у нее всегда было такое ощущение, что этот человек высоко, а она, Любка, — внизу. И теперь она была сражена его пронизательностью.

Она устроила Валько на сеновале, на чердаке, в сарае соседей по дому: их соседи держали коз, но соседи эвакуировались, а коз поели немцы. И Валько крепко уснул.

А мать и дочь, оставшись одни, проплакали на материнской кровати почти до рассвета.

Мать плакала о том, что вся ее жизнь, жизнь женщины, с молодых лет связанной с одним Григорием Ильичом, уже была кончена. И она вспоминала всю эту жизнь с той самой поры, как она служила прислугой в Царицыне, а Григорий Ильич, молодой матрос, плавал по Волге на пароходе, и они встречались на облитой солнцем пристани или в городском саду, пока пароход грузился, и как им тяжело было первое время, когда они поженились, а Григорий Ильич еще не нашел себе профессии. А потом они перебрались сюда, в Донбасс, и тоже сначала было нелегко, а потом Григорий Ильич пошел, пошел в гору, и о нем стали писать в газетах, и дали эту квартиру из трех комнат, и в дом пришел зажиток, и они радовались тому, что Любка их растет, как царевна.

И вот всему этому пришел конец. Григория Ильича больше не было, а они, две беспомощные женщины, старая и молодая, остались в руках у немцев. И слезы сами собой лились, лились из глаз Евфросиньи Мионовны.

А Любка все говорила ей таинственным ласковым шопотом:

— Не плачь, мама, голубонька, теперь у меня есть квалификация. Немцев прогонят, война кончится, пойду работать на радиостанцию, стану знаменитой радисткой, и назначат меня начальником станции. Я знаю, ты у меня шуму не любишь, и я тебя устрою у себя на квартирке при станции, — там всегда тихо, тихо, кругом мягким обшито, ни один звук не проникает, да и народу немного. Квартирка будет чистенькая, уютная, и будем мы жить с тобой вдвоем. На дворике возле станции я высею газон, а когда немного разбогатею, устрою вольерчик для курочек, будешь у меня разводить леггорнок, да кохинхинок, — таинственно шептала она, прижмурившись, обняв мать за шею и невидя повода в темноте маленькой белой рукою с тонкими ноготками.

И в это время раздался тихий, тихий стук в окно пальцем. И мать и дочь одновременно услышали его и розняли руки, и, перестав плакать, обе прислушались.

— Не немцы? — шопотом, покорно, спросила мать.

Но Любка знала, что не так бы стучали немцы. Шлепая босыми ногами, она подбежала к окну и чуть приподняла край одеяла, которым окно было завешено. Месяц уже зашел, но из темной комнаты она могла различить три фигуры в палисаднике, мужскую, у самого окна, и две женских, поодаль.

— Чего надо? — громко спросила она в окно.

Мужчина прильнул лицом к стеклу. И Любка узнала это лицо. И точно горячая волна хлынула ей к горлу. Надо же было, чтобы появился именно сейчас, здесь, в такую пору, в самую тяжелую минуту жизни!..

Она не помнила, как она пробежала через комнаты, ее снесло крыльцо, точно ветром, и от всего благодарного, несчастного сердца она охватила шею юноши своими ловкими сильными руками и, заплаканная, полуголая, горячая после материнских объятий, прижалась к нему всем телом.

— Скорей... Скорей... — оторвавшись от него и взяв его за руку, сказала Любка, увлекая его на крыльцо. И вспомнила о его спутницах. Это кто с тобой? — спросила она, всматриваясь в девушек. — Оля! Нина! Голубоньки вы мои!.. — И она, обхватив обеих своими сильными руками, притянув их головы к своей, осыпала страстными поцелуями лицо одну и другую. — Сюда, сюда... скорей... — лихорадочным шопотом говорила Любка.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Они стояли у порога, не решаясь войти в комнату, такие они были грязные и запыленные, — Сергей Левашов, небритый, в одежде то шофера, не то монтера, и девушки, Оля и Нина, обе крепкого сложения, только Нина покрупнее, обе с бронзовыми лицами и темными волосами, точно припудренными серой пылью, обе в одинаковых, темных платьях и с вещевыми мешками за плечами.

Это были двоюродные сестры Иванцовы, которых по сходству фамилий путали с сестрами Иванихиными, Лилей и Тоней, — с Первой майки. Была даже такая поговорка: «Если среди сестер Иванцовых видишь одну беленькую, то знай, что это сестры Иванихины». (Ли Иванихина, та самая, что с начала войны ушла на фронт военным фельдшером и пропала без вести, была беленькая.)

Оля и Нина Иванцовы жили в стандартном доме, неподалеку от Шевцовых, их отцы работали на одной шахте с Григорием Ильичом.

— Родненькие вы мои! Откуда же вы? — спрашивала Любка, всплескивая своими беленькими руками: она предполагала, что Иванцовы возвращаются из Новочеркасска, где старшая, Оля, училась в промышленном институте. Но странно было, как Сергей Левашов попал в Новочеркасск.

— Где были, там нас нет, — сдержанно сказала Оля, чуть искривив в усмешке запекшиеся губы, и все ее лицо, с запыленными бровями и ресницами, как-то ассиметрично сдвинулось. — Не знаешь, у нас немцы стоят? — спросила она, по привычке, которая у нее выработалась за дни скитаний, быстро, одними глазами оглядывая комнату.

— Стояли, как и у нас, — сегодня утром уехали, — сказала Л. Черты лица Оли еще больше сместились в гримасе не то насмешки, не то презрения: она увидела на стене открытку с портретом Гитлера. — Для перестраховки?

— Пускай повисит, — сказала Любка. — Вы, поди, есть хотите?

— Нет, если квартира свободна, домой пойдем.

— А если и не свободна, вам чего бояться? Сейчас многие, кого немцы завернули на Дону или на Донце, возвращаются по домам... А не то говорите прямо — гостили в Новочеркасске, вернулись домой, — быстро говорила Любка.

— Мы и не боимся. Так и скажем, — сдержанно отвечала Оля.

Пока они переговаривались, Нина, младшая, молча, с выражением вызова, переводила широкие свои глаза то на Любку, то на Олю. А Сергей, сбросивший на пол выгоревший на солнце рюкзак, стоял, прислонившись к печке, заложив руки за спину, и с чуть заметной улыбочкой в глазах наблюдал за Любкой.

«Нет, они были не в Новочеркасске», — подумала Любка.

Сестры Иванцовы ушли. Любка сняла затемнение с окон и потушила шахтерскую лампу над столом. В комнате все стало серым — и окна, и мебель, и лица.

— Умыться хочешь?

— А у наших немцы стоят, не знаешь? — спрашивал Сергей, пока она, быстро снуя из комнаты в сени и обратно, принесла ведро воды, таз, кружку, мыло.

— Не знаю. Одни уходят, другие приходят. Да ты скидай свою форму, не стесняйся!

Он был так грязен, что вода с его рук и лица стекала в таз совсем черная. Но Любке было приятно смотреть на его широкие сильные руки и на то, как он энергичными мужскими движениями намыливал их и смывал, подставляя горсть. У него была загорелая шея, уши большие и красивые и складка губ мужественная и красивая, и брови у него были не сплошные, они гуще собирались у переносицы, даже на самом переносье росли волосы, а крылья бровей были тоньше и менее густые и чуть приподымались дугами, и здесь, на концах крыльев, образовались сильные складки на лбу. И Любке было приятно смотреть, как он обмывал свое лицо большими широкими руками, изредка вскидывая глаза на Любку и улыбаясь ей.

— Где же ты Иванцовых подцепил? — спрашивала она.

Он фыркал, плескал на лицо себе и ничего не говорил ей.

— Ты же пришел ко мне, — значит, поверил. Чего ж теперь мнешься? Мы с тобой с одного дерева листочки, — говорила она тихо и вкрадливо.

— Дай полотенце, спасибо тебе, — сказал он.

Любка замолчала и больше ни о чем не спрашивала его. Голубые глаза ее приняли холодное выражение. Но она попрежнему ухаживала за Сергеем, зажгла керосинку, поставила чайник, накрыла гостю поест и налила водки в графинчик.

— Вот этого уже несколько месяцев не пробовал, — сказал он, улыбнувшись ей.

Он выпил и принялся жадно есть.

Уже развидняло. За слабой серой дымкой на востоке все ярче розовело и уже чуть золотилось.

— Не думал застать тебя здесь. Зашел наугад, а оно — вон оно как... — медленно размышлял он вслух.

В словах его был как бы заключен вопрос, каким образом Любка, учившаяся вместе с ним на курсах радистов, оказалась у себя дома.

Но Любка не ответила ему на этот вопрос. Ей было обидно, что Сергей, зная ее прежней, мог думать, что она взбалмошная девочка капризничает, а она страдала, ей было больно.

— Ты ж не одна здесь? Отец, мать где?— расспрашивал он.

— Тебе разве не все равно,— холодно отвечала она.

— Случилось что?

— Кушай, кушай,— сказала она.

Некоторое время он смотрел на нее, потом снова налил себе стаканчик, выпил и продолжал есть уже молча.

— Спасибо тебе,— сказал он, окончив есть и утершись рукавом. Она видела, как он огрубел за время своих скитаний, но не эта грубость оскорбляла ее, а его недоверие к ней.

— Закурить у вас, конечно, не найдется?— спросил он.

— Найдется...— Она прошла на кухню и принесла ему листья прошлогоднего табака-самосада. Отец каждый год высаживал его на гряды, снимал несколько урожаев в году, сушил и, по мере надобности, мелко крошил бритвой на трубку.

Они молча сидели за столом, Сергей, весь окутанный дымом, и Любка. В комнате, где Любка оставила мать, попрежнему было тихо, но Любка знала, что мать не спит, плачет.

— Я вижу, у вас горе в доме. По лицу вижу. Никогда ты такой не была,— медленно сказал Сергей. Взгляд его был полон теплоты и нежности, неожиданной в его грубоватом красивом лице.

— У всех сейчас горе,— сказала Любка.

— Коли б ты знала, сколько я насмотрелся за это время крови!— сказал Сергей с великой тоскою и весь укутался клубами дыма.— Сбросили нас в Сталинской области на парашютах,— ткнулись мы туда, сюда, все явки завалены. Завалены не потому, что кто-нибудь предал, а потому, что он, немец, таким частым бреднем загрел— тысячами, и правых и виноватых,— ясно, кто мало-мальски на подозрении, в тот бредень попадался... В шахтах трупами стволы забиты!— с волнением говорил Сергей.— Работали мы порознь, но связь держали, а потом уж и концов нельзя было найти. Напарнику моему перебили руки и отрезали язык, и была б и мне труба, коли б я на улице в Сталинке случайно Нинку не встретил. Ее и Ольгу, еще когда Сталинский обком был у нас в Краснодаре, взяли связными, и они уж это во второй раз в Сталино пришли. А тут стало известно, что немцы уже на Дону. И им, дивчатам, ясно, что тех, кто их послал, уже в Краснодаре нет и на мои позывные тоже уже никто не отвечает. Передатчик я сдал и подпольный обком, ихнему радисту, и решили мы уходить домой, и вошли... Как я за тебя-то волновался!— вдруг вырвалось у него из самого сердца.— А что, думаю, если забросили тебя, вот так же, как нас, в тыл к врагу, и осталась ты одна? А не то завалилась, и где-нибудь в застенке немцы твою душу терзают,— говорил он глухо сдерживая себя, и его взгляд уже не с выражением теплоты и нежности а со страстью так и пронзал ее.

— Сережа!— сказала она.— Сережа!— И опустила свою золотую голову на руки.

Большой, с набухшими жилами рукою он осторожно провел один раз по ее голове и руке.

— Оставили меня здесь,—сам понимаешь зачем... Велели ждать приказа, и вот скоро месяц,—а никого и ничего,—тихо говорила Любка, не подымая головы.—Немецкие офицеры лезут, как мухи на мед, первый раз в жизни выдавала себя не за того, кто есть, чорт знает что вытворяла, изворачивалась,—противно, и сердце болит за самое себя. А вчера люди, что с эвакуации вернулись, сказали—отца убили немцы на Донце во время бомбежки,—говорила Любка, покусывая свои ярко-красные губы.

Солнце всходило над степью, и слепящие лучи его отразились от тернитных крыш, тронутых росой. Любка вскинула голову, тряхнула кудрями.

— Надо уходить тебе. Как думаешь жить?

— Как и ты. Сама же сказала, мы с одного дерева листочки,—сказал Сергей с улыбкой.

Проводив Сергея через двор, задаями, Любка быстро привела себя в порядок, одевшись, впрочем, как можно проще: ее путь был на Голубитники, к старому Ивану Гнатенко.

Она ушла во-время. В дверь их дома страшно застучали. Дом стоял в близости от Ворошиловградского шоссе, это стучались на постой немцы.

Весь день Валько просидел на сеновале, не евши, потому что нельзя было проникнуть к нему из-за немцев. А ночью Любка вылезла из окна в комнате матери и провела дядю Андрея на Сеняки, где на квартире знакомой вдовы, верного человека, назначил ему свидание Иван Кондратович.

Здесь-то Валько и узнал всю историю встречи Кондратовича с Шульгою. Валько знал Шульгу и в юности, как земляка-краснодонца, и на протяжении последних лет, по работе в области. И у Валько не было теперь сомнений, что Шульга был одним из тех людей, кто оставлен во главе краснодонского подполья. Но как было найти его?

— Не поверил он, значит, тебе?—с грубоватой усмешкой спрашивал Валько Кондратовича.—Ото дурный!..—Он не понимал поступка Шульги.—А как сын?—Валько хитро подмигнул.

— А кто его знает,—потупился Кондратович.—Я его спросил напрямки: «Пойдешь к немцам служить? Говори мне, отцу, честно, чтобы я знал, чего я от тебя могу ждать». А он: «Что я,—говорит,—дурак служить им? Я и так проживу при них не хуже!..»

— Сразу видать, человек сообразительный, не в отца,—усмехнулся Валько.—А ты это используй. Раструди по всем перекресткам, что он при советской власти судился. И ему хорошо. И тебе при нем будет спокойнее от немцев.

— Эх, дядя Андрей, не думал я, что ты меня будешь таким шуткам учить!—с досадой сказал Кондратович своим низким голосом.

— Эге, брат, а ты—старый человек, а хочешь немцев одолеть в белянгой рубашке!.. Ты на работу встал, нет?

— Какая ж работа? Шахта-то взорвана!

— Ну, як кажут, по месту службы явился?

— Что-то я тебя не понимаю, товарищ директор...—Кондратович даже растерялся, настолько то, что говорил Валько, шло вразрез с тем, как он, Кондратович, наметил жить при немцах.

— Значит, не явился. А ты явись,— спокойно сказал Валько. Работать ведь можно по-разному. А нам важно, своих людей сохранить.

Валько так и остался у этой вдовы, но на другую ночь опять сменил квартиру. Новое его местопребывание знал только один Кондратович, которому Валько безгранично верил.

В течение нескольких дней Валько с помощью Кондратовича и Любки, а также Сергея Левашова и сестер Иванцовых, которых ему рекомендовала та же Любка, разнюхивал, что предпринимают в городе немцы и завязывал связи с оставшимися в городе членами партии и известными ему беспартийными людьми. Но так и не мог обнаружить Шульги Единственной ниточкой, которая могла связать его с областным подпольем, была Любка, но по характеру Любки и ее поведению, Валько догадывался, что она разведчица и до поры до времени ничем не откроет ему. Он решил действовать самостоятельно, в надежде, что все пути, ведущие в одну точку, рано или поздно сойдутся. И направил Любку к Олегу Кошевому, который мог ему теперь пригодиться.

— Я м-могу лично повидать дядю Андрея?— спрашивал Олег, стараясь не показать своего волнения.

— Нет, лично повидать его не можно,— говорила Любка с загадочной улыбкой.— У нас ведь, правда, дело любовное... Ниночка, походи, познакомься с молодым человеком!

Олег и Нина неловко подали друг другу руки, и тот и другой смущались.

— Ничего, вы скоро привыкнете,— говорила Любка.— Я вас сейчас покину, а вы пройдитесь куда-нибудь под ручку и поговорите по душам, как жить будете... Желаю вам счастливо провести время!— сказала она, и, блеснув глазами, полными лукавства, и мелькнув перед ними ярким своим платьем, выпорхнула из сарая.

Они остались друг против друга, Олег — растерянный и смущенный, Нина — с выражением вызова на лице.

— Здесь нам оставаться нельзя,— сказала она с некоторым усилием, но спокойно,— лучше куда-нибудь пойдем... И будет, правда лучше, если ты возьмешь меня под руку...

На невозмутимом лице дяди Коли, прогуливавшегося по двору, выразилось крайнее изумление, когда он увидел выходящего со двора племянника об руку с этой незнакомой девушкой.

Они, и Олег, и Нина, были еще настолько неопытны и юны, что долго не могли избавиться от чувства взаимной неловкости. Каждое прикосновение друг к другу лишало их дара слова. Руки, продеты одна в другую, казались им раскаленным железом.

По вчерашнему уговору с ребятами, Олег должен был разведать ту сторону парка, в которую упиралась Садовая улица, и он повел Нину по этому маршруту. Почти во всех домах по Садовой и вдоль парка стояли немцы, но, едва они вышли за калитку, Нина сразу заговорила о деле — тихим голосом, как если бы она говорила о чем-нибудь интимном:

— Дядю Андрея тебе видеть нельзя, ты будешь держать связь со мной... На это не обижайся, я тоже его ни разу не видела... Дядя Андрей велел узнать, все ли у тебя в порядке. И велел узнать, не

ли у тебя таких ребят, кто мог бы разноухать, кто из наших сидит у немцев, арестованный...

— Один парень, очень боевой, за это взялся,— быстро сказал Олег.

— Дядя Андрей велел, чтобы ты рассказывал мне все, что тебе известно... И про своих и про немцев.

Олег передал ей то, что рассказал ему Тюленин о подпольщике, выданном немцам Игнатом Фоминым, и то, что сообщил ему ночью Володя Осьмухин.

— П-пока мы с тобой разговариваем,— с улыбкой сказал Олег,— я насчитал т-три зенитки, правее школы, туда, вглубь, а рядом блиндаж, блиндаж, а автомашин не видно...

— А счетверенный пулемет и двое немцев— на крыше школы?— вдруг спросила она.

— Я не заметил,— с удивлением сказал Олег.

— А оттуда с крыши весь парк просматривается,— сказала она немного даже с укоризной.

— Значит, ты тоже все высматривала? Разве тебе тоже поручили?— с заблестевшими глазами допытывался Олег.

— Нет, я сама. По привычке,— сказала она и, спохватившись, быстро с вызовом взглянула на Олега из-под могучего раскрытия своих бровей,— не слишком ли она раскрыла себя.

Но он был еще достаточно наивен, чтобы заподозрить ее в чем-либо.

— Ага... вон машины,— целый ряд! Носами в землю зарылись, только края кузовов торчат, и там у них кухня походная дымит! Видишь? Только ты не смотри туда,— с увлечением говорил Олег.

— И нет никакой надобности смотреть: пока со школы не снят наблюдательный пост, шрифтов все равно не выкопать,— спокойно сказала она.

— В-верно...— Он с удовольствием посмотрел на нее и засмеялся.

— Ты не скажешь мне, как найти Осьмухина, если дядя Андрей спросит?

Олег дал адрес Жоры Арутюнянца.

В результате этого разговора Валько через Володю Осьмухина установил связь с Лютиковым и, сопоставив все данные, известные ему, узнал об обстоятельствах ареста Шульги. Но Олег и Нина в этот момент еще не знали, насколько важно то, о чем они говорили. Они уже привыкли друг к другу, шли, не торопясь, и полная большая женственная рука Нины доверчиво покоилась на руке Олега. Они уже миновали парк. Справа от них вдоль улицы, возле стандартных домиков стояли немецкие машины, то грузовые, то легковые разных марок, то походная радиостанция, то санитарный автобус, и всюду виднелись немецкие солдаты. А слева тянулся пустырь, в глубине которого, возле каменного здания казарменного типа, немецкий сержант в голубоватых погонах с белым кантом проводил учебу с небольшой группой русских в гражданской одежде, вооруженных немецкими ружьями. Они то строились, то рассыпались, ползали, схватывались в рукопашную. Все они были уже пожилые. На рукавах у них были повязки со свастикой.

— Жандарм фрицевский... Учит «полицаев», как нашего брата лопить,— сказала Нина, сверкнув глазами.

— Откуда ты знаешь?— спросил он, вспомнив то, что рассказывал ему Тюленин.

— Я уже их видела.

— Сволочь какая!— сказал Олег с брезгливой ненавистью.— Таких давить и давить...

— Стоило б,— сказала Нина.

— Ты хотела бы быть партизаном?— неожиданно спросил он.

— Хотела бы.

— Нет, ты представляешь, что такое партизан? Работа партизана совсем не показная, но какая благородная! Он убьет одного немца, убьет другого, убьет сотню, а сто первый может убить его. Он выполнит одно, второе, десятое задание, а на одиннадцатом может сорваться. Это дело требует самоотверженности. Партизан никогда не дорожит своей личной жизнью. Он никогда не ставит свою жизнь выше счастья родины. И если это требуется для выполнения долга перед родиной или для сохранения многих жизней, он никогда не пожалеет своей жизни. И он никогда не продаст и не выдаст товарища. Я хотел бы быть партизаном!— говорил Олег с такой глубокой, искренней, наивной увлеченностью, что Нина подняла на него глаза, и в них выразилось что-то очень простоватое и доверчивое.

— Слушай, неужели мы будем с тобой встречаться только по делу?— вдруг сказал Олег.

— Нет, почему же, мы можем встречаться... когда свободны,— сказала Нина, немного смутившись.

— Где ты живешь?

— Ты не занят сейчас?.. Может быть, ты проводишь меня? Я хотела бы познакомить тебя со своей старшей сестрой Олей,— сказала она не совсем уверенная, что она хочет именно этого.

Счастливый своим новым знакомством и тем, как складывались дела его, очень голодный, Олег возвращался домой. Но, видно, ему не суждено было поесть сегодня. Дядя Коля шел ему навстречу:

— Я тебя уже давно караулю: «Конопатый» (так они называли денщика) все время ищет тебя.

— К ч-чорту!— беспечно сказал Олег.

— Все-таки лучше от него подальше. Ты знаешь, Виктор Кистринов здесь, вчера объявился. Его немцы у Дона повернули. Давай пойдем к нему, благо у его хозяйки немцев нет,— сказал дядя Коля.

Виктор Кистринов, молодой инженер, сослуживец Николая Николаевича и его приятель, встретил их необычайной новостью:

— Слыхали? Стеценко назначен бургомистром!— воскликнул он, оскалившись одной стороной рта, как злая собака.

— Какой Стеценко? Начальник планового отдела?— Даже дядя Коля удивился.

— Он самый.

— Брось смеяться!

— Не до смеху.

— Да не может того быть! Такой тихий, исполнительный, в жизни никого не задел...

— Так вот тот самый Стеценко, тихий, никого в жизни не задел, без кого нельзя было представить себе ни одной выпивки, ни одного

преферанса, про кого все говорили — вот свой человек, вот душа-человек, вот милый человек, вот симпатичный человек, вот тактичный человек, тот самый Стеценко — наш бургомистр. — говорил Виктор Кистринов, тощий, колючий, ребристый, как штык, весь клокоча и даже булькающая слюной от злости.

— Честное слово, дай опомниться, — говорил Николай Николаевич, все еще не веря, — ведь не было же среди инженеров ни одной компании, в какую бы его ни приглашали! Я сам с ним столько водки выпил! Я от него не то, чтобы какого-нибудь нелюбимого, я вообще от него ни одного громкого слова не слышал... И было бы у него какое-нибудь прошлое, — так ведь все ж его знают, как облупленного: отец его из мелких чиновников, и сам он никогда ни в чем не был замешан...

— Я сам с ним водку пил! А теперь он нас по старому знакомству первых — за галстук, и — либо служи, либо... — и Кистринов рукою с тонкими пальцами сделал петлеобразный жест под потолок. — Вот тебе и симпатичный человек!

Не обращая внимания на примолкшего Олега, они еще долго переживали, как это могло получиться, что человек, которого они знали несколько лет и который всем так нравился, мог стать бургомистром при немцах. Наиболее простое объяснение напрашивалось такое: немцы заставили Стеценко стать бургомистром под страхом смерти. Но почему же выбор немцев пал именно на Стеценко? И потом внутренний голос, тот сокровенный инстинктивный голос совести, который определяет поступки людей в ответственной и страшную минуту жизни, подсказывал им, что если бы им, обыкновенным рядовым советским инженерам, выпал этот выбор, они предпочли бы смерть такому падению.

Нет, очевидно, Стеценко было не так просто, что Стеценко согласился стать бургомистром под страхом смерти. И стоя перед лицом этого непонятого явления, в который уже раз говорили:

— Стеценко! Скажи пожалуйста!.. Нет, подумай только! Спрашивается, кому же ты можешь верить?

И пожимали плечами, и разводили руками.

(Продолжение следует)

ГАЛИНА НИКОЛАЕВА

ЛИРИКА

1. ДЛЯ ВАС

Для вас, закрывших родину телами,
Смотревших в смерть, не опуская глаз,
Правдивыми, горячими словами
Учусь писать. Хочу писать для вас:

В час отступленья, боли и печали
Ряды редели, падали друзья.
Погибшие мне голос завещали,
Чтобы о них заговорила я.

2. ДЫМ НА ЗАРЕ

Милый, родной, если бой угас,
Если металл остыл,
В дальней стране, в предвечерний час
Что вспоминаешь ты?
Стройку свою на крутой горе?
Гул молодых голосов?
Легкий, отчетливый на заре
Контур сквозных лесов?
Вечер наш первый? Зарю с грозой?
Сумерки без огня?
Или толстушку с большой косой,
Прежнюю, ту, меня?
Пишешь, что памятью этой жив,
Мне же отрады нет,
Встала у черной большой межи,
Дымом застлало свет.
Если на небе игра зарь,
Чудится — у воды
Черная пристань вдали горит,
В розовом свете дым.
Дым над кормой. Продохнуть
невмочь,
Пламя в дверях кают.

Рядом кричат, просят помочь.
Пули фанеру шьют.
Друг на руках у меня хрипит,
Судорожно ворот рвет.
Алая кровь на зорю летит,
В небо из горла бьет.
Мне на зарю не смотреть,
не смотреть.
Помню одно, одно —
Дым на заре, дым на заре,
Трупы идут на дно.
Я не сильна, не боец, не герой,
Но посмотрю назад:
Встал за спиной сорок второй,
Встал за спиной Сталинград.
Встал за спиной сомкнутый строй
Тех, что костями легли.
Женщина я, не боец, не герой,
Но я войду в Берлин.
Так приказала мне жизнь и смерть
Память моя и кровь.
Дым на заре, дым на заре,
Ненависть, гнев, любовь.

10. ПРОЩАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ

Ох, и что это за проводы
Без разлуки у ворот?
Или доводы — не доводы,
Или все наоборот?
Что же это получается,
Берedit мою тоску?
Третий год с тобой прощаюсь я —
Все проститься не могу.
Возвращениями измучила.
Дашь покой мне или нет?
Знать, везучей-невезучею
Появилась я на свет.
Знают юные, пригожие
Одиночество и грусть.
Я с моей судьбой тревожною
На один не остаюсь.
Как не видно, что завьюжена,
Смята молодость моя?
Все прохожие, ненужные,
Почему нужна вам я?

Неприветлива, немолода
И давно нехороша.
Жить хочу спокойным холодом,
Ясной мыслью дорожа.
Надо мною друг подшучивал,
Что таких и без улик
В старину когда-то мучили,
На кострах когда-то жгли.
Самый лучший, самый родный мой,
Тот, что крепче всех любил,
Про ведьмачью приворотную
Про судьбу мне говорил.
Мы простились, юность, что же ты
Вновь стучишься, не таясь?
Иль к тебе я приворожена,
Неумная моя?
Для чего и чем отмечена
По земле я прохожу,
Одиноким, тихим вечером
Тишины не нахожу?

11. * * *

Я приготовила алые флаги,
Скатерть с расшитой каймой,
Жбаны веселой играющей браги,
Светлый наряд голубой.
Песню готовлю, чтоб счастьем
звучала,
Чтобы -илась, как у птиц,
Алые, белые розы достала
Из заповедных теплиц.
Алые, белые розы победы
Брошу ковром на порог.
Где ты, родимый? Желанный мой,
где ты?

Радостный час недалек.
Я не пошлю к тебе чайку-вещунью —
Слишком тревожно кричит.
Жураньку-журу к тебе не пушу я —
Медленно слишком летит.
Вышлю к тебе домовитую птичку,
Ласточку ту, что сейчас
Лепит да лепит гнездо-невеличку
Прямо над дверью у нас.
Пусть она скажет, что сад под горою
Цветом убрала весна.
Пусть она скажет, что встречу героям
Нынче готовит страна.

АННА АХМАТОВА
НОВЫЕ СТИХИ

* * *

Наше священное ремесло
Существует тысячи лет,
С ним и без свету миру светло,

Но еще ни один не сказал поэт,
Что мудрости нет и старости нет,
А, может, и смерти нет.

ИЗ ТАШКЕНТСКОЙ ТЕТРАДИ

Как ни стремилась к Пальмире я
Золотоглавой,
Но суждено здесь дожить мне
До первой розы.

Персик цветет и фиалок дым
Черно-лиловый...
Кто мне посмеет сказать, что здесь
Злая жужбина?

* * *

Справа раскинулись пустыри
С древней, как мир, полоской зари,
Слева, как виселица, фонари...
Раз, два, три...

А надо всем еще галочий крик—
И помертвелого месяца лик

Совсем ни к чему возник.
Это — из песни не той и не той,
Это — когда будет век золотой,
Это — когда я встречусь с тобой,
Это — когда окончится бой...

29 апреля 1944 г.

* * *

А вы, мои друзья последнего
призыва,
Чтоб вас оплакивать, мне жизнь
сохранена,
Над вашей памятью не стыть
плакучей ивой,
А крикнуть на весь мир все ваши
имена.

Да что там имена! — захопываю
святы
И на колени все! — Багровый
хлынул свет:
Рядами стройными выходят
ленинградцы
Живые с мертвыми. Для славы
мертвых нет.

1942

ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ

РИГА

I

Ганзейских улочек извивы,
Мортиры стерегут порог.
На узкой крыше хлопотливо
Скрипит железный флюгерок.
Он в виде петушка над шпилем.

На камне полустертый лик —
То светятся под слоем пыли
Остатки давних майолик.
И купола прибрежных зданий
Повиты дымкой вековой.
И конус древний, как сказанье
Над башнею пороховой.
Мощенная брусчаткой площадь,
Разбитый остроглавый дом.

Сидит, нахохлившись, извозчик,
Как изваянье, под дождем.
В цилиндре, в рваной пелерине,
Он дряхлому кварталу в тон.
Всей этой готики старинней
Его нелепый фазтон.
Он ждет приезжих с переправы
И дремлет в сумраке сыром
У тумбы каменной, под ржавым
Средневековым фонарем.

А между тем от переправы
По плитам, на ногу легки,
Как свежий ветер с Даугавы,
Идут латышские стрелки.
Да, мимо каменных столетий
Они идут в строю сквозь дождь.
Омолодило плиты эти
Прикосновение их подошв.
Квартал для их походки тесен
И низких сводов полутьма.
Раскатами гвардейских песен
Полны ганзейские дома.
И девушки от перекрестка
Навстречу, с астрами в руках,
Спешат, спешат в платочках пестрых,
На деревянных каблучках.
И вот с размаху распахнулись
Все двери настежь. Дождь утих.
Раздвинулись ущелья улиц
В круженье листьев золотых.
И сердцу большего не надо,
И небо Риги голубей,
И над фонтаном Эспланады
Сверкают стаи голубей.

Октябрь 1944 г.

II

В предместьях Риги — вымершее
гетто.
Коллочкой огороженный квартал.
Домишки, заслоненные от света.

За каждой дверью смертник обитал.
Лавчонки. Мастерские. Скарб
немудрый.
Осевший пух распоротых перин.

В камерке отблеск неживого утра,
Скупой свечи оплывший стеарин.
Здесь жили, ненавидели, любили,
Молились богу, прятались в подвал.
Здесь пахнет кровью и жестокой
былью,

Здесь каждый камень в муках умирал,
Здесь каждый дом вставал Стеною
Плача.

Что вспомнить?

Как за створками ворот
В густой ночи, над улочкой
незрячей

Немецкий говор тишину прорвет,
Как дверь срывают с петель...

В диком блеске
Слепящих фар — подростки, старики.

На старый тракт, в глухие перелес
Их на Голгофу мчат грузовики
К обрыву рва.

О, нет, словам
библейским

Не выразить предсмертной их тоск
Она кричит всей немотою этой,
Восстав из ям, из душевной чернот
И жжение истерзанного гетто
Своею кожей ощущаешь ты.

Так пусть навек ожесточится серд
Пусть бьется, негодуя и скорбя,
Ту улочку, где ад пред ним разверз
Всю целиком вобравшее в себя.

*Риза
Московский форштадт
Ноябрь 1944 г.*

НИКОЛАЙ ДАЛЕКИЙ

УЛЫБКА

Рассказ

Я действительно ночевал в этом селе. И утром ушел. Ничего тут не было подозрительного. По улице проходили немецкие солдаты, я посторонился, чтобы дать им дорогу, но они даже не посмотрели на меня. Сотни таких с мешками за спиной бродили по селам в эту зиму: бабы, подростки, старики.

Но тот, что повстречался мне на краю села, стоял в конце улицы так, как будто меня караулил. В черной аккуратненькой поддевке, смушковой шапке, маленький, он казался не то моложавым, не то в самом деле молодым. Я прошел под его колючим подозрительным взглядом, как через кусты терна. Думал — остановит, но он даже не окликнул меня. Щеголь, с усиками, сукнин сын...

Я вышел из села и за бугром свернул с широкой дороги на тропу в лес. Почему в лес? Да потому, что лесом до хутора было ближе идти. Вот и все. Нет, пожалуй, не все. На опушке за елочкой я встретил паренька. Он был в шапке ушанке, с таким же мешком-пудовником за плечами, как и у меня. Обыкновенный, паренек, на год старше меня, не больше. Только шире в плечах и брови густые, чуть сросшиеся над переносьем, упрямые.

Мы закурили и поболтали. Так, всего несколько слов. Потом я ушел, а паренек остался.

Я уже порядком отшагал по тропе, когда сзади хлопнул выстрел, один, другой, а за ними очередь из автомата и еще выстрелы громче и слабее. Но я даже не остановился, — мало ли почему могли стрелять немцы. Мне-то, во всяком случае, какое дело? Я шел все дальше и дальше, в глубь леса, и сосны заглушали выстрелы. Я шел лесной тропой, потому что лесом до хутора было ближе.

Вот и все. А при выходе из леса меня арестовали и на автомашине другой дорогой повезли в Песочное — село, где я ночевал. Конвой был большой: пять немецких автоматчиков.

Видно, немцы приняли меня за какую-то важную птицу. Это меня-то, мальчишку! У меня есть пропуск от полтавского коменданта, я ходил менять барахло на хлеб. Как дважды два, я докажу свою невиновность. Но все-таки это совсем скверное дело, когда конвой в пять человек и все они смотрят на тебя волками.

В комендатуре пахло одеколоном. Ноги бесшумно ступили на килим — шерстяной, цветастый, наш украинский килим, — чья-то девичья гордость и приданое. Только не до килима мне было теперь. Эти в комнате, и офицер, и солдаты, и человек с усиками (кто он у них: бургомистр, староста, полицейский?), взглянули на меня так, ну точно расстрелять хотели глазами. Только глазами меня не испугаешь. Человек с усиками кивнул головой офицеру и забежал мне за спину. Он бы чем-то очень доволен. Что он нашел там, у меня на спине, номер и туз, как у каторжника?

Молодой высокий офицер нехотя отодвинулся от изразцовой печи, он грелся — и подошел к письменному столу.

— Звать?

— Шумко Валька. Валентин Григорьевич.

— Лет?

— Пятнадцать, шестнадцатый. — Мне шестнадцать, но я год убави на всякий случай. Офицер не поверил, прищурился. — Может, кажу старше, — я пожал плечами, — сирота.

— Казанская...

Я оглянулся, это сказал человек с усиками.

— Нет, — говорю, — я из Полтавы.

Я действительно из Полтавы. И так у меня это натурально получилось, что тот не выдержал и отвел свои гадючьи глаза.

— Погодите, господин Сокуренько. — Офицер упер в меня глаза точно две невидимые палки. — Что делал в лесу?

Я рассказал все, как было. Как ночевал, как вышел из села, как встретил в лесу паренька незнакомого, как ушел один. Офицер смотрит на меня и не слушал. Казалось, он думал совсем о другом. Глаза холодные, умные. По-русски говорит чисто.

— О чем разговаривали?

— С кем?

— С пареньком незнакомым.

— Да вакурили и о погоде.

— О погоде? и всё?

— Всё.

Сзади кто-то хмыкнул и нетерпеливо заерзал. Офицер сделал успокаивающий жест рукой и оживился. Он осмотрел меня всего и, слов удовлетворившись осмотром, улыбнулся.

— Больше ничего не припомнишь?

— Как будто ничего.

— Ну так вот, слушай, я расскажу тебе, как все это было.

И офицер начал рассказывать. Такое, что я просто обмер. Оказывает, я давно знаю паренька. Да, да. Возможно, даже мы с ним друзья детства. Мы оба — бойцы партизанского отряда, и нас посла совершать диверсию. Для этой цели у нас припасена мина. Так маленькая, секретного устройства штучка (офицер лукаво мне помигнул), которая взрывает поезд. Мы носили ее по очереди в мешке с мукой. Тот, чья очередь нести мину, во избежание риска, не ночует в селе. У него же хранится пистолет, выданный нам на двоих. Сегодня была очередь паренька, и он почевал в скирде соломы. Да, да, в с

доме. Господин Сокуренько заметил его сегодня утром. Меня тоже заметил господин Сокуренько. Мы знали, что были замечены, и опасались преследования. Поэтому парнишка (он назначен старшим группы) приказал мне взять мешок с миной и уходить в глубь леса, а сам с пистолетом остался на опушке, чтобы задержать солдат в случае преследования. Услышав стрельбу, я должен был спрятать мину в лесу, что я и сделал.

К концу рассказа офицер совсем повеселел. Он вышел из-за стола и хлопнул меня по плечу.

— Вот видишь, мы же все знаем.— Он переглянулся с господином Сокуренько. Тот тоже улыбался, только зубы у него были гнилые, и он все время их прятал.

— Ну, что же ты молчишь?

Глаза офицера ласково, но уже настороженно смотрели на меня. Что же мне было говорить? Я только воздух из легких выпустил, выдох получился долгий, со свистом.

— Очень складно, точно в книге. Только я здесь ни при чем,— сказал я.— Я шел, чтобы менять...

— Довольно,— оборвал меня офицер, и лицо его стало злым.— Мальый, не прикидывайся. Твой товарищ во всем сознался, все рассказал, зачем тебе отпираться?

Ах, товарищ сознался? Нет, не выйдет, комендант. Я на такое не клюю. Меня даже зло взяло: он, очевидно, совсем за дурака меня считает.

— Врет,— говорю,— ваш этот самый паренек.— Я почувствовал, как кровь бросилась мне в лицо.

— Я устрою личную ставку,— пригрозил офицер.

— Давайте, я ему морду расковыряю.— И меня так и затрясло от злости.

Офицер задумался на мгновение, потом сказал уже совсем другим тоном:

— Ну, хорошо, оставим твоего товарища. Его песенка спета. Но у нас есть другие доказательства. Совершенно точные.— Комендант помедлил немного, пристально глядя мне в глаза.— За плечами у тебя твой мешок?

— Мой.

— Господин Сокуренько, вы хорошо помните, какой мешок был у него, когда он выходил из села?

— Хорошо. Белый, шитый из рядна с синей полоской.

— Сними мешок.

Я снял.

— Где синяя полоса?

Полосы не было.

— Почему она оказалась на мешке твоего товарища?

— Он вовсе не мой товарищ.

— Это неважно, но почему полоска перешла на его мешок?

Офицер вытащил из-за стола мешок с мукой точь-в-точь как мой, только с синей полоской и какими-то красными пятнами на нем. Не-хорошие были эти пятна. «Кровь»,— подумал я.

— Ну, что ты на это скажешь?

Действительно, что я мог сказать? Заваривалась каша. Это было несомненно.

— Мой мешок тот, что у меня,— сказал я твердо.

— Ну, уж это совсем по-детски.— Офицер снисходительно улыбнулся.— Утром полоска была, а теперь слиняла? Мы бы и разговаривать с тобой не стали, но нам нужно узнать, где ты запрятал мину. Мы хотим уладить с тобой это все по-хорошему.

Офицер отвернулся. Лицо его выражало скуку. Казалось, он даже несколько не сердился на меня за то, что я партизан, как он думал, шел взрывать немецкие поезда. Он просто досадует, что я упираюсь, когда все уже ясно.

— Но у меня не было никакой мины. Я не знаю никаких партизан. Я шел...

Но офицер оборвал меня:

— Я уже слышал, куда ты шел. Мы с тобой не в прятки играем; или ты покажешь, где спрятана мина, и я,— слово немецкого офицера,— сохранию тебе жизнь, или...

Офицер не договорил, что следовало за этим «или». Но все было ясно и так. Я взмолился:

— Но я-то ведь не могу эту мину слепить из снега.

Офицер осмотрел меня с ног до головы каким-то новым взглядом, точно он впервые меня увидел.

— Ты, я вижу, сложнее, чем я думал. Ну что ж, не мытьем, так катаньем...

Офицер знал русские пословицы. Он подал знак ефрейтору.

Ефрейтор был молодой человек невысокого роста, похожий на физкультурника. Что-то остановилось и застыло в его светлых, мутных глазах. Ефрейтор шел через всю комнату ко мне. Я понял: он меня сейчас ударит, и закрыл лицо рукой. Но «физкультурник» недаром носил свои ефрейторские нашивки: он только взмахнул левой рукой у меня перед глазами, а правой ударит в живот.

Только потом я сообразил, как все это произошло. Тогда я сразу перестал соображать что-либо. Я сидел на полу, и в комнате для меня не было воздуха. Кругом ходили, разговаривали, дышали, а я сидел с раскрытым ртом и ни одного глотка воздуха не мог втянуть в свои легкие. И лишь тогда, когда первый трудный глоток этот вошел в мою грудь, я почувствовал боль. Боль, о которой я раньше и представления не имел. Казалось, я проглотил утюг, и он лежал теперь у меня в желудке, тяжелый и горячий.

А ефрейтор уже стоял у противоположной стены, грациозно отставив ногу, и заботливо растирал свою правую кисть.

— Ну, как удар? — спросил офицер.— Еще пара таких ударов, и ты будешь харкать кровью.

Я и не думал возражать господину коменданту. В этом я был с ним полностью согласен.

— Ну, не дури, рассказывай, где мина,— сказал офицер примирительно.

Ничто не могло разубедить этого немца. Никакие клятвы, доказательства, доводы. Ничто не могло спасти меня. Он не мыслил меня

без мины. Петля уже лежала на моих плечах. Я почувствовал эту проклятую шершавую веревку и заплакал. Я с детства был ревой. И тут разревелся. Я плакал потихоньку, сдерживая себя, как мог. Комендант подошел ко мне и ласково сказал:

— Зачем плакать, Расскажи, где спрятана эта штука, и мы тебя отпустим.

Тут я не выдержал и зарыдал.

Плакал я недолго. Офицер знал наши пословицы. А уж если Москва слезам не верит, то Берлин и подавно... Я замолчал и вытер слезы.

— Вот и хорошо. Был дождик, а теперь солнышко.— Комендант засмеялся и посмотрел в сторону Сокуренко.— Садись и рассказывай...

Я молчал.

— Ну?

— Я ничего не знаю.

— Зачем же ты плакал?

— Потому что вы мне ни за что не поверите...

Наступила тишина. Мы стояли друг против друга. Я слышал, как дышал офицер. Он терял самообладание. Он смотрел мне в глаза с яростью. Я отвечал ему кротким взглядом.

— Разрешите мне?

Это сказал господин Сокуренко. Он подошел, сжимая губы. Он был маленький, чуть повыше меня.

— Ты, большевистский щенок, кинокартин насмотрелся, героем хочешь быть? Расскажешь! Шкуру сдерем. Вместе с языком вытащим. Партизанский гаденыш! — Он закатил мне хлесткую пощечину.

В это время в комнату вошел еще один немец, пожилой, обрюзгший офицер в пенсне и с круглым животиком. Солдаты у дверей вытянулись. Ефрейтор козырнул.

— Господин Сокуренко, знакомьтесь, мой новый помощник.

Помощник коменданта подал руку в перчатке. Сокуренко поспешно и осторожно пожал ее. Затем комендант начал рассказывать помощнику. Он рассказывал обо мне. Немец слушал, смотрел на меня, потел, вытирал пенсне и снова слушал. И я заметил: сколько он ни поправлял свой пояс, тот неизменно соскальзывал с его круглого животика. Животик и пояс точно враждовали между собой. Я догадался: он совсем недавно в армии, этот «папаша».

Комендант сказал что-то ефрейтору. Тот выбежал.

— Сейчас мы покажем моему помощнику их обоих,— сказал комендант.

Ввели паренька. Если бы не ушанка, я бы не узнал его. Когда так бьют — впереди только смерть.

— Знаешь его?

Паренек повернул ко мне черное раздувшееся лицо и посмотрел одним глазом.

— Нет...

— Лучше смотри!

Паренек посмотрел на меня еще раз.

— Встречался, кажется.

— Встречался!. Экий забывчивый стал.

Паренек молчал. Он стоял, широко расставив ноги, точно бо-
упасть. Казалось, он был ко всему равнодушен.

Офицер повернулся ко мне.

— Смотри, через два часа мы его повесим. Мы повесим и ты
если ты нам не расскажешь. Но ты расскажешь. Что улыбаешься?

Я вздрогнул. Я и не думал улыбаться. Но офицер смотрел на
меня, а на паренька. Действительно, что-то вроде улыбки, страшно
на этих разбитых, опухших губах, появилось на лице паренька.

— Он бы рассказал, этот сосунок,— сказал паренек и, огля-
в меня с бесконечным презрением, повернул торжествующее лицо к
коменданту,—если бы что-либо знал. Он бы выдал, продал сразу, и
плакался, сопля зеленая!— Паренек снова поглядел на меня.— Повес
его, гер обер-лейтенант, веселее мне будет качаться... на пару.

Он смеялся, этот паренек. Он издевался надо мной, над комендан-
том, над смертью... Таких отчаянных я, пожалуй, не видал.

— Не слушай его. Его песенка спета. Он убил двух немец-
ких солдат и будет...

— Только двух, гер обер-лейтенант?

— Тебе мало?

Лицо офицера побледнело, он вышел из-за стола, на ходу расстег-
ивая кобуру.

— Говори: тебе двух мало?

Ефрейтор торопливо что-то сказал офицеру и показал на комендан-
та. Я понял: офицер сдержит себя и не станет стрелять в паренька потому
что кровь испачкает ковер.

Комендант почти вплотную подошел к пареньку.

— Значит, мало?

— Маловато,— отвечал паренек. Он смотрел куда-то в сторону.

— А сколько? Сколько ты хотел бы убить немецких солдат?

— Да трех хотя бы!— Паренек подумал.— Хотя бы трех.

Тут случилось то, о чем я толком и рассказать не могу, так бы-
стро все это произошло. Кажется, офицер поднял руку, чтобы ударить,
вдруг я увидел, что ноги паренька болтаются в воздухе. Он повис
груды у офицера. Немцы подняли шум и бросились к коменданту
помощь, но комендант вертелся, стараясь сбросить с себя страшный
груз. Солдат с винтовкой промахнулся и, проколов штанину паренька,
вонзил штык в бедро офицера. На солдата закричали. Лицо помощника
коменданта было мокро от пота, пистолет ходуном ходил в руке, е-
го всего трясло.

И вдруг все сразу отскочило от коменданта. В руке у него б-
ыл пистолет. Он вытащил его из расстегнутой кобуры. От невыносимой
боли глаза офицера были закрыты, лишь темный слепой глаз
оружия шарил по комнате. Каждую секунду можно было ожидать
выстрела. Господин Сокуренько прилип спиной к стенке. Он хотел бы
шмыгнуть к дверям, но тут раздался выстрел, и господин Сокуренько
присел у стенки. Он даже не успел крикнуть.

Опомнившийся ефрейтор вырвал пистолет из рук помощника комен-
данта и, засунув руку между пареньком и обер-лейтенантом, выстрелил
в пареньку в живот снизу вверх. Руки паренька разжались, и комендант,
потеряв равновесие, вместе со своим грузом рухнул на ковер.

Я увидел, что паренек возился в горло офицера зубами, как волчонок. Зубы разжали штыком. Парнишка был мертв, комендант хрипел. Свесив голову набок, сидел у стенки господин Сокуренок. Ефрейтор рассвирепел. Он поставил меня лицом к двери и поддал ногой так, что я сразу очутился на дворе комендатуры. Часовой проводил меня в каталажку. Там я просидел часа два. Я думал о том, что произошло. Комендант и господин Сокуренок (далась ему эта синяя полоска!) — оба были убиты. При таких обстоятельствах меня могли вздернуть на виселицу в два счета. О пареньке я думать не хотел. Я боялся думать о нем. В конце концов при чем тут я? Я ничего не знаю, я ни в чем не виноват. Он убивает немцев, а я должен за это отвечать. Но не думать о пареньке я все-таки не мог. Он стоял у меня перед глазами. Эх, парнишка, парнишка... Когда повели меня обратно в комендатуру, я снова, в последний раз, увидел его.

Испуганная баба везла саночки, сзади шел немецкий солдат. Паренек лежал на саночках с дощечкой на груди. На дощечке было написано: «Убийца немецких солдат». Я даже не взглянул на него. Ну разве только краешком глаза. Нетающая снежинка лежала у него на губах. Брови были сведены у перенося почти в одну линию, точно парнишка все еще невыносимо страдал или старался превозмочь боль.

Но мне какое дело до всего этого? Я-то ни в чем не виноват. У меня есть пропуск от полтавского коменданта, меня они должны, должны отпустить.

В комендатуре почти ничего не изменилось. Только посредине кити-папа лежал половичок, сложенный вдвое. На дворе это место присыпали бы песочком... Новый комендант сидел за столом. Неожиданно «папаша» получил повышение по должности, но, судя по всему, он не знал, что ему делать. Двое солдат стояли позади него, двое у дверей. У стенки, отставив ногу, стоял ефрейтор.

«Папаша» встал со стула и поправил соскользнувший с животика ремень.

— Мальшик, ты должен рассказаться фесь. Понималь — фся! — Он взял со стола толстый синий карандаш и строго постучал карандашом по столу.

Этот жест показался мне очень знакомым и немец, несмотря на его строгость, добродушным и даже немного смешным.

Да ведь это наш Иван Карлович. «Дети, тише, Шумко, вон из класса». Точь-в-точь наш строгий учитель немецкого языка.

А немец, выйдя из-за стола и держась от меня подальше (вдруг укушу!), возбужденно прошелся по комнате.

— Такой маленький и такой большой сволошь, — сказал он возмущению и закричал: — Што? Я фсе знайт! Молшать!

Он проворно подбежал ко мне и прельбно с вывертом дернул меня за ухо, но сейчас, точно вспомнив что-то, отскочил к столу и снова застучал карандашом. Ремень его опять соскользнул с животика.

Спокойно я рассказал все, как было. Я не виноват. Вот пропуск от полтавского коменданта. Я шел менять барахло на хлеб. Сменял. И возвращался, когда все это случилось. Да я и в глаза раньше не видел этого разбойника-парнишку. Ну чем я виноват? Этот головорез убивает немцев, а ты отвечай.

Немец раздраженно дернул головой:

— Ви есть все головорез.

У меня был простоватый, неподдельно искренний вид. И, кажется на немца это подействовало. Я рассказал ему все начистоту. Я открыт и честно глядел ему в пенсне. Мне нельзя было не поверить. Он нахмурился. Он что-то припоминал...

Сердце мое заныло. Чортова полоска. Сейчас он вспомнит о ней.

— Ты биль на одна дорога с этим голофорез?

— Да я повстречался с ним только.

— У вас одинаковый мешок.

— Ага, мешок одинаковый.— Он притворяется или покойник так и не успел сказать ему о синей полоске?

— Нет, мой мешок белый, а его с синей полоской.

Я не сморгнул. Не пропадать же человеку из-за какой-то синей полоски. Я стоял перед комендантом. Решалась моя судьба.

Комендант, сморщив губ, смотрел на меня и молчал. О полоске на первом допросе слышал ефрейтор. Сейчас он стоял справа от меня. Я чувствовал его виском, кожей плеча, локтя, ноги, и висок, плечо, локоть одеревятели от напряженного ожидания. Но ефрейтор ничего не сказал. О полоске говорили только по-русски. Ефрейтор умел хорошо бить русских, но языка их он не знал.

Новый комендант был в замешательстве. В самом деле, вешать или не вешать? Ведь тот паренек сыграл с комендатурой в открытую и закончил игру со счетом 1:3¹/₂ (господина Сокуренко не счита за полного человека). Я же был простым зрителем. Неужели это будет стоить мне жизни?

Никаких нитей, никаких улик. Но коменданту нужно было что-то предпринять. Он растерянно посмотрел на ефрейтора. Тот понял этот взгляд по-своему. Он умел делать только одно дело. «Вздуть?»— спрашивал его взгляд. «Вздуть!»— ответил «папаша» и облегченно вздохнул.

Ефрейтор подошел ко мне с руками, скрещенными на груди. Секунды две он смотрел мне в глаза, затем равнодушно отвернулся и внезапно ударил меня по лицу наотмашь. Первым ударом по лицу он вывихнул мне челюсть, вторым ударом поставил ее на место. Из носа брызнул кровь. Удары в пах и в живот не принесли мне особого вреда. Я ожидая их: пах я прикрыл кулаком, а живот поставил боком, и кулак, соскользнув по нему, врезался в стену.

Ефрейтор вскрикнул от боли и замахал ушибленной рукой. Продолжая махать ею, он пинал меня и колотил левой, здоровой, рукой. Но это были беспорядочные удары, злые и бестолковые. Защищаясь, я заметил, как подошел солдат. Вдруг в груди у меня что-то хрустнуло как будто сломалась сухая ветвь. Я увидел удаляющийся кованый приклад, лицо солдата и потерял сознание...

Они здорово поработали надо мной— ефрейтор и солдат. Я думаю они не поверили моему обмороку, обозлились и переборщили.

Когда я очнулся, новый комендант прыскал мне в лицо водой.

— Где есть спрятана мина?

— Я не видел никакой мины.

— Тебя будут еще так, под бока.

— Вы убьете меня.—И мне действительно (я никогда не прощу себе этого) захотелось, чтобы они поскорее покончили со мной.

Меня посадили на стул. Кажется, я стонал. Я вытер рукой лицо. Оно снова стало мокрым—это были слезы. Плакса чортова! Обозлясь, я шапкой вытер насухо щеки. Комендант испытующе глядел на меня. Вдруг ефрейтора точно прорвало. Он громко заговорил. Он обращался к коменданту, показывал на меня, на свои кулаки и снова на меня. Речь его была горячей и убедительной. Кончив, он посмотрел на меня, пожал плечами и отвернулся.

Я понял его речь так: «Мы обрабатывали этого соплика, как надо. Пусть господин комендант в этом не сомневается. Он, должно быть, в самом деле ничего не знает. Или, уж если знает, то все равно ничего не скажет. Кулаки тут бессильны. Его нужно повесить или отпустить».

Комендант снял пенсне со вспотевшего носа и вытер стекла. Он не решался повесить меня, но и отпустить боялся. Он был новичком в полицейском деле. Меня снова увели в каталажку.

Это было нечто вроде сарая или кладовой. Я сидел один. Меня лихорадило. Я залез в кучу соломы и хотел согреться и уснуть. Мне крепко досталось за сегодняшний день. Чорт с вами, господа немцы. Повесите вы меня, сломаете еще пару ребер или с вас хватит тех, что уже сломаны,—я хочу только одного—уснуть.

...Парнишка вошел ко мне через закрытую дверь. Он был в треухе. Я смотрел на него с ужасом. Он был мой товарищ, друг детства!—Вася Коваль. Васе предстояло умереть еще раз. «Ты напрасно отчаиваешься,—сказал Вася,—смотри!» И он снял шапку, стер с лица синяки так, как если бы они были нарисованы углем. «Ты же был убит?»—спросил я его. Вася подмигнул мне: «Я обманул их, секрет прост,—нужно быть бессмертным». Он помолчал, оглядывая меня. «Ты тоже будешь бессмертным, если взорвешь поезд с немцами». Я насторожился. «Я ничего не знаю,—сказал я поспешно,—ничего». Но Вася не слушал. «Ты хорошо запомнил место?» Он спрашивал о mine. Внезапно я догадался, что Вася в сговоре с немцами, он предал меня. Он и не был убит. Он хочет выведать, где спрятана мина. «Я ничего не знаю,—сказал я,—я и тебя видел только один раз. Мы не знакомы».

Я очнулся от боли. Это был бред. Лицо мое горело. Я пыл куда-то далеко, далеко. Сперва тихо, едва заметно, затем быстрее и быстрее.

А парнишка и не уходит от меня. «Ты молодец,—жарко шептал он мне в ухо.—Потерпи немножко, и тебя отпустят. Теперь никто не знает о полоске, ведь я нарочно так подстроил, чтобы комендант застрелил Сокуреньку». Он самодовольно улыбался. «Уходи,—хотел я сказать ему,—я ничего не знаю». Но почему-то губы мои не двигались. Паренек смеялся. «Тебя повесят!—кричал он.—Повесьте его, господин комендант».

Я ненавидел его. Он вовсе не был моим другом. Откуда? Я даже не знаю, как его зовут. Он только представляется, что не убит. А на самом деле пуля вышла у него между лопаток. Он отходил назад пятясь. Он боялся, чтоб я не увидел дырку у него на спине...

Я видел заснеженный лес. Сосны, дубняк и елки росли вперемежку. Совсем отдельно стояла маленькая елочка. Я отворачивался, чтобы не видеть ее, но она так и стояла у меня перед глазами. А сбоку от

меня, прислонясь к изразцовой печи, стоял новый комендант. У него было хитрое лицо, он только делал вид, что ничего не замечает. На самом же деле он следил за мной. А эта проклятая елочка так и лезла мне в глаза. Немец увидел ее и с растопыренными руками бросился к ней. Вдруг елочка взлетела в воздух, точно у корней ее взорвалось что-то, и снег засыпал немца. Пенсне лежало на сугробе и хитренько смотрело на меня.

...Парнишка был уже рядом. Он шептал: «Не отчаивайся, мина целая, она и не думала взрываться. Это же только сон. Ты бредишь».

Я проснулся, разбуженный своим голосом. «Слышите! — кричал я. — Я ничего, слышите, я ничего не знаю!»

Утром меня показали врачу. Оказалось, у меня сломано только одно ребро, да и то не совсем, а лишь надломлено. Остальные ребра сильно ушиблены. Немцы держались теперь со мной вежливо. О мне не говорили ни слова, накормили меня, на ребра пристроили какой-то обруч, дали ватное одеяло.

Я заснул. Во сне паренек снова приходит, но я закричал и прогнал его...

На третий день меня снова привели в комендатуру. Комендант сам ужинал со мной. Куриные котлеты, яичный желток, взбитый с сахаром, черное кофе с коньяком.

— Курите?

Папиросы были наши — «Казбек». Я закурил. По-настоящему я не курил, а только пускал дым. «Папаша» заметил это и усмехнулся. Он был в хорошем настроении.

Наконец он приступил к делу. Он показал мне географическую карту. Это была страшная карта. Коричневое пятно расплзлось на ней почти по всей Европе: Италия, Румыния, Болгария, Венгрия, Финляндия были заштрихованы коричневым карандашом резко и уверенно... Такими же штрихами была покрыта наша земля. Это была карта «великой Германии» и стран, подвластных ей. Комендант разъяснил мне это. Он был растроган, глаза его покрылись влагой. Он снял пенсне и протер стекла.

— На этот земляной шар есть только один раса, должный стать господом всем — лучший раса арийский, — сказал он мне, торжественно поднимая руку с пенсне. — Нация, который русский ошибка назыфайт немецкий.

И «папаша» начал распространяться о том, как «лучшая раса» завоеует сначала Европу, а затем и весь мир.

Немцы будут руководителями, хозяевами, господами. Раса, стоящая «ступенька ниже», их помощниками. Немцы умеют работать. О, они покажут ленивым, изнеженным нациям, как надо работать. Они будут жестоко наказывать «каждый лентяй». В результате мир будет благоденствовать. Всем будет хорошо — и господам и расе рабов.

Но среди низших рас есть тоже способные люди, «стоящие ступенька наверх» по отношению остальных их сородичей. Эти люди поймут, что мир может процветать только под руководством немцев. Эти люди уже помогают и будут помогать немцам. И великая Германия не забудет их искренних услуг. О, этих людей ждет большое будущее. Они будут особо благодетельствованы Германией.

Я слушал его, сочувственно кивал головой, а сам в это время думал: куда же он гнет?

Дальше комендант начал говорить о методах. Есть два метода: метод применения силы и метод убеждения. Метод применения силы — прекрасный метод, но он не всегда дает положительный результат. Метод убеждения открывает перед человеком новый путь. Судя по всему (о, комендант есть проникательный человек), судя по всему, я должен быть умным мальчиком и понять, что для меня есть только один путь — путь с немцами. Конечно, я совершил большой проступок перед германской армией и должен быть наказан, но услуга, которую я могу оказать великой Германии, может искупить мою вину.

— Что же я должен сделать?

— О, это немножко потом.

Комендант передохнул. Искоса, благожелательно он глядел на меня. Это был педагогический метод.

— У вас может штатать большой будущность.

— Но что же я должен сделать?

— Вы должны сходить ф тыл советский армия, фернуться обратно и рассказывал.

— Стать шпномом?

— Не так пугаль страшный слово. Шпном — есть расфедчик.

Я подумал немного.

— Не выйдет.

— Почему?

— Не выйдет у меня, не получится.

— Почему?

— Тут отчаянного надо и сообразительного. Куда мне! (Немец улынулся.) Я всего боюсь с детства.

— Бойтся? С детства? Темная комната?— Немец захохотал самым добродушнейшим образом.

Но я серьезно заявил, что не смогу быть разведчиком. Куда мне... Нашли разведчика! Да я теленка обмануть не смогу. Однако немец стал серьезным и быстро начал доказывать мне, что храбрость и воля не даются при рождении, а достигаются воспитанием. Лишь бы я согласился, а там все будет в порядке.

— Я не торопился, отфетите зафтра.

Ночь я проспал хорошо. А утром сказал, что согласен стать шпномом, только пусть меня пошлют сначала туда, где полегче. Попробую. Если выйдет — буду продолжать. А не выйдет... «Папаша» замахал руками: «фыйдет, фыйдет!» Лицо его было умиленным и сладким. Он что-то ожидал, глядя на меня. Я повторил, что согласен попробовать.

— Хорошо, — сказал «папаша», — я уже заготовлял письмо нашальник штаб, а сейшас (голос немца перешел на ласкающие ноты), сейшас вы фместе с нашими сольдатами сходили в лес и приносить мину.

Я посмотрел на «папашу» и не смог сдержать улыбку. Опять за старое. Далась им эта мина. Вынь да положь.

— Да ведь я говорил уже: о мне я и понятия не имею.

Озадаченный комендант выдержал паузу. Он смотрел мне в улыбающийся рот, и за стекляшками его пенсне что-то произошло. Лицо его

стало быстро наливать кровью. Он вынул из кармана круглое металлическое зеркало и подал его мне.

— Делайте еще один улыбка.

Я недоумевал.

— Делайте улыбка и смотрите зеркало. Не так, не так. Улыбка полный рот. Ну, ну!

Я улыбнулся и увидел в зеркале два ряда отличных молодых зубов.

Вижу ли я свои зубы? Хороши, не правда ли? Наверное, девушка нравилась, когда я улыбался. Быть может, я уже кое-кого свел с у своей улыбкой. Еще бы, такие редкостные зубы. Это не то, что зуб у старика. Немец ловко щелкнул языком и вынул изо рта слюнявую подковку искусственной челюсти. Он улыбался беззубой улыбкой, и глаза за холодными стекляшками не смеялись.

Мне впервые стало не по себе. Сердито «папаша» втолкнул челюсть обратно в рот. Я увидел, что губа у него подергивалась.

— Молодой шеловек. Ви будить все рассказывай или больше не когда не будить улыбайтесь. Айн, цвай, драй!

«Папаша» ударил меня. Разноцветные огни вспыхнули в моих глазах. Комендант ногой подтолкнул плевательницу. Я плюнул и в чаше что-то звякнуло. Зуб!

Выбитый зуб успокоил коменданта. Уже ровным тоном он объявил, что отныне каждый день он будет выбивать у меня зубы до тех пор пока я не сознаюсь, где спрятана мина. Я вынужден буду сознаться. А если я в самом деле ничего не знаю, то все равно слово коменданта будет сдержано. Я никогда не осмелюсь улыбнуться девушке. Я вообще разучусь улыбаться. Зубы будут выбиты все. Все до одного. Этой поручкой слово немецкого офицера. Итак, завтра я получу очередную порцию. Сейчас я свободен.

В эту ночь я не спал...

Утром ефрейтор выбил мне еще два зуба, и я снова провел ночь без сна. Так, каждый день я получал свою «порцию» и каждую ночь почти не спал. Я лежал, чутко прислушиваясь к шагам часового.

Иногда шаги часового замирали. Это случалось под утро. Он уходил куда-то греться. В стенке кладовой имелось небольшое окно, заткнутое соломой. Однажды, когда шаги часового долго не были слышны, я решил вытолкнуть солому и вылезти в окно. Но когда я уже был готов это сделать, шаги снова послышались.

Когда было выбито семь зубов, «папаша» в чем-то усомнился. То ли в своем методе, то ли в том, что я действительно «есть партизан». Меня привели в комендатуру будто бы за очередной порцией, но в комнате был один ефрейтор. Он держал в руках резиновую дубинку. Этой дубинкой ефрейтор отделал меня так, что я через минуту валялся на полу. Тут вошел в комнату комендант и изобразил на своем лице изумление.

— Вас ист дас?— спросил он меня.

— Дас ист резиновая дубинка,— сказал я,— он убьет меня когда нибудь.

«Папаша» начал строго кричать на ефрейтора, тот слушал его, и тянувшись в струнку, но видно было, что он еле сдерживает смех. Сцена была разыграна плохими актерами. Ефрейтор ушел. Его так расприрали от смеха.

Это случилось без его ведома, объявил «папаша»,— ефрейтор получит наказание. Но он не может ручаться, что это не повторится, солдаты очень злы на партизан. О, партизаны становятся все наглее. От их руки погибает все больше и больше немецких солдат. Секретная мина, которой они пользуются,— адское изобретение. Солдаты возмущены этими нечестными бандитскими действиями. Солдаты полагают, что я партизан. Когда-нибудь они избьют меня до смерти.

— Тогда повесьте. Зачем же меня мучить? Ведь вы же видите, что я не могу ничего рассказать, я ничего не знаю.

«Папаша» недоверчиво глядел на меня. Он колебался. Наконец он сказал твердо:

— Как бы не быть, я буду сдерживать свое слово.

Командант сдержал слово. Бить меня больше не били, но каждый день выбивали по зубу. Иногда по ошибке ефрейтор выбивал два зуба за раз. И тогда мне давался день отдыха. «Папаша» не надоедал мне расспросами о мине. Каждый раз после «удаления» зубов он давал мне полоскание и аккуратно смазывал ранку иодом.

Обычно вызывали меня поздно вечером, когда «папаша» освобождался от дневных забот и уставал. В моем присутствии он позволял себе опускать пояс, и его круглый животик под мундиром наслаждался свободой. Он много говорил со мной. Он сказал, что ему это полезно, так как он хочет овладеть в совершенстве русским произношением.

Когда был выбит семнадцатый зуб, в голове у меня что-то повернулось. Мне показалось, что я схожу с ума. Ночью ко мне снова явился паренек, уже давно не приходивший. Он был возмущен, он толкнул меня ногой. «Беги, дурак».— «Я никуда не побегу,— сказал я,— там часовой...»— «Плевать, рискни».— «Я не должен рисковать, я должен действовать наверняка».— «Действуй, только смотри, они сперва выбьют зубы, а потом повесят». Он смеялся. И зубы у него в этой улыбке были такие, какие в жизни и не бывают,— ровные, чистые и, казалось, цветящиеся. «Уходи,— просил я его,— я не знаю тебя, я ничего не знаю». Лицо его вытягивалось, синяки выступали на коже. Сведя, точно от боли, брови в одну линию, он смотрел на меня одним невидящим глазом. На губах у него попрежнему лежала нетающая снежинка.

Утром я твердо решился на побег. Но в этот день меня повели в комендатуру рано. При первом взгляде на «папашу» я понял: что-то произошло. «Папаша» был чем-то сильно расстроен.

Он уходит на другое место (ага, сняли, как несправившегося с работой), он не может выбить мне все зубы так, как обещал. Сегодня я еще получу свою последнюю порцию и буду свободен. Возможно следовало бы меня повесить, но (тут голос «папаша» стал раздраженным) он не может, как некоторые молодые, хватать людей направо и налево и расстреливать и вешать их. Может быть, он устарел, может быть, у него «имеется» старое понятие, но он вовсе не есть мясник, а если им нужен именно мясник, так пусть ставят другого. Он порядочный немец, а не какой-нибудь бандит. Он честно расстрелял тридцать зложников и повесил семь человек, у которых было найдено оружие. И, кроме того, он считает, что чрезмерные репрессии приносят только вред, так как озлобляют население.

Да, «папашу» явно обидели. Он не справился с работой. Сюда преемником назначен новый комендант.

Немец протянул мне пропуск. Я попросил, чтобы он написал маршрут.

— Через хутор?— невинно спросил комендант, и слабая надежда вылилась за стеклышками его пенсне.

— Нет, нет,— замахал я руками,— куда угодно, только не через хутор.

Комендант пометил маршрут и подал мне пропуск. Я поблагодарил его и попрощался. Он смотрел на меня холодно и в ответ только еле заметно кивнул. Не повезло ему со мной.

Размышляя обо всем этом, я дошел до села, показал старосте пропуск и был определен на квартиру. Я старался поменьше разговаривать со старостой и хозяевами. Мне не хотелось лишний раз открывать рот. Я лег спать пораньше и заснул на вязанке соломы, которую хозяева занесли в хату, чтобы завтра истопить печь.

Вот, пожалуй, и всё... Нет, пожалуй, не всё.

Ночью я проснулся точно от толчка, точно кто-то ударил меня. Я проснулся и вышел из хаты, как выходят по нужде.

Была морозная ночь с чистым, звездным небом. И, держа направление по звездам, я прошел напрямик по заснеженной целине километров пятнадцать. Короче говоря, я очутился в лесу, там, на тропе, что вела на хутор. Там нашел я ель с развилкой и, отмерив на себе положенное количество шагов, наткнулся на маленькую полувзрослую елочку. Под ее лапчатыми ветками нашел мину и отнес ее вплотную железной дороги. Там я провозился с ней минут семь, и больше, и ушел в лес.

Я уходил в лес поспешно. Мне нужно было торопиться, хотя и признаться, очень хотелось посмотреть, как все это произойдет. Уж очень мала была эта штука. Сказать правду, у меня даже сердце упало, когда я ее вынул из снега,— такой маленькой показалась мне она на этот раз.

Я уже был далеко в лесу, когда сзади раздался грохот. И почти сейчас же яркое зарево встало над лесом. Очевидно, это был поезд с цистернами и авиабомбами для соседнего аэродрома, не иначе. Только авиабомбы рвутся с таким шумом. Я долго бежал и шел, проваливаясь в сугробы, а сзади все трещало, да так, что розовый снег сыпался с заиндевевших деревьев. А дрожащая заря все разгоралась и разгоралась над лесом.

Далеко в лесу я остановился, чтобы перевести дух. Я нашел по звездам сторону, в которой лежало село Песочное, и обратился туда спиной. Там, в теплой комнате, сидел, прижавшись спиной к изразцу печи, старый немецкий комендант, обманутый мной. Он пугал меня тем, что отнимет у меня счастье улыбки. Он всерьез полагал, что старая свинья, что может разучить русских людей улыбаться. Ну, как тут не улыбнуться. И, стоя в лесу, над которым дрожало зарево, я широко улыбнулся. И, сам не знаю почему, заплакал...

Через два дня я добрался к своим, доложил командиру отряд о выполнении задания и рассказал, как погиб Вася Коваль, парень наш, друг моего детства.

ФЕДОР ФОЛОМИН
СНЕЖНЫЕ СТИХИ

I

Милая, постой!
Мы ли незнакомы?
Тихой красотой
Светишь ты другому.
Теплый, синий свет
Прямо в сердце льется...
Следа в память нет,
А зима вернется.
Вновь обоз пошлет
Через Волгу сани.
Дальний снег да лед,—
Давнее сказанье!
Сумерки свежи,
И снежинки зябки.
Уши развяжи
На суровой шапке!
В тучах воронья
Меркнет сад унылый:
Милая моя,
Милого помилуй!
Время лед сломать,—
Трудно сердцу, больно.
Ты, как сыну мать,
Отвечала: — Полно!

Это все пройдет,
Поживешь, увидишь! —
Лишь на черный ход
Ты, бывало, выйдешь!
Долго быть зиме
В государстве неком!
Города во тьме
Светят людям снегом.
Только с детства мы
Не тряслись в испуге
От войны и тьмы,
От беды и вьюги!
Мы во тьме найдем
Сердцем откровенным
Чуткий дальний дом
В городе военном.
Чистый жар,— любовь
Может сталь растрогать:
Я зову любовь
Сквозь беду и грохот.
Милая, постой!
Я еще провею
Ветром над верстой,
Над судьбой твоею!

Сравните пестрый зной
 Просторов пряных
 Со светлой белизной
 Земли в буранах!
 Прекрасен ветки груз
 На юге где-то,
 Но мне дороже хруст
 Земного света.
 Не вздрогнет сад во сне.
 И солнца мало.
 Какой же новизне
 Земля внимала!
 Невежды спишут в глушь
 Снегов границу.
 Прославьте ровный луч,
 Растущий снизу!
 Не сгинуть снегу прочь!
 В сыром тумане
 С оврагов бедных рощ
 Встает сиянье!
 В саду тебе про май
 Напомнит иней.

Не трогай, не замай
 Отрады зимней!
 Испачкал снег чужак,
 Оставил копать.
 Зима на рубежах
 Молчанье скопит.
 Мы станем тишиной,
 Сугробом, полем;
 Не гаснет снег ночной
 В рассвете голом!
 Звенит зимы закал,
 Сверкает сухо;
 Он камни высекал
 Из камня духа.
 Тебя, что делал зло,
 Не пощажу я!
 Поземкой занесло
 Судьбу чужую.
 Лети, метель-яга,
 Сквозь наши годы!
 Снега мои, снега,
 Душа природы!

П. АНТОКОЛЬСКИЙ и В. КАВЕРИН

ВОССТАНИЕ В СОБИБУРЕ

1

Собибурский лагерь смерти, созданный немцами — наряду с лагерями на Майданеке, в Трешлинке, Белжице, Освенциме — с целью организованного массового уничтожения еврейского населения Европы, был расположен на огромной площади, в лесу, рядом с полустанком Собибур. Железная дорога заходила в тупик, и это способствовало сохранению тайны. Немцы тщательно оберегали ее от окрестного населения. Всякое преступление боится свидетелей, тем более столь грандиозно задуманное.

Лагерь окружали четыре ряда колючей проволоки, высотой в три метра. Между третьим и четвертым рядами пространство было заминировано. Между вторым и третьим — расхаживали патрули. Днем и ночью на вышках, с которых просматривалась вся система заграждений, дежурили часовые.

Лагерь делился на три основных подлагеря. У каждого было свое строго определенное назначение. В первом находились жилые бараки, столовая, сапожная, портняжная мастерские, два офицерских дома. Во втором — парикмахерский барак, магазины, склады. В третьем стояло кирпичное здание с железными воротами, которое называлось «баней».

Первые партии заключенных прибыли в лагерь из Франции, Голландии, Западной Польши 15 мая 1942 года. Вот что рассказывает голландская еврейка Зельма Вайнберг о своем пребывании в Собибуре:

«Я родилась в 1922 году в городе Эволде (Голландия). В Голландии не было вражды между голландцами и евреями, мы жили дружно и не чувствовали никакой разницы между на-

родами. Но пришли немцы, и начались гонения. В Вестербурге в 1941 году был создан лагерь для евреев, высланных из Германии. Когда в стране начались преследования евреев, когда их заставили носить специальные знаки, голландцы приветствовали людей, носящих такие знаки. Когда евреев начали выселять в Польшу (это было в 1941 году), в Амстердаме возникла забастовка. Жизнь города замерла на три дня. Голландцы прятали евреев от немцев. В Утрехте было две тысячи евреев, из них поехали всего двести человек, остальных спрятали местное население. В стране действовала специальная организация по спасению евреев, она оказывала большую продовольственную и денежную помощь людям. Многих евреев спасла организация «Свободная Голландия».

Я вместе со всей семьей попала в лагерь Вестербург. В лагере содержалось восемь тысяч человек, но состав заключенных все время менялся, так как каждый вторник эшелон увозил около тысячи человек в Польшу. Немецкий офицер говорил заключенным, что они едут на работу в Польшу и на Украину. Многие ехали туда с охотой, брали с собой одежду, обувь, продукты. Дело в том, что из Влодавы приходили письма, в них говорилось, что жизнь в Польше хорошая. Потом я узнала, что все это была немецкая провокация. Людей заставляли подписывать напечатанные немцами открытки. Собибур в них не упоминался.

Всех моих родных увезли в Польшу. Я не хотела уезжать из Голландии, убежала из Вестербурга. Меня приютила голландская семья. Голландский немец («фольксдейче») выдал меня. Два месяца просидела я в тюрьме в Амстердаме, потом попала

в лагерь в Фихте, где были и политзаключенные и евреи. Работала там в прачечной.

В марте 1943 года нас повезли в Польшу. Многие надеялись, что встретятся там с родными. Ведь больных евреев даже лечили сперва в голландских госпиталях, а потом уже отправляли в Польшу. Создавалась видимость, что людям ничего не угрожает. Когда мы проезжали по Германии, в наши вагоны являлись немецкие сестры милосердия и оказывали медицинскую помощь заболевшим в дороге.

9 апреля 1943 года я приехала в Собибур. Мужчинам было приказано раздеться и идти дальше, в третий лагерь. Женщины пошли раздеваться и стричься в бараки. Немецкий офицер отобрал двадцать восемь молодых девушек для работы во втором лагере. Я провела в Собибуре пять месяцев».

Массовое уничтожение людей — это сложная работа. В том, как она была поставлена в Собибуре, видна полная продуманность, неусыпная забота обо всех мелочах ремесла и сметка давно практикующих палачей. К месту убийства люди шли совершенно голые. Из человеческого волоса делались матрасы. В лагере была мебельная мастерская, так что волосы жертв находили применение и сбыт тут же в лагере. Наконец само устройство «бани», то есть главного цеха в этой чудовищной фабрике смерти, было сложным и требовало внимания, заботы, квалифицированных техников, истопников, сторожей, подавальщиков газа, могильщиков.

На разных этапах эту работу выполняли сами заключенные, разумеется, под угрозой немедленной смерти. Эта угроза выполнялась всегда и неукоснительно.

Один из немногих оставшихся в живых собибурицев, варшавский парикмахер Бер Монсевич Фрайберг, в своем показании от 10 августа 1944 года, указывает что в первом подлагере работало около ста человек, а во втором сто двадцать мужчин и восемьдесят женщин.

«Я работал во втором лагере,— пишет он,— где находились магазины и склады. Когда обреченные на смерть раздевались, мы собирали их вещи и разносили по магазинам: обувь отдельно, верхнее платье отдельно и т. д. Там вещи делились по сортам

и упаковывались для отправки в Германию. Каждый день из Собибура отходил поезд из десяти вагонов с вещами. На кострах мы сжигали документы, фотографии и другие бумаги а также малоценные вещи. В удачные моменты мы бросали в костры также деньги и ценные вещи, но ценные в карманах и чемоданах чтобы все это не досталось немцам».

Через некоторое время меня повели в другое место. Во втором лагере построили три барака, специально для женщин. В первом из них женщины снимали обувь, во втором одежду, в третьем им стригли волосы. Меня назначили парикмахером в третий барак. Нас было двадцать парикмахеров. Стригли мы ножницами, а волосы складывали в мешки. Немцы говорили женщинам, что стригут для чистоты.

Находясь во втором лагере, я свободно наблюдал картины страшило, нечеловеческого обращения с винными людьми. На моих глазах Белостока пришел эшелон, до отказа наполненный совершенно голыми людьми. Очевидно, немцы боялись побега заключенных. Полуживые в этом эшелоне были перемешаны мертвыми. Людям в дороге не давали ни пить, ни есть. Еще живых обвалили хлорной известью. Это было в июне 1943 года.

Гестаповцы в лагере часто бросали детей на землю, били их сапогами, расквашивали черепа. На беззащитных натравливали собак, которые развалили людей в клочья.

Заблевавших немцы уничтожали немедленно».

Что же происходило в третьем подлагере, в кирпичном здании, называемом «баней»? Согласно всем показаниям, территория «бани» была своей очередь окружена колючей проволокой. Работникам первых двух подлагерей вход на эту территорию был строжайше запрещен и караем немедленной смертью.

«Когда партия в восемьсот человек входила в «баню», дверь плотно закрылась,— пишет тогда же Бер Фрайберг.— В постройке работала электрическая машина, вырабатывавшая углекислый газ. Газ поступал в баллоны, из них по шлангам в помещение. Обычно через пятнадцать минут все находившиеся в камере угасали, были задушены. Окон в здании не было. Только сверху было стекло».

ное окошечко, и немец, которого в лагере называли «банщиком», следил через него, закончен ли процесс умерщвления. По его сигналу прекратилась подача газа, пол механически раздвигался, и трупы падали вниз. В подвале находились вагонетки, и группы обреченных складывали на них тела жертв. Вагонетки вывозились из подвала в лес третьего лагеря. Там был вырыт огромный ров, в который сбрасывались и засыпались землей трупы. Людей, занимавшихся складыванием и перевозкой трупов, тут же расстреливали.

Был такой случай. Партия людей уже находилась в помещении «бани», но неожиданно испортилась машина, подающая газ. Несчастные взломали дверь и пытались разбежаться. Гестаповцы многих убили, а остальных загнали обратно. Механик быстро наладил машину, и все пошло своим порядком».

Однажды восемнадцатилетняя девушка из Влодавы, идя на смерть в солнечный летний день, крикнула во всеуслышание:

— Вам отомстят за нас. Придут Советы, и вам, бандиты, не будет пощады.

Ее убили прикладами карабинов.

Среди немцев, орудовавших в третьем лагере, едва ли не самым страшным был берлинский боксер Гомерский, хваставший тем, что убивает человека с одного удара. Зато другой сентиментальный немец обходился голых детишек, обреченных на смерть, гладил их по головке, совал конфеты и бурчал:

— Здравствуй, милочка. Только смотри не бойся, все будет хорошо.

Однажды из третьего лагеря раздались особенно страшные крики. Оказалось, что детей и женщин живьем бросают в огонь.

В лагере разыгрывались сцены, которые не в силах измыслить никакое воображение. Какой-то голландский юноша, работавший на сортировке вещей только что прибывших, неожиданно увидел вещи своих родных. Вне себя он выбежал из склада, где работал, и тут же в толпе идущих на казнь узнал всю свою семью. Другой юноша среди только что задушенных нашел тело своего отца. Он пытался украсть и собственноручно зарыть это бедное тело. Немцы убили и сына.

Все эти подробности ничем не отличаются от других страшных рассказов о том, что делалось на Майданеке или в Трешлинке. Может быть, единственное, в чем проявилась фантазия и личная инициатива собиуровских палачей,—это в способе скрыть от окружающего населения свою работу. Они развели в подсобных хозяйствах лагеря стада гусей, и когда производилась расправа, этих гусей дразнили и заставляли кричать, таким образом заглушали немцы стоны и плач своих жертв.

Летом 1943 года, желая скрыть следы преступлений, немцы построили в третьем подлагере печи. В Собибур была доставлена специальная земляная машина. Могильный ров был раскопан, машина подавала трупы на костры. По всей округе разносился трупный запах.

И вот в этом страшном месте, реальность которого, как она ни документирована, все же кажется диким и уродливым измышлением большого мозга, на этом маленьком пространстве испоганенной немцами земли 14 октября 1943 года произошло восстание, кончившееся победой заключенных. Восстание, во время которого было убито двенадцать виднейших немцев из несущих охранную службу офицеров—руководителей лагеря, и четыре рядовых охранника,—восстание, после которого собиурский лагерь был уничтожен.

Как это произошло? Какая человеческая сила оказалась достаточно стойкой и организованной, чтобы противостоять немецкому железу, направленному на безоружных? У кого в этой страшной атмосфере смерти и унижения нашлась воля, ум, дальновидность?

22 сентября 1943 года в Собибур пригнали из Минска шестьсот военнопленных-евреев, офицеров и бойцов Красной Армии. Из них восемьдесят человек были оставлены для работы во втором подлагере. Остальных немцы задушили и сожгли. В числе оставшихся в живых был офицер Александр Аронович Печерский.

2

Печерский родился в Кременчуге в 1909 году. С 1915 года жил в Ростове-на-Дону. До войны он был руководителем художественной самодеятельности. Призванный в первый же день Отечественной войны как млад-

ший командир, Печерский в октябре 1941 года оказался в окружении на смоленском направлении и попал в плен. В плену заболел тифом и только чудом выжил: тифозных больных немцы расстреливали, ему же удалось скрыть свою болезнь. В мае 1942 года Печерский пытался бежать, но в тот же день был пойман вместе с четырьмя другими беглецами. Всех их отправили в «штрафную» команду в Борисов, оттуда в Минск. В Минск они прибыли уже осенью 1942 года. Здесь во время медицинского осмотра немцы обнаружили, что Печерский еврей.

Вместе с другими он был посажен в «еврейский» подвал, где провел около десяти дней. В подвале было абсолютно темно, за все время пребывания из него никуда не выпускали. Кормили через день: сто граммов хлеба и кружка воды.

20 августа Печерский был отправлен в Минский рабочий лагерь «СС» (Широкая улица). Пробыл там до середины сентября. В этом лагере находилось около пятисот евреев из минского гетто, а также еврей-военнопленные. Там содержались и русские, человек двести-триста — перемешанный состав. Русские попали в лагерь за связь с партизанами, за неявку на работу и т. д. Заключенные жили впроголодь, главным образом тем, что удавалось стащить у немцев. Работали с рассвета дотемна. «Командант лагеря Вакс,— рассказывает Печерский,— не мог прожить дня, не убив кого-нибудь. Иначе он просто заболел. Достаточно было посмотреть на него, чтобы убедиться: это садист. Верхняя губа вздрагивает, левый глаз налит кровью, всегда в пьяном, мутном похмельи. Что он вытворял! Ночью кто-то вышел опраться. Вакс застрелил его из окна, а утром с упоением показывал своей даме сердца труп убитого: вот моя работа».

Люди строятся в очередь за хлебом. Вакс выходит, командует «мирно», кладет парабеллум на плечи первому стоявшему в очереди и стреляет. Горе тому, кто хоть сколько-нибудь «вылезает» из строя,—он получает пулю в голову или в плечо. Обычное развлечение Вакса — травить лагерьников собаками, причем защищаться от собак не полагается,— это любимцы Вакса. Из общего гетто приводили женщин в баню. Вакс всегда присутствовал при этом и соб-

ственноручно обыскивал голых женщин.

В лагере был случай массового побега. Рядом с продуктовым складом лагеря помещалось общежитие «шуги-полицай». Группе в пятьдесят человек, работавшей в продуктовом складе, удалось выкрасть оттуда некоторое количество гранат, пистолетов и патронов. Но за день до побега их выдал шофер, который за двадцать тысяч марок обещал вывезти их с территории лагеря. В последний момент шофер испугался.

Выданных беглецов немцы согнали в подвал сгоревшего дома, окружили усиленной охраной и напустили собак. По замыслу немцев, все при этом должны были остаться в живых для дальнейших издевательств и пыток. Затем несчастных повели через город с поднятыми вверх руками. В лагере все началось сначала: избивание плетью, травля собаками. Каждого в отдельности вводили в жарко натопленную баню. В бане был бассейн с кипятком. Жертву стаскивали в бассейн, снова вытаскивали и обливали холодной водой. Затем людей вывозили на мороз и часа через два пристреливали.

Эта группа в пятьдесят человек состояла исключительно из евреев-военнопленных. Двух из них Печерский знал лично: Борис Коган из Тулы и Михаил Орлов из Киева.

В сентябре 1943 года лагерь начали разгружать. 18 сентября Печерский оказался в эшелоне, направляющемся в Собибур.

Командант минского лагеря Вакс объявил заключенным, что они едут «на работу в Германию». Они ехали четверо суток, в вагонах с забитыми окнами без хлеба и воды. На пятые сутки поезд подошел к полустанку Собибур. Поезд был переведен на запасный путь, и паровоз задним ходом подтолкнул вагоны к воротам, на которых висел щит с надписью «зондеркоманда».

3

Печерский прибыл в Собибур после двухлетнего пребывания в немецком плену. умудренный горьчайшим и страшным опытом, достаточно видевший и перенесший, чтобы сразу ориентироваться в открывшейся его глазам обстановке нового лагеря.

Вот что рассказывает Печерский о первом дне своего пребывания в Собибуре:

«Я сидел на бревнах возле барака с Шлеймой Ляйтманом, который впоследствии стал моим главным помощником по организации восстания. К нам подошел незнакомый человек лет сорока. Я спросил у него, что там горит вдалеке, метрах в пятистах от нас, и что это за неприятный запах паленого во всем лагере.

— Не смотрите туда, это запрещено, — ответил незнакомец. — Это горят трупы товарищей, приехавших вместе с вами.

Я не поверил ему. Но он продолжал:

— Этот лагерь существует уже больше года. Здесь находится пятьсот евреев — польских, французских, голландских, чехословацких. Русских евреев привезли впервые. Эшелоны по две тысячи новых жертв приходят сюда почти каждый день. Их уничтожают в течение часа, не больше того. Здесь, на маленьком клочке земли в десять гектаров, убито более пятисот тысяч женщин, детей и мужчин».

Появление военнопленных с Востока, красноармейцев и офицеров, произвело огромное впечатление в лагере. Оно оказалось своего рода сенсацией. К новоприбывшим отовсюду обращены были жадные, любознательные, ожидающие чего-то глаза. Люди с Востока, военнопленные, для остального населения лагеря были «людьми с воли», теми людьми, кто боролся с немцами с оружием в руках.

Печерский задумался о будущем с первых дней своего пребывания в Собибуре. Что предпринять? Пытаться ли спастись от гибели, здесь уже наверняка неизбежной, и бежать? Но бежать одному или с небольшой группой товарищей значило оставить всех остальных на мучения и гибель. Он подумал и отверг эту мысль.

С самого начала идея спасения слилась для него с идеей мести. Отомстить палачам, уничтожить их, уйти всем лагерем на свободу, по возможности разыскать партизан — так вырисовывался перед ним план его будущих действий. Но невероятность этого плана не остановила Печерского.

Прежде всего необходимо было изучить расположение лагеря, распорядок жизни заключенных, офицеров,

охраны. Печерскому ясно было, что захотят бежать из лагеря все, любой может быть его единомышленником, но как среди этой массы незнакомых, изнуренных, слабых физически, а может быть, и морально людей найти таких, на которых можно положиться? Да и найдутся ли такие?

Через пять дней после прибытия Печерского в Собибур его позвали в женский барак. Там его ждала интернациональная группа заключенных, в большинстве не знавших русского языка. Его забросали вопросами. Беседа свелась к своего рода политической консультации. Положение осложнялось тем, что Печерский совершенно не знал, с кем имеет дело. Среди присутствующих могли быть и «жапо», то есть лагерники, работающие на немцев, надсмотрщики. Печерский говорил по-русски. Переводчики-добровольцы объясняли собравшимся смысл его ответов.

Печерский рассказал о том, как были разбиты немцы под Москвой, окружены и уничтожены под Сталинградом, о том, что Красная Армия подходит к Днепру, о том, что недалек час, когда она перейдет германскую границу.

Как умел и сколько сам знал, рассказывал также Печерский о партизанском движении на оккупированной немцами территории Союза. Ведь еще в Минске до него доходили слухи о спущенных под откос партизанами немецких эшелонах, о террористических выступлениях в самом городе.

«Все напряженно слушали, стараясь не проронить ни одного слова. Кто хоть немного понимал по-русски, сейчас же переводил соседу. И эти обреченные на смерть люди были искренно взволнованы рассказом о чужой доблести и борьбе.

— Скажите, — раздался робкий голос, — если столько партизан, почему же они не нападут на лагерь?

— Для чего? Чтобы освободить тебя, меня, его, да? У партизан и без нас найдется дело. За нас работать никто не будет».

Резко повернувшись и хлопнув дверью, Печерский вышел из барака. Последних фраз его никто не переводил. Их поняли и без перевода.

Так или иначе, о побеге из лагеря мечтали все заключенные, — такое впечатление вынес Печерский из этой первой встречи.

На другой день заключенные разгружали платформы с кирпичом. Люди должны были брать по шесть-восемь кирпичей, бежать двести метров, осторожно опускать кирпич на землю и бегом же возвращаться к платформе. Кто не успевал на ходу брать кирпич или ронял его, того били плетью. Прodelать это было физически невозможно, и плетя не переставала свистеть. После работы к Печерскому подошли товарищи. Среди них — Шлейма Ляйтман.

«— Саша, мы решили бежать,— сказал он.— Охрана небольшая. Убьем их и уйдем в лес.

— Это проще сказать, чем сделать. Пока вы будете снимать одного часового, другой с вышки откроет стрельбу из автомата. Но допустим даже, что удастся снять всю охрану. Чем вы будете резать проволоку? Как пройдете минированное поле? Что будет с товарищами, которые здесь останутся? Имеем ли мы право забыть о них? Бегите, если хотите. Мешать я не стану, но с вами не пойду.

И я ушел с одним из товарищей, который называл себя Калимали. Побег был отменен».

В эти же дни произошло еще одно событие, подкрепившее намерение Печерского. Тот самый пожилой человек, с которым он беседовал в первый день пребывания в Собибуре, еще раз подошел к нему. Старика этого звали Борух. Как впоследствии оказалось, он был портной. Борух присутствовал и в женском бараке при встрече Печерского с лагерниками. От этого человека Печерский услышал предупреждение о том, что за ним начали следить.

«— Вы заметили, вчера в бараке около меня стоял высокий худой человек? Это «капо» Бжецкий, отъявленный негодяй. Он понял все.

— Постояйте, о чем, собственно говоря, вы беспокоитесь? Зачем же ему следить за мной? Я ничего не собираюсь делать. Бежать — это безнадежно.

Борух помолчал.

— Вы боитесь меня, и вы правы,— начал он,— прошло всего несколько дней с тех пор, как мы впервые увидели друг друга. Но выхода у нас другого нет. Вы можете уйти неожиданно, и тогда все будет кончено для нас. Поймите,— и он схватил меня за руки,— нас много, таких как я,

и все мы хотели бы уйти. Но нужен человек, который поведет нас и укажет, что делать. Доверьтесь нам. Мы многое здесь знаем, и можем помочь и вам».

Я посмотрел в его открытое, доброе лицо и подумал: «Предатель ли нет, а рискнуть все-таки придется».

— Как заминировано поле за проволокой? Понимаете вопрос?

— Не совсем.

— Обычно мины ставятся в шахматном порядке.

— Ага, теперь понимаю. Так заминировано. Расстояние между минами полтора-два метра.

— Благодарю вас. А теперь я прошу вас вот о чем: познакомьте меня с какой-нибудь девушкой.

Борух удивился:

— С девушкой?

— Да. Вчера справа от вас стояла молоденькая девушка, кажется, голландка, стриженная, волосы каштанового цвета. Помните, она курила. Вот хотя бы с ней. Она не говорит по-русски, и это как раз очень удобно. Со мною вам встречаться больше не зачем. Мы с Ляйтманом спим рядом все, что надо будет, он вам передаст. А теперь, с вашего разрешения пойдём в женский барак знакомиться с девушкой».

Прошло несколько дней. Каждый вечер Печерский встречался с Луккой,— так звали его новую знакомую молоденькую голландку. Она сидела на досках около барака. То один, то другой заключенный подходили к Печерскому и заговаривали с ним как казалось на первый взгляд, о самых обыкновенных вещах. Подходили и «капо» Бжецкий, немного понимавший по-русски. При нем Печерский немедленно принимался любезничать с девушкой. Лукка с самого начала смутно догадывалась о том, что вовлечена в какую-то серьезную игру, о которой Печерский и не заикался. Она молча поддерживала конспирацию: Печерский был «восточником советским человеком, уже это одна возбуждало надежду Лукки, ей хотелось ему верить».

Печерский был вдвое старше этой восемнадцатилетней девушки. Но о ней подружился. Лукка рассказывала ему свою историю. Здесь, в лагере ей пришлось скрыть, что она дочь немецкого коммуниста, бежавшего из Германии в Голландию, когда гитлеровцы пришли к власти. Отцу ее уда-

дось скрыться и во второй раз, когда немцы оккупировали Голландию. Немцы арестовали ее и мать. Братьев убили. Мать и дочь привезли в Собибур.

Отношения между Печерским и Луккой оставались на протяжении всех этих трагических дней дружескими. Лукка поняла смысл и цель их дружбы. Привыкшая еще с детства в семье к конспирации,— об отце надо было молчать,— она поняла также и то, почему Печерский не говорит с нею о своих замыслах.

Таким образом, не возбуждая никаких подозрений, Печерский понемногу осваивался среди массы не знакомых ему лиц и попутно узнавал кое-что о расположении лагеря, о настроениях людей, об охране.

7 ноября он снова встретился с Борухом, на этот раз за шахматной доской.

«— Вот первый план.— начал я,— он сложен и едва ли выполним,— но все-таки я расскажу вам о нем. Столярная мастерская находится в пяти метрах от проволоки. Между рядами проволоки четыре метра. Минированное поле еще пятнадцать метров. Прибавьте к этому семь метров внутри столярной мастерской — итого тридцать пять. Нужно сделать подкоп. Я подсчитал, что придется спрятать под полом и на чердаке приблизительно двадцать кубометров вырытой земли. Копать придется только ночью. У этого плана две отрицательные стороны: едва ли шестьсот человек смогут проползти друг за другом тридцать пять метров в течение одной ночи. А кроме того, если мы и уйдем, то уйдем, так и не уничтожив немцев. Поговорите с вашими по поводу этого плана. А о втором плане я пока вам ничего не расскажу.

— Почему?

— Нужны еще дополнительные сведения. А пока вот что: берете вы достать штук семьдесят ножей или бритв? Я раздам их ребятам.

— Будет сделано,— ответил Борух.— А теперь мне надо посоветоваться с вами об очень важном деле. В нашу группу входит Мона, вы его знаете: из тех молодых ребят, что строят бараки. Вчера к нему подошел капо Бжецкий и заявил, что знает о готовящемся побеге. Конечно, его постарались разуверить. Он выслушал

все и сказал, что хотел бы присоединиться к нам и бежать.

Я задумался,— пишет Печерский,— хотя это похоже на провокацию, но мысль о том, что каповцы могут помочь нам, показалась необычайно соблазнительной.

— Мона считает,— продолжал Борух,— что каким бы негодяем ни был Бжецкий, тут на него можно положиться: ведь Бжецкий отлично знает, что в последнюю очередь немцы уничтожат и каповцев: они не могут оставить в живых свидетелей своих преступлений.

— Что же вы ответили Моне?

— Что один, без вас, ничего решить не могу.

— Хорошо, подумаем насчет каповцев. А пока пора разойтись».

Кузнец Райман тайно исполнял заказ Печерского на ножи. Кузница помещалась рядом со слесарной мастерской. Вечером 10 октября в кузнице собралось несколько человек. Среди них был и Бжецкий. Немецкая охрана отдала в слесарную мастерскую для починки патефон. Печерский и Ляйтман были приглашены «послушать патефонные пластинки».

Разговор начался издалека. Завели патефон.

«Я заговорил о пластинках. Бжецкий все время пытался перевести разговор на тему о побеге. Под разными предлогами я уклонялся. Наконец он дал знак кузнецу. Тот взял патефон и вышел в слесарную. Все пошли за ним. Мы остались с Бжецким с глазу на глаз.

— Я хотел поговорить с вами,— начал он,— вы догадываетесь о чем?

— Почему вы думаете, что догадываюсь?

— Хотя бы потому, что делаете вид, что не догадываетесь.

— Я плохо понимаю по-немецки, вероятно, поэтому у меня такой вид.

— Хорошо, будем говорить по-русски. Правда, по-русски я говорю неважно, но если вы захотите, мы договоримся. Прошу вас, выслушайте меня. Я знаю о том, что вы готовите побег.

— Вздор! Из Собибура бежать невозможно.

— Вы делаете это очень осторожно. Вы редко бываете в бараках. Вы никогда ни с кем не разговариваете, за исключением Лукки. Но Лукка это только ширма. Саша, если бы я хотел вас выдать, я мог бы это

сделать давным-давно. Я знаю, вы считаете меня низким человеком. Сейчас у меня нет ни времени, ни охоты разубеждать вас. Пусть так. Но я хочу жить. Я не верю Вагнеру (начальнику лагеря), что каповцев не убьют. Убьют, и еще как! Когда немцы будут ликвидировать лагерь, нас уничтожат вместе со всеми.

— Хорошо, что вы хоть это поняли, но почему же именно со мной вы об этом говорите?

— Я не могу не видеть того, что происходит. Все остальные только исполняют ваши распоряжения. Шлейма Ляйтман говорит с людьми от вашего имени. Саша, поймите меня: если каповцы будут вместе с вами, это значительно облегчит вашу задачу. Немцы доверяют нам. У каждого из нас есть право передвижения по лагерю. Короче говоря, мы предлагаем вам союз.

— Кто это «мы»?

— Я и Чепик, капо банной команды. Я встал, прошелся несколько раз из угла в угол по кузнице.

— Бжецкий,— начал я, посмотрев ему прямо в лицо,— могли бы вы убить немца?

Он ответил не сразу.

— Если это нужно для пользы дела, мог бы.

— А если без пользы? Точно так же, как они сотнями тысяч уничтожают наших братьев...

— Я не задумывался над этим...

— Спасибо за откровенность. Нам пора разойтись.

— Хорошо. Но еще раз прошу вас: подумайте о том, что я вам сказал.

Я ответил, что мне думать не о чем, поклонился и вышел. Однако именно то, что Бжецкий задумался, прежде чем ответить на мой прямой вопрос об убийстве немца, заставило меня предположить, что, может быть, в этом случае, он действует не как провокатор. Провокатор согласился бы сразу.

На другой день, 11 октября, работавшие в норд-лагере на строительстве барakov слышали крики и стрельбу из автоматов. Немедленно же немцы согнали людей в одно место, запретили выходить из мастерских первого лагеря, закрыли ворота и поставили дополнительную охрану. Только в пять часов выяснилась причина всех этих чрезвычайных мероприятий: прибыл очередной эшелон смертников. Когда их раздели и по-

вели, они догадались обо всем и бросились в разные стороны. Совершенно голые, несчастные могли только добежать до проволоки,— немцы встретили их огнем винтовок и автоматов.

Совещание, на котором был принят окончательный план побега, состоялось на следующий день, 12 октября, в столярной мастерской. На совещании присутствовали Борух, Ляйтман, старшина столярной мастерской Янек, Мона, Печерский и еще несколько «восточников». Во дворе около мастерской мирно беседовали двое, у ворот первого лагеря еще двое. Это были посты наблюдения.

Совещание началось с вопроса: как быть с Бжецким? Решено было пригласить его. Мона ушел и через несколько минут привел Бжецкого.

«— Мы решили, Бжецкий, пригласить вас,— начал я,— но, принимая в свой круг такого человека, как вы, мы ставим на карту судьбу всего лагеря. Поэтому помните: в случае малейшей неудачи вы погибнете первым.

— Я это знаю.

— Итак, товарищи, вот план, который я считаю единственно выполнимым. Мы должны убить всех немецких офицеров. Разумеется, поодиночке, но в очень короткий срок. На это дается не больше часа. Убивать немцев будут только восточные евреи, только военнопленные, которых я знаю лично и на которых могу положиться. После обеда, в половине четвертого, капо Бжецкий под каким-нибудь предлогом отведет трех человек во второй лагерь. Эти люди убьют четырех офицеров. В четыре часа электромонтеры должны перерезать телефонную связь, идущую через второй лагерь в резервную команду. Одновременно в нашем лагере начнется уничтожение гестаповцев. Их нужно ухитриться приглашать под разными предлогами в мастерские и убивать поодиночке в разное время. В нашем лагере все должно быть кончено в течение получаса. В половине пятого Бжецкий и Чепик строят весь лагерь в колонну, как будто бы для работы, и колонна направляется к выходу. В первых рядах идут восточники. По дороге к главным воротам лагеря нужно захватить оружейный склад, по возможности без шума. Помните, что во время движения колонны очень легко может возникнуть паника, тогда все пропало: немцы обнаружат побег. Если удаст-

ся захватить склад, мы вступим с ними в бой. Если не удастся, придется итти напролом. Недалеко от столярной мастерской, у самой проволоки, находится офицерский дом. Можно сказать наверняка: немцы рядом с ним побоялись минировать поле. Возможно, заложили несколько сигнальных мин. Поэтому нужно именно в этом месте рвать проволоку. Вот и весь план. До завтра подумайте над ним. Есть возражения?

Борух ответил за всех, что возражений нет.

4

Этот сумасшедше-смелый план родился в голове, пылавшей жаждой свободы и жаждой мести. Само собой разумеется, он мог быть выполнен только при условии строжайшей точности и строжайшей тайны.

Недаром каждый час следующего дня, 14 октября, отдельно отмечен в записках Печерского.

С утра он работал в одном из барakov, из окон которого был виден весь лагерь. Семь человек, работавших рядом с ним в то утро, ничего не знали о побеге. В соседнем бараке двадцать восточников, подобранных до специальному списку, строили нары под руководством Ляйтмана. В 10 часов Ляйтман позвал Печерского и доложил ему о ходе дела:

«— К четырем часам в портняжную мастерскую приглашен для примерки мундира унтерштурмфюрер Эрнст Берг. В четверть пятого туда же придет обершарфюрер Гетцингер (начальник третьего, то есть смертного, лагеря). В сапожную мастерскую в четыре часа должен явиться унтершарфюрер Эмиль Шумахер. С унтершарфюрером Фридрихом Гаульштихом расправлюсь я собственноручно. Четырех немцев убьют во втором лагере, остальных ребята постараются как-нибудь зазвать в мастерские.

— Хорошо. Товарищей, которые взяли на себя уничтожение немцев, присылай ко мне по одному.

Через пять минут в барак, где я работал, зашел Калимали.

— Сегодня в три часа, — сказал я Калимали, — ты пойдешь в портняжную мастерскую. Возьми рубанок, стамеску и топор. Смотри, Калимали; промахнешься — мы погибли. Понял?

— Да.

— Ну, ступай. Желаю счастья.

Я крепко пожал ему руку.

Через полчаса ко мне пришел Борис Цибульский, которому было поручено убийство гестаповцев во втором лагере.

— Борис, — сказал я ему, — время пришло. Я посылаю тебя на самый трудный участок. С тобой пойдут Михаил и Бениа. Возьмите два топора. Бжецкий ответит вас во второй лагерь. Помни, Борис, ты начинаешь первый. Твой удар вдохновит всех. Если товарищи, идущие с тобой, боятся, замени их. Принуждения здесь быть не может.

— Не беспокойся, Саша, они только ждут сигнала».

В два часа в первый лагерь явился неожиданно один из гестаповцев и увел куда-то капо Бжецкого и еще трех человек. Страшная мысль — заговор открыт — поразила всех.

Через час выяснилось, что Бжецкого повели в норд-лагерь для укладки леса. Капо Чепик взял на себя поручение, данное Бжецкому: он отвел людей во второй лагерь для убийства гестаповцев.

Напряжение в лагере росло. Конспирация среди восставших была осуществлена полностью. Очень немногие из лагерников понимали, в чем дело. Но очень многие чувствовали какую-то неясную тревогу, что-то творилось кругом, чего они не знали, но что могло решить их судьбу. Люди надеялись на этих молчаливых, толковых и сумрачных людей, недавно прибывших в лагерь. За два дня до побега был праздник, иомкипур. Среди разного по возрасту населения лагеря нашлись усердные молельщики. Один из восточников обратился к кантору с вопросом:

— Почему вы молитесь богу, чем он поможет вам? Молились бы Сашке (то есть тому же Печерскому).

Он услышал такой ответ:

— Мы молился богу, чтобы Сашке все удалось.

Слух о предстоящих событиях был смутен. Его приходилось тщательно утаивать от самых близких. Вообще люди предпочитали меньше разговаривать друг с другом. Но тем не менее надежда пробивалась и сквозь молчание и сквозь всеобщий страх. Слух распространялся. Таким образом, для событий, разразившихся 14 октября, почва оказалась подготовленной.

Первым был убит унтерштурмфюрер Эрнст Берг, явившийся в портняжную мастерскую на двадцать минут раньше, чем предполагалось. В тот момент, когда Берг снял с себя ремень с кобурой и пистолетом и начал примерять мундир, Калимали ударил его топором по голове. Труп немца бросили на койку и прикрыли одеждой.

«Не было еще четырех, когда Калимали вбежал к нам в барак и положил передо мной пистолет. Мы обнялись.

— Теперь кончено,— сказал я.— Если кто-нибудь захотел бы отступить — поздно. Спасибо тебе, друг.

Калимали ушел. Внезапно поднялся смертельно побледневший голландец и попытался выйти следом за Калимали.

— Куда?

— Хочу оправиться.

— Назад. Подождешь. Товарищи, вам понятию, что происходит? — обратился я ко всем находившимся в бараке.

— Смотрите же за этим, не выпускайте его».

Десять минут пятого в той же портняжной мастерской Семен Мазуркевич убил начальника всей охраны лагеря Михеля. Одновременно в сапожной мастерской Аркадий Вайспир убил начальника смертного лагеря обершарфюрера Гетцингера. В четверть пятого Печерскому доложил Цибульский, что его задача (уничтожение гестаповцев во втором лагере) выполнена. Четыре гестаповца убиты, телефонная связь перерезана, выходы закрыты.

Наступила пора строить людей в колонну.

Но Печерский медлил. Он надеялся, что удастся прикончить еще кого-нибудь из немцев.

В это время Штейма Ляйтман убил еще одного гестаповца (Фридриха Гаульштиха).

В половине пятого вернулся капо Бжецкий. Это было очень кстати: только капо могли, не вызывая подозрений, построить колонну.

Оружия в руках у оставших оказалось немного: одиннадцать пистолетов, снятых с убитых, да еще шесть винтовок, которые жестяники издавна припасали, спрятав их в водосточных трубах. Приходилось довольствоваться тем, что есть.

Без четверти пять Бжецкий дал сигнал, чтобы колонна построилась. На резкий свисток со всех сторон сбежались люди.

Начальник караула (немец с По-волжья) пытался загнать людей обратно в бараки, но был убит.

Толпа бросилась к оружейному складу. Сильный пулеметный огонь преградил ей дорогу. Печерский понял, что захватить оружие не удастся. Он крикнул:

— Товарищи, вперед!

Люди бросились за ним к офицерскому дому. Многие побежали в другую сторону, к центральным воротам.

Часовые были смяты. Люди мчались напрямик по минированному полю к видневшемуся вдалеке лесу. Многие подорвались на минах. Из шестисот бежавших четыреста все же скрылись в лесу.

Столяр Хаим Паврозник, житель Холма, солдат польской армии, попавший в плен к немцам еще в 1939 году, рассказывает об этом дне:

«Большая группа собралась в лагере. В центре стоял наш славный руководитель, Сашка (перед тем Паврозник называет Печерского «славный ростовский парень»). Сашка крикнул:

— За Сталина, ура!

Разделившись на мелкие группы, мы разошлись в разные стороны по всему лесу. Немцы устроили облаву. Самолеты обстреливали лес пулеметным огнем. Очень многие были убиты. В живых осталось не больше пятидесяти человек. Мне удалось добраться до Холма, где я скрывался до прихода Красной Армии. В тот день ко мне, узнику Собибура, вернулась жизнь».

Голландка Зельма Вайнберг рассказывает:

«Когда в лагере произошло восстание, мне удалось бежать. Вместе со мной убежали еще две девушки, Кетти Хокес из города Гах и Уржля Штерн из Германии. Кетти попала потом в партизанский отряд и там умерла от тифа. Уржля тоже воевала в партизанском отряде. Сейчас она во Влодаве. Вместе с Уржлей была я в Вестербурге и в тюрьме в Фихте, вместе прожила в Собибуре, вместе с нею бежала и спаслась».

Судьба конспиративной подруги Печерского, голландки Лукки, осталась неизвестной, так же как и ее настоящее имя.

22 октября Александр Печерский, после долгих странствований по дорогам и проселкам Польши, встретился с партизанским отрядом, в который был принят вместе с несколькими товарищами. В настоящее время он находится в рядах Красной Армии в звании капитана.

Сейчас на десятке гектаров польской земли где был расположен Собибурский лагерь уничтожения, ветер позванивает рваной колючей проволокой. Картофельное или капустное поле, которое немцы развели здесь, чтобы скрыть следы своей чудовищной работы, еще раз перекопано. Под ним найдены осколки человеческих костей, жалкие обломки лагерьного быта, разрозненная обувь всех размеров и фасонов, множество бутылок с этикетками Варшавы, Праги, Берлина; детские молочные рожки и протезы стариков, еврейские молитвенники и польские романы, открытки

с видами европейских городов, документы, фотографии, побуревший молитвенный талес рядом с какой-то трикотажной тряпкой, консервные корробки и футляры от очков, детская кукла с вывороченными ручками, наконец, как самый неумолимый и грозный свидетель совершенных здесь злодеяний — большой человеческий череп, вымытый и выбеленный дождями.

Страдания погибших здесь людей, их слезы и предсмертный ужас кончились. Этих людей больше нет.

Немногие из спасшихся рассказали все, что знали и видели.

Если итти отсюда, держась направления строго на запад, дойдешь до границы немецкой земли. Она разворочена уральским металлом, разбита гусеницами танков.

Красная Армия принесла туда, к самому сердцу немецкой земли, огонь священной расплаты за страдания оскорбленных народов.

Генерал-майор М. ГАЛАКТИОНОВ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

ГЛАВА ВТОРАЯ¹

Сталинград

Военная история имеет дело с явлениями, которые нельзя воспроизвести, как это делает химик, повторяющий самые сложные реакции в колбе. Для научных обобщений ей приходится обращаться к прошлым войнам и сражениям, сопоставлять сходные положения и решения. Но подходя к эпохее Сталинграда 1942 года, мы встречаемся с совершенно исключительной, небывалой в истории войн кампанией.

Можно ли себе представить такую крайность положения? Немцы дошли до Волги, овладев богатейшими районами страны. Они грозили порвать последние нити, связывающие нас с югом, с нефтью — черным хлебом войны. Даже наши друзья за рубежом считали предерженным поражение Красной Армии. Быть может, они тогда еще плохо воспринимали тот факт, что поражение Советского Союза означало бы победу Германии в мировой войне. Судьба всего человечества висела на волоске. Из крайности родилась победа: так солнечный луч прорезает черную тучу, грозившую испелить землю. Германская военная машина была сокрушена в миг ее наивысшего успеха. Это казалось чудом. И Сталинград уже стал святыней для всего человечества, перед которой благоговекют, хотя не все могут объяснить.

А между тем уже очевидно, что великая победа Красной Армии под Сталинградом — торжество светлой мысли, ясного плана, научного предвидения.

Анализ кампании 1942 года, да ный товарищем Сталиным, является фундаментом научного объяснения е. Он содержит в себе ряд важнейших основоположений современной военной науки.

Москва — Баку

Судя по тому, какое значение получил Сталинград в ходе кампании 1942 года, с каким упорством двивались немцы овладения им, можно было бы заключить, что Сталинград являлся стратегической целью в немецком наступлении 1942 года. Такой вывод был бы слишком поспешным. Рассмотрим более детально план германского командования.

Летом 1942 года, в отличие от предшествовавшей кампании, немцы как известно, наступали лишь на одном направлении.

«Воспользовавшись отсутствием второго фронта в Европе, немцы их союзники бросили на фронт в свои свободные резервы и, нацелив их на одном направлении, на юг западном направлении, создали здесь большой перевес сил и добились значительного тактического успеха.

Повидимому немцы уже не столь сильны, чтобы повести одновременное наступление по всем трём направлениям, на юг, на север, на центр как это имело место в первые месяцы немецкого наступления лет прошлого года, но они ещё достаточно сильны для того, чтобы организовать серьёзное наступление в каком-либо одном направлении.

Так говорил товарищ Сталин 6 ноября 1942 года.

Можно было бы подумать, что решив наступать только на од

¹ Продолжение; см. «Знамя» №№ 7—8, 9, 10, 1944 г., №№ 1, 2, 1945 г.

направлении, гитлеровские стратеги хоть сколько-нибудь образумились. Они отказывались от плана кампании 1941 года. Пришлось отказаться! Красная Армия вдребезги разбила основную план войны гитлеровцев.

Ставя в первые месяцы войны цели: Ленинград — Москва — Ростов, немецкое командование рассчитывало достичь их в молниеносные сроки, похода разбив силы Красной Армии. Эти расчеты провалились, и теперь немецкой армии, рассредоточенной на огромном фронте, противостояла гораздо более сильная, чем в начале войны, и непрерывно усиливающаяся Красная Армия.

Конечно, стратегическое значение Ленинграда и Москвы не уменьшилось, оно еще более возросло. В сражениях за овладение ими немцы могли бы рассчитывать разбить главные силы Красной Армии. Но видит око, да зуб неймет! Ведь немцы, находясь в гораздо более благоприятных условиях, уже приложили все старания, чтобы овладеть двумя великими русскими городами.. И ничего не вышло.

Понятно, немцы могли бы, активизируя своих союзников-финнов, бросить крупные силы для решительной атаки на Ленинград. Но они уже имели теперь горький опыт в этом отношении. Началась бы невиданная по ожесточенности битва, которая засосала бы громадные силы, без всяких перспектив на быстрое развитие частных успехов, если бы их и удало даже достичь.

Прямая атака на Москву? Она не имела никаких шансов на успех. Немцы знали теперь, что Москву прикрывают основные силы Красной Армии. Правда, германское командование могло бы рассчитывать все-таки достичь перевеса сил в этом районе, но здесь выступал на сцену фактор, с которым нам придется иметь дело в этой главе, — моральный фактор. Можно ли было создать более благоприятную обстановку для захвата Москвы, чем та, которая сложилась для немцев в ноябре 1941 года? И в этой-то обстановке немцы потерпели сокрушительный разгром. Повести войска по этим дорогам поражения и бегства «непобедимой» германской армии — на такой эксперимент не могли решиться даже гитлеровские авантюристы.

Все это звучало для них походным звоном. Начиная с севера,

через центральный участок на юг, все более оседал и становился прочным укрепленный фронт. С обеих сторон строились укрепления, участки насыщались огневыми средствами, боевые действия принимали позиционный характер. Это было выгодно, конечно, для Красной Армии, которая под прикрытием этого оборонительного фронта множила свои силы. Для гитлеровцев такая перспектива означала проигрыш войны.

Под Ленинградом немцы строили железобетонные доты. Если бы им было доступно чувство смешного, они поняли бы, что выставляли себя на всемирное посмешище. Как! Дойти до Ленинграда и в страхе перед его защитниками огораживаться от них дотами! Это была насмешка над манией величия изверга Гитлера. Но юмор — признак культурности, только люди способны смеяться. Немцы же были не более как «белокурые звери». Они извергали свою сатанинскую злобу на женщин и детей Ленинграда, которые зимой 1941/42 г. умирали от голода, но не сдавались. Не понимали гитлеровцы, что в этих страданиях героического города рождалась победа, грядущая победа советского народа.

Дальше на юг фронт шел не по прямой линии, принимая иногда причудливые очертания. Калининский фронт выдвигался к западу огромной дугой, нависая над важнейшей коммуникацией — смоленской дорогой. Удивительно, как мог держаться фронт в таком положении целых два года. Внешне здесь открывались богатые возможности для маневренных операций. Но немцы теперь познакомились с географией России. На этой лесисто-болотистой местности увязал маневр подвижных сил. И фронт оседал, выпячиваясь к западу на сотни километров.

Конечно, обе стороны держали за линии фронта, в тылу свои стратегические резервы — основную массу лучших войск. И все же фронт поглощал огромные силы. Многочисленные немецкие дивизии были скованы на направлениях, где германское командование не могло уже рассчитывать на какие-либо стратегические перспективы. Эти соединения необходимо было непрерывно питать всеми видами снабжения, вооружением и боеприпасами. Ибо мелкая, повседневная борьба не прекращалась

здесь ни на один час. Огромные массы военных материалов надо было непрерывно двигать к Восточному фронту по коммуникациям, пролегающим на земле, которая не покорилась немцам. Мощное партизанское движение наносило многочисленные удары по этим коммуникациям.

В 1942 году война передвинулась к югу. Но в нашем исследовании мы ни на минуту не должны упустить из виду выдающейся роли в кампании 1942 года севера и центра. Успехи немцев в этой кампании не получали решающего значения потому, что основная часть советского фронта стояла прочно и непоколебимо. Это — результат великой победы, одержанной Красной Армией в 1941 году. В суровых испытаниях 1942 года Москва и Ленинград через пространства протягивали руку братской поддержки новому гиганту, вступающему вместе с ними под сень истории,— Сталинграду.

И дальше на север—от Ленинграда до Мурманска — советские пехотинцы и моряки выстояли вахту. Они держали крайний северный конец могучего барьера, когда немцы поколебали его на Юге. Сталинград — победа всей Красной Армии и Военно-морского флота, победа всего советского народа.

Наступая на юге, немцы рассчитывали использовать серьезные преимущества, которые еще оставались на их стороне, и прежде всего численное превосходство, в особенности по танкам и авиации. Летом 1942 года на Восточном фронте находилось 240 дивизий — немецких и сателлитов. Основную массу этих войск немцы сосредоточили на участке фронта от Орла до Лозовой, протяжением в 500 км. Это обеспечивало немцам значительный перевес сил на этом направлении.

На южной части фронта перед немцами открывались наибольшие маневренные возможности. Фронт здесь еще прочно не стабилизировался. С весны 1942 года шли бои, линия фронта перемещалась. Немецкое командование могло рассчитывать именно на этом направлении произвести прорыв с наибольшей легкостью. В случае успеха прорыва немецкие войска могли быстрее, чем в 1941 году, достичь жизненных районов Советского Союза, к которым они теперь вплотную при-

близились. Гитлер мечтал завершить поход, начатый в 1941 году и остановленный Красной Армией на рубежах, далеко выдвинутых к востоку.

Однако, в отличие от 1941 года теперь предстоял прорыв фронта, который занимали войска Красной Армии, непрерывно усиливавшиеся покреплениями из тыла, получавшие в оружии и технику в возрастающих количествах и крепнувшие в боях. Мы уже знаем, что операция прорыва, при наличии укрепленных фронтов, настолько серьезное дело, что в сильной мере определяет выбор стратегической цели.

В кампании 1941 года стратегической целью немецкого наступления на юге был Ростов. В первой главе нами рассмотрен этот вопрос и показано, что Ростов являлся лишь одной из трех стратегических целей. В кампании 1942 года взятие немцами Ростова еще в меньшей степени имело решающее значение. Это было началом наступательных операций, а не завершением их. Теперь Ростов находился в ближайшем тылу фронта, и взятие его отнюдь не являлось оперативным завершением прорыва. Советский фронт лишь отодвигался к востоку, сохраняя в своем тылу важные коммуникации, связывающие страну с Кавказом.

Немцы, как известно, после прорыва нашего Юго-Западного фронта ударом на юг овладели Ростовом, продолжая наступать на юго-восток. Они направили сюда крупные силы и по размаху их операций можно было считать, что они преследовали здесь важные цели.

«Какую главную цель преследовали немецко-фашистские стратеги, открывая свое летнее наступление на нашем фронте? Если судить по откликам иностранной печати, в том числе и немецкой, то можно подумать, что главная цель наступления состояла в занятии нефтяных районов Грозной и Баку. Но факты решительно отвергают такое предположение. Факты говорят, что продвижение немцев в сторону нефтяных районов СССР является не главной, а вспомогательной целью». (Из доклада товарища Сталина 6 ноября 1942 года.)

Захват нефтяных районов и овладение Кавказом имели бы для немцев исключительно важное значение: это в сильнейшей мере была бы подрвана военная мощь СССР и, наоборот,

Германия получила бы огромные ресурсы для дальнейшего ведения войны. Гитлер явно преследовал эту цель и часть своих сил бросил на Северный Кавказ, чтобы достичь ее. Однако даже этот авантюрист учитывал, что итти на завоевание Кавказа через узкие ворота Ростова — предприятие крайне сумасбродное: Красная Армия своими контрударами могла бы захлопнуть эти ворота и отрезать немецкие войска, наступавшие на Северном Кавказе.

И здесь мы снова приходим к уже поставленному вопросу: не был ли стратегической целью немецкого наступления Сталинград? Все данные военной науки говорят в пользу такого решения. Для всего южного театра — Дона, Нижнего Поволжья, Северного Кавказа — Сталинград является стратегическим ключом. Сохраняя его в своих руках, Красная Армия обеспечивала железнодорожные и водные коммуникации с Кавказом и угрожала нанесением мощных ударов немецким войскам, наступавшим юго-восточнее Ростова. Наоборот, захватив Сталинград, гитлеровцы перерезали бы все железнодорожные коммуникации, связывающие центр с югом. Немцы могли бы рассчитывать, что в их руки попадет и Астрахань.

Обратим внимание на то, что такой исход событий означал бы завершение прорыва, и в этом смысле особенно правильно было бы считать Сталинград стратегической целью. Создав мощный плацдарм на Дону и Нижнем Поволжье, немцы могли бы развертывать операции как на север, так и на юг.

Подобные соображения несомненно имелись у германского командования, и они объясняют, почему оно так упорно добивалось овладения Сталинградом. И все-таки Сталинград не был стратегической целью для немцев, по крайней мере в их первоначальном плане кампании. Мы ищем в этом плане логики и научного обоснования, но ведь гитлеровцы прежде всего — авантюристы.

В самом деле, что обозначал бы для них план наступления со стратегической целью — Сталинград? Это — план кампании, очень трудной и обширной, для проведения которой требовались бы месяцы. Конечно, после достижения стратегической цели сразу же могли бы быть начаты операции по использованию достигнутого успе-

ха, например, операции по захвату Кавказа. Но сколько бы времени и каких огромных сил потребовали бы эти операции? А кроме того, что происходило бы в это время на севере? Стало бы советское командование дожидаться, пока гитлеровцам заблагорассудилось действовать на юге? Ведь главная масса сил Красной Армии попрежнему прикрывала Москву, и даже авантюристы-гитлеровцы соображали, что решительная победа невозможна, если не разбита эта основная масса советских войск.

«В чём же, в таком случае, состояла главная цель немецкого наступления? Она состояла в том, чтобы обойти Москву с востока, отрезать её от волжского и уральского тыла и потом ударить на Москву. Продвижение немцев на юг в сторону нефтяных районов имело своей вспомогательной целью не только и не столько занятие нефтяных районов, сколько отвлечение наших главных резервов на юг и ослабление Московского фронта, чтобы тем легче добиться успеха при ударе на Москву. Этим собственно и объясняется, что главная группировка немецких войск находится теперь не на юге, а в районе Орла и Сталинграда.

Недавно в руки наших людей попал один немецкий офицер германского генштаба. У этого офицера нашли карту с обозначением плана продвижения немецких войск по срокам. Из этого документа видно, что немцы намеревались быть в Борисоглебске 10 июля этого года, в Сталинграде — 25 июля, в Саратове — 10 августа, в Куйбышеве — 15 августа, в Арзамасе — 10 сентября, в Баку — 25 сентября.

Этот документ полностью подтверждает наши данные о том, что главная цель летнего наступления немцев состояла в обходе Москвы с востока и в ударе по Москве, тогда как продвижение на юг имело своей целью, помимо всего прочего, отвлечение наших резервов подальше от Москвы и ослабление Московского фронта, чтобы тем легче было провести удар по Москве.

Короче говоря, главная цель летнего наступления немцев состояла в том, чтобы окружить Москву и кончить войну в этом году».

Напомним, что эти слова были сказаны товарищем Сталиным 6 ноября 1942 года, то есть до начала

нашего контрнаступления. С гениальной проницательностью был раскрыт перед всем миром германский стратегический план еще в ходе немецкого наступления. Возможно, впоследствии историки уточнят отдельные детали, но теперь, два с половиной года спустя, характеристика немецкого плана, данная товарищем Сталиным, остается в полной своей свежести и ясности и в таком виде она войдет в историю второй мировой войны.

Авантюрист Гитлер и в 1942 году, по сути дела, пытался осуществить уже провалившийся план молниеносного сокрушения СССР. Он рассчитывал в одной кампании покончить с могучим советским государством.

Возвращаясь к вопросу о стратегических целях, следует признать, что хотя и в плане 1941 года они были поставлены авантюристически, без правильного учета соотношения сил, в их постановке была по крайней мере большая ясность, чем в 1942 году. Трех немецким группировкам были по крайней мере указаны цели, которых они должны были достичь в своем наступлении. В плане 1942 года этого нет, нет по той причине, что теперь решительная победа над Красной Армией стала еще более нереальной, недостижимой для Германии.

Главная цель немецкого наступления 1942 года, как и в октябре—ноябре 1941 года,— Москва. Но, после разгрома в декабре 1941 года Гитлер не мог указать Москву войскам в качестве непосредственного объекта наступления. И вот он затевает сумасбродный маневр окружения Москвы, при исполнении которого немецкие войска должны предварительно выйти к... Куйбышеву, отстоящему от Москвы на расстоянии около 1000 километров.

В нашем изложении уже достаточно ясно показано, что стратегическая цель должна быть избрана так, чтобы служить успеху наступления войск. Если поставленная цель не содействует войскам в том, чтобы успешно наступать, бить вражеские силы, оперативно опережать их искусным маневром, спрашивается—зачем нужна такая цель. Всегда на карте найдутся заманчивые объекты, овладение которыми подрывало бы базу сопротивления противника, но ведь все дело в том, чтобы разбить его вооруженные силы, прикрывающие

эти объекты. Стратегическая цель нужна для концентрации усиленных войск, для максимального облегчения задачи разгрома вражеских сил, для создания наиболее выгодных условий ведения сражения, в которых решается исход войны или кампании. В гитлеровском плане 1942 года была поставлено много целей, но тщетно искать в нем постановки такой цели, которая требовалась по данным науки. И это не случайно, ибо в германском командовании уже царила неуверенность, неясность—как результата проигранной кампании 1941 года.

Немцы рвались к Москве и в 1942 году, и конечная цель была как будто бы ясна, но совершенно неясно было германскому командованию, как этой цели достичь. А ведь для наступающих войск самым важным был именно этот вопрос. Стратегическая цель, как мы знаем, должна выразить основную идею маневра, определить направление главного удара. Но это-то как раз и было неясно немецкому командованию. Неуверенность толкала его на то, что много раз уже повторялось в истории войны и всегда вело к конечному краху: попытаться поискать дорожку полегче, попробовать разные варианты, авось где-нибудь да повезет.

Планируя глубокий обход Москвы вдоль Волги, немцы отнюдь не исключали попыток выйти гораздо ближе в тыл Москвы. В июне 1942 года им удалось прорваться на стыке между нашим Брянским и Юго-западными фронтами в направлении Старый Оскол—Воронеж. Нельзя сомневаться, что немецкое командование первоначально планировало главный удар именно на этом направлении. Оно явно рассчитывало форсировать у Воронежа Дон и выйти сразу же на восточный берег этой реки. Уже 10 июля немцы намеревались быть в Борисоглебске. Совершенно очевидно, что при успехе наступления на этом направлении стратегическая обстановка выглядела бы совершенно иначе, чем это случилось в действительности. Выход к Волге был бы несравненно более облегчен для немецких войск. Открывались бы перспективы и для наступления на север к Тамбову и Арзамасу. Но если германское командование питало такие замыслы, то войскам должна была быть указана и соответствующая стратегическая цель. Однако немецкое

командование не поставило такой цели, оно ставило перед войсками целый ряд целей, среди которых терялось обозначение главного направления удара.

Мечтая о кратчайших направлениях удара на Москву, немецкое командование было явно не уверено в успехе, ибо оно знало, что на этих направлениях находятся главные силы Красной Армии. Отсюда и проистекали его планы глубокого обхода Москвы с юга и востока, проникнутые тайной надеждой отвлечь советские резервы с Московского фронта — к югу, вынудить советское командование разбросать свои силы на огромном пространстве.

И если в чем-то германское командование было право, то именно в своих опасениях, что немецкие войска не прорвутся на кратчайших направлениях к Москве. После ожесточенных боев в районе Воронежа немцам пришлось отказаться от плана прорыва на восточный берег Дона. С тем большей энергией германское командование расширяло прорыв к югу. Оно питало и здесь надежду — авось удастся на плечах отступающей Красной Армии добраться до Баку. И еще больше оно демонстрировало свое намерение наступать на этом направлении, инспирировало прессу соответствующим образом. Оно ожидало ослабления советских сил на севере, рассчитывая снова нанести внезапный удар на кратчайшем направлении к Москве.

Итак, немцы одновременно рвались на север и на юг. Германское командование одновременно преследовало две стратегических цели: Москва и Баку.

«В ноябре прошлого года немцы рассчитывали ударом в лоб по Москве: взять Москву, заставить Красную Армию капитулировать, и тем добиться окончания войны на Востоке. Этими иллюзиями кормили они своих солдат. Но эти расчёты немцев, как известно, не оправдались. Обжегшись в прошлом году на лобовом ударе по Москве, немцы вознамерились взять Москву в этом году уже обходным движением и тем кончить войну на Востоке. Этими иллюзиями кормят они теперь своих одуряченных солдат. Как известно, эти расчёты немцев также не оправдались. В результате, погнавшись за двумя зайцами — и за нефтью, и за окру-

жением Москвы, — немецко-фашистские стратеги оказались в затруднительном положении. (Из доклада товарища Сталина 6 ноября 1942 года.)

В своем наступлении летом 1942 года немцы ставили себе решительные цели не только в плане кампаний, но и всей войны на Востоке. Овладев Москвой и Баку, германское командование рассчитывало лишить Красную Армию основных источников силы сопротивления, отрезать от уральского тыла, разбить ее в гигантском сражении.

Мы уже знаем, что при масштабах современных войн войскам одновременно могут быть поставлены и две и несколько стратегических целей. Но их надо ставить правильно, учитывая соотношение сил. В данном случае — пред нами пример неправильной постановки целей.

Кампания 1941 года показала, что у немцев нехватило сил для овладения Москвой, в частности и потому, что они разбросали свои силы на огромном фронте. И вот в 1942 году германское командование снова ставит целью овладение Москвой, что уже само по себе было непосильно для немецких войск. Но авантюристичность этого плана еще больше усугублялась постановкой второй стратегической цели — Баку. Силы германской армии рассредоточивались в двух противоположных направлениях. Вместо концентрации усилий поставленные цели вели к разброске их.

Но ведь у немцев все-таки был единый план — окружение Москвы с глубокого тыла, и в этом плане Москва была главной стратегической целью, а Баку вспомогательной. Да, но если уж германское командование замыслило такой маневр, — фантастический сам по себе, — стратегическая цель должна была выразить его идею. Но цели — Москва и Баку — не выражали ее. И это сказалось на темпе развития операций, в результате которых немецкие войска должны были выйти к Волге, так как немецкое командование явно допускало возможность и непосредственного достижения поставленных целей — по кратчайшему направлению на Москву и путем преследования отступающих советских войск — в Баку.

Правда, германское командование поставило своим войскам и другие цели и даже указало сроки их дости-

жения. Но это не были стратегические цели, это были частные промежуточные цели. И самое обилие и разбросанность их явно указывает на отсутствие твердого стержня в германском стратегическом плане. Если иметь в виду основной маневр окружения Москвы, то явно вырисовывается наличие трех вариантов: наступление прямо на север, свертывая советский фронт; прорыв на восточный берег Дона в районе Воронежа и после того наступление на север; наконец, выход к Волге и наступление по западному берегу реки к Куйбышеву.

Мы опасаемся, что у читателя голова идет кругом от всех этих бесчисленных направлений. Наш ум, исследуя исторические события, стремится невольно к ясным логическим заключениям. Но мы сознательно подробно останавливаемся на тех разных вариантах, которые явно вырисовываются в немецком плане 1942 года. В том-то и дело, что в нем не было ясности и определенности. В том-то и дело, что германское наступление рассредоточивалось по разным направлениям.

И вот наш аналитический ум, стремясь все к той же логичности, наконец останавливается на определенном факте. В середине июля крупная немецкая группировка в составе 6-й и 4-й танковой армий вышла в излучину Дона, наступая к Сталинграду. Разве не на этом направлении немцы сосредоточили главные силы? И не значит ли это, что Сталинград — их стратегическая цель?

Да, начиная с этого периода и дальше все больше, Сталинград становится основной целью для немцев. Но не забудем, что к этому времени обозначилась неудача их попыток прорваться на восточный берег Дона. Не забудем, что немецкие войска продолжали рваться к Баку и Туапсе.

Чем дальше продолжалась кампания 1942 года, тем очевиднее становилось, что Сталинград должен был быть стратегической целью германского наступления. Должен был быть, но не был. Стратегические цели немцев были — Москва и Баку, цели нереальные, недостижимые.

В следующем разделе этой главы мы детально рассмотрим, как Сталинград все в большей мере влиял на волю германского командования, вынуждая его концентрировать свои

усилия на этом направлении. Но на примере кампании 1941 года уже было показано, что в ходе наступления нельзя безнаказанно менять стратегическую цель. И если, обжегшись на попытках достичь Москвы и Баку по кратчайшим направлениям, немецкое командование в самом деле поставило Сталинград главной целью своих наступательных действий, оно расплывалось этим в неудаче первоначального стратегического плана. И это влекло за собой совершенно реальные последствия не только в планах, но и на полях сражения. Первоначальный эффект внезапности уже был использован. Силы затрачены и разбросаны на бесплодных стратегических направлениях. Обозначалась крупная и чреватая опасностями потеря темпа в наступлении. Германское командование уже было бесцельно выправить стратегическую обстановку, сложившуюся в результате ошибочно поставленных целей: Москва — Баку. Но отказывалась ли гитлеровская клика от этих целей и в дальнейшем ходе наступления? Нет, ибо, как уже было сказано, разумное, научное ведение операций не устраивало ее. — это означало бы длительную войну. И гитлеровцы не оставляли попыток прорваться на восточный берег Дона и продолжали рваться в глубь Кавказа. Это не могло не отразиться и на ведении операций по овладению Сталинградом. Вот почему правильно сказать, что германское командование и на последующих этапах наступления не поставило ясно стратегической цели — Сталинград.

Некоторую аналогию можно провести с наступлением Людендорфа в марте 1918 года, о котором говорилось выше. Тогда Людендорф тоже не поставил стратегической целью Амьен, овладение которым, при создавшейся обстановке, означало бы оперативное завершение прорыва и отделение англичан от французской. Немецкое наступление расплодилось в трех направлениях — северо-западному, юго-западному и южному. Образовалась гигантская дуга — амьенский мешок, — по краям которой немецкие войска были остановлены, попав в рискованное положение.

В 1942 году операция носила несравненно более грандиозный размах. Лишь для сравнения можно указать, что гитлеровцы не поставили Сталинград стратегической целью, и г

наступление тоже расплодилось по краям огромной дуги, без достижения решительного результата. Для немецких войск создавалось рискованное положение.

Коренной дефект германской стратегии и здесь выступает с полной отчетливостью: постановка нереальных целей, не соответствующих имеющимся силам и средствам.

В кампании 1942 года немцы одновременно осуществляли несколько планов:

прорыв фронта, для чего надо было выйти к Волге и овладеть Сталинградом;

наступление на Кавказ к Баку для захвата нефтеносных источников;

наступление в глубокой обход Москвы с востока с целью овладения столицей СССР и окончания войны.

У немцев было превосходство сил на юге, они достигли крупных тактических успехов, но при всем том — лишь первый план мог быть реальным, и для обеспечения последующих операций необходимо было овладение Сталинградом. Но Гитлер сразу пытался осуществить все три плана, ставя главной целью Москву, вспомогательной стратегической целью Баку, а Сталинград считал лишь частной целью, наряду со многими другими. Не случайно поэтому все наступление кончилось провалом.

По существу гитлеровская авантюра 1942 года воспроизводила авантюру 1941 года. Не имея достаточных сил для покорения такого могучего государства, как СССР, гитлеровская клика делала ставку не на основные, постоянно действующие, а на случайные и временные факторы. И в 1942 году гитлеровцы рассчитывали прежде всего на молниеносность действий, на ошеломляющий эффект наступления танков и авиации, на подрыв духа и силы сопротивления Красной Армии, на распад советского государства, на паралич экономики и транспорта СССР. Именно поэтому Гитлер ставил столько целей, которых его войска должны были достичь в фантастически быстрые сроки. Он считал, что русские города будут сыпаться немцам, как спелые орехи с дерева, которое стоит лишь немного потрясти. Разумная, научная стратегия не устраивала Гитлера, ибо она указывала в 1942 году еще яснее, чем в 1941 году, что война против СССР — ряд тяже-

лых и длительных кампаний. У гитлеровцев же не было для этого ни сил, ни времени, и они пустились снова во все тяжкие.

Эта стратегия — авантюристическая, но было бы нелепо не видеть, что в гитлеровских планах имелась огромная опасность для нашей страны. Ведь враг все еще обладал превосходством сил на юге, превосходством в численности современных военнотехнических средств, эффективность которых исключительно велика. Юг для Советского Союза имеет исключительно важное экономическое значение. Скажем прямо, что только наш советский народ, наше советское государство, руководимое большевистской партией, способные были выдержать то страшное испытание, которое обрушилось на нас в 1942 году.

Гитлеровская стратегия в 1942 году имела лишь один смысл — она ориентировалась на слабость советской обороны — и она просчиталась в этом важнейшем вопросе так же, как и в 1941 году. Только благодаря силе сопротивления советского народа и Красной Армии вскрылись слабости авантюристической стратегии гитлеровцев. Но и этого мало. Сила советской обороны привела к остановке германского наступления, не допустив овладения немецкой армией важнейшими объектами, к которым она рвалась. Но и при этом условии прорыв немцев на Дон и Северный Кавказ создавал в высшей степени опасное положение для Советской страны. Если бы немецкие войска удержались в течение зимы 1942/43 г. на достигнутых рубежах, они могли бы возобновить свои наступательные операции в последующих кампаниях, причем потеря Украины, Донбасса, Дона и Северного Кавказа в огромной степени ослабила бы мощь СССР. Жалко у гитлеровской змеи вырвала сталинская стратегия. Вместо решительной победы гитлеровцы обрели в кампании 1942 года решительное поражение.

«Таким образом, тактические успехи летнего наступления немцев оказались незавершенными ввиду явной нереальности их стратегических планов».

Если бы эти слова сказаны были товарищем Сталиным теперь, когда можно спокойно анализировать события 1942 года, они все равно имели бы выдающееся теоретическое зна-

чение. Но они были сказаны в тот момент, когда немцы достигли высших успехов в своем наступлении. С какой исполинской силой прозвучали мудрые, уверенные сталинские слова тогда — в дни тяжких испытаний. В них звучала мощь несокрушимого советского государства, сила сталинской военной науки, торжествующей над авантюризмом гитлеровцев.

В анализе, который был дан товарищем Сталиным 6 ноября 1942 года, заложен прочный фундамент стратегии, как науки в новых, сложнейших условиях современной войны. Мы уже видели, как развитие стратегии в нашу эпоху шло вкривь и вкось, как возникали теории, отрицающие её или открыто, или по сути дела. Объясняется это, конечно, не тем, что роль стратегии снизилась или даже сошла на-нет, напротив, она возросла. Объясняется это крайним разрастанием масштабов и многообразия боевых действий в силу гигантского развития военной техники. Тактика поглощала внимание и ум полководцев. И некоторые из них за деревьями не видели леса.

Нам придется еще в этой главе говорить о соотношении между стратегией и тактикой. Сейчас остановимся на одной важнейшей стороне. В анализе товарища Сталина подчеркнуто значение стратегического плана и целей. Этим возвращается стратегии вся ее сила и значение также и в современной войне. Тактика и теперь занимает подчиненное к ней положение.

Этим не умаляется значение тактики. Напротив, оно поднимается по сравнению с той ролью, которая отводилась ей до сих пор. В период германского наступления 1942 года операции приняли весьма широкий размах. Немцы прорвались на глубину сотен километров в районах нижнего течения Дона и Северного Кавказа. Успехи немцев были значительны, но товарищ Сталин определил их как успехи тактические, и именно потому, что они не получили стратегического завершения.

Стратегическое завершение тактических действий теперь тем более важно, что сфера тактики расширилась и стала более многообразной: чем сложнее стали боевые, тактические действия, чем большим стал их размах, тем более важным является

их единство и направление к определенной цели. Стратегия вносит планоность в ход военных действий в огромном пространстве, она указывает конечные цели, которых должны достигнуть войска, чтобы одержать победу.

В качестве примера остановимся на захвате немцами Ростова. Безспорно, это был крупнейший их успех. Общеизвестно громадное стратегическое значение Ростова как важнейшего узла коммуникаций, как ворота из европейской части СССР на Кавказ. И все-таки, овладев Ростовом, немцы достигли крупного тактического, но не стратегического успеха. Иначе говоря, Ростов в немецком наступлении являлся тактической, а не стратегической целью. Понятно, насколько важен этот вопрос для нашей темы. И только анализ, данный товарищем Сталиным, дает прочную научную базу для его решения.

В чем состоит отличие целей — стратегической и тактической?

Товарищ Сталин вскрыл германский стратегический план 1942 года. Он строился на том, чтобы кончить войну в том же году. Главная цель — овладеть Москвой путем обхода ее с юго-востока. Вспомогательная цель — овладеть Баку, чтобы лишить СССР нефти и отвлечь советские резервы с Московского фронта.

Это — стратегические цели. В чем основной их признак? В том, что они имели решающий характер. Немцы рассчитывали, достигнув этих целей, выиграть войну против СССР. Так ставить вопрос могла лишь авантюристическая гитлеровская стратегия. В современной войне нельзя достигнуть окончательной победы одним ударом. Не говоря уже о коалиции трех великих держав, немецкие планы выиграть войну против СССР в одной кампании были чистой авантюрой. При научном подходе к вопросу понятие «решающая» цель операций применимо к одной кампании или к двум, трем последовательным кампаниям. В этом трезвом научном понимании решающей целью для немцев в кампании 1942 года мог быть Сталинград. Понятно, такое положение высказывается нами условно, так как вся война гитлеровцев против СССР является авантюрой, и потому вообще невозможно говорить о каких-либо ни было реальных целях решающего значения в их наступлении.

Взятие немцами Ростова имело крупное, но не решающее значение — и не только в плане всей войны, но и в кампании 1942 года. Ростов в немецком наступлении был тактической целью. Но можно задать вопрос: все же взятие Ростова было более важно, чем овладение каким-либо мелким пунктом, — не следует ли установить, кроме стратегических и тактических целей, еще промежуточную категорию, скажем, оперативных целей?

Современное наступление имеет такой широкий размах, что распадается на ряд операций, проводимых армиями (фронтами). Каждая операция осуществляется по определенному плану. Какие же цели ставятся в отдельной операции?

При правильном руководстве операциями они являются звеньями единого стратегического плана. Все они в целом и каждая из них в отдельности направлены к достижению стратегической цели (или стратегических целей). В главной или в заключительной операции, при успешном ходе наступления, непосредственно достигается стратегическая цель. Но, как мы уже имели случай говорить, и все прочие операции должны быть подчинены достижению стратегической цели.

Но кроме того, в каждой операции ставятся и частные цели, вытекающие из общего стратегического плана. Эти цели следует назвать тактическими. Таким образом, в каждой операции преследуются стратегическая цель, как решающая цель всех наступательных операций, и частные, то есть тактические цели. Никакого иного разделения целей операции вводить не следует, ибо для командующего, осуществляющего операцию, важно знать, какую цель преследует Главнокомандование и какие частные цели, исходя из этого, ставятся в данной отдельной операции.

В современной войне тактические действия, благодаря моторизации, расширились настолько, что их нельзя мерить старыми масштабами. Танки и самолеты способны в течение часов перенести бой на большую глубину.

Совокупность боев и маневров, проводившихся немцами с целью овладения Ростовом, можно назвать «Ростовской операцией». Но Ростов был для них частной, тактической целью — их стратегические цели были

иные. Является ли тот или иной объект целью тактической или стратегической, зависит от плана Главнокомандования.

Но, скажут нам, разве нет объективных оснований для различения целей стратегической и тактических, разве такое различие зависит только от плана Главнокомандования. Понятно, что такие объективные основания есть и они должны учитываться при разработке стратегического плана; но следует всегда помнить о том, что на войне дело идет не просто о захвате географических объектов, хотя бы и весьма важных, а о разгроме вражеских сил.

Почему именно захват Москвы был для немцев главной целью в 1942 году? Потому что с этим они связывали решительный разгром Красной Армии и окончание войны. Но так как прямым ударом взять Москву гитлеровцы отчаялись, они пустились на «хитрость» — взять Москву глубоким обходом и одновременным наступлением на Баку отвлечь советские резервы из центра.

С точки зрения такого плана все прочие цели являлись для немцев частными, тактическими. И таковыми они были в действительности, так как захват Ростова, например, решающего значения в кампании 1942 года не имел. Это был лишь этап на пути наступления немцев к Баку.

Можно предположить, что в конце концов не важно, какие цели само германское командование считало стратегическими: ведь это были нереальные, недостижимые цели. Однако было бы ошибочно полагать, что германский стратегический план — неправильный, нереальный — не играл роли в ходе немецкого наступления. Он играл отрицательную роль. Он не только не ориентировал правильно, не объединял тактические действия немецких войск, а направлял их к катастрофе.

И вот получилось парадоксальное положение: немцы одерживали тактические успехи, но стратегическое положение их войск становилось все более опасным. Тактические успехи должны получить стратегическое завершение. А в немецком наступлении такого завершения не было, да и не могло быть ввиду нереальности всего плана в целом. Что же при таком условии могло получиться, кроме разброда, разброски сил в разные сто-

юны и необеспеченного положения немецких войск? Немецкое наступление стихийно разливалось по громадному пространству, не имея твердого русла в своем течении.

Отсюда ясно, что постановка немцами стратегических целей имела значение: поставив войскам нереальные цели, германское командование обрекло их наступление на провал.

Задавшись необъятными, фантастическими планами, германское командование неправильно оценило особенности театра и происходивших на нем операций. Хотя оно и понимало значение Сталинграда, но недооценило его. В стратегическом плане немцев Сталинград первоначально был одной из частных целей. Германское командование прилагало сначала все усилия, чтобы прорваться на восточный берег Дона, потом оно устремило свое внимание на юг. И вот, наконец, главная группировка немцев двинулась к Сталинграду.

Не могла ли этим германская стратегия разом исправить свои ошибки? Не давало ли овладение Сталинградом искомого стратегического завершения? Ведь при правильном ведении операций взятие Сталинграда могло означать завершение прорыва, обеспечивая дальнейшее развитие наступательных действий на север и на юг.

Этот вопрос будет рассмотрен в дальнейшем изложении, где мы остановимся на разборе операций немецкой группировки, наступавшей к Сталинграду.

Но в заключение этого раздела скажем, что дефектный стратегический план Гитлера, в котором ставились цели Москва—Баку, подрывав в основе тактические успехи и создавал гибельную обстановку для немецких войск.

Во-первых, разбросав свои усилия по разным направлениям, немцы потеряли важнейший темп в наступлении и, столкнувшись с мощной советской обороной, не смогли овладеть Сталинградом.

Во-вторых, для авантюристов-гитлеровцев правильная стратегия была исключена: они ведь стремились окончить в 1942 году войну против СССР, то есть выполнить то, что им не удалось в 1941 году. Переход к длительной войне, состоявшей из целого ряда кампаний, обрекал Германию на конечное поражение.

Не случайно поэтому, что тактические успехи немцев не могли найти своего стратегического завершения. Разрыв между стратегией и тактикой для авантюристов-гитлеровцев был неизбежен.

Это создавало для германских войск рискованное положение, в котором заключалась возможность поражения. Благодаря мудрой сталинской стратегии возможность превратилась в действительность. Временные тактические успехи немецких войск превратились в катастрофу для них.

(Продолжение следует)

И. ЛЕЖНЕВ

ПРОРОК ИМПЕРИАЛИЗМА И ФАШИЗМА¹

ФРИДРИХ НИЦШЕ

Но мы знаем, что военным разгромом фашистских сил нельзя ограничиться. Нужно, чтобы морально-политический разгром фашизма также был доведен до конца.

В. М. М о л о т о в.

1. Контрреволюция под флагом искусства

Немецкие фашисты объявили Ницше своим духовным отцом и философским предшественником. Официальное приобщение Фридриха Ницше к лику фашистских святых состоялось в тот день, когда Гитлер собственной персоной посетил в Веймаре дом, где умер философ и где хранятся его рукописи. «Фюрер» был торжественно принят хранительницей музея, сестрою философа. С тех пор гитлеровцы говорят о пророчествах Ницше как о «заветах учителя» и похваляются «выполнением» этих заветов.

15 октября 1944 г. исполнилось сто лет со дня рождения Ницше. По этому случаю в Берлине выступил с речью по радио гитлеровский министр Розенберг. Он вновь восхвалял Ницше и называл его «истинным немцем».

Когда автор злобной, человеконенавистнической книги «Майн Кампф» почтительно склоняет голову перед автором книги «По ту сторону добра и зла», когда автор пресловутого «Мифа XX века» Розенберг говорит, что он «непосредственно примыкает» к Ницше, к этому идеологу варварского мифа, то современные палачи и мракобесы только воздают должное быломu проповеднику войны и жестокости, рабства и тирании.

В «Политике» Аристотеля приведена клятва олигарха древней Эллады: «Я буду врагом народа и постараюсь причинить ему столько зла, сколько смогу» (VII, 19). Слова этой присяги могут служить эпиграфом к собранию сочинений Ницше. Мотив антинародности безраздельно господствует в его писаниях. Груды его противоречивых, ключкообразных, нервно взъерошенных причитаний и поучений пышут ненавистью к народу.

Книги Ницше сочатся желчью. В бессильной злобе он ведет яростные атаки против демократии, против ее интеллектуальной мощи и нравственного величия. При этом характерная особенность Ницше та, что он неизменно выступает в роли поборника искусства, изысканного эстета, для которого нет ничего более святого, как хороший вкус. Реакционность в общественной идеологии под флагом «новаторства» в искусстве — изобретение Ницше, поистине неотъемлемое от него. Оно немало послужило и его популярности в России в годы реакции 1907—1912 гг.

В ту пору Ницше стал «властитель дум» части российской мелкобуржуазной интеллигенции. «С боями» отходила она в столыпинское время от революционных традиций прошлого и перестраивалась на реакционный лад. Осуществить это ренегатство помогло

¹ Главы из книги.

ей именно нищезанятство. Чем постыдней было бегство из революционного подполья, тем больше было шуму о «революции в искусстве». Такая подмена пришлось по душе всем тем, кто, наспех перевооружаясь совершал в житейской практике и быту свое маленькое «врастание в капитализм». Однажды мне пришлось уже подробно рассказать об этом в моей книге «Записки современника» (глава «Русский Ницше»).

Идеи Ницше оказали сильное влияние на интеллигенцию разных стран. Нагляднее всего это проявилось в художественной литературе. Ревностными поклонниками Ницше были наши декаденты, особенно Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Гумилев. Мотивы некоторых произведений Леонида Андреева, Арцыбашева, Мережковского позаимствованы непосредственно у Ницше. Воздействие его идей чувствуется в ряде произведений западных писателей. В первую очередь можно назвать «У царских врат» Кнута Гамсуна, «Сверх сил» Бьернсона, «У открытого моря» Стриндберга, «Дневники» Андре Жюда. В большой мере в плену у нищезанятого оказались немецкие писатели, особенно декаденты.

Тут дело шло, конечно, далеко не о полном единомыслии с Ницше (Гамсун — исключение), а лишь о восприятии отдельных, особенно облюбованных сторон его учения: «аристократия духа», имморализм, сверхчеловек и проч. Но даже в этих пределах идеологическое воздействие Ницше, реакционное по своей сущности, неизменно шло под знаком радикальных фраз.

Известный датский писатель Георг Брандес выступил еще при жизни Ницше с большой статьей о нем под заглавием «Аристократический радикализм». Слово «радикализм» так же подходит Ницше, как слово «социализм» Гитлеру. Но реакционный философ был доволен: он достиг цели. И написал Брандесу: «Выражение «аристократический радикализм», которым вы пользуетесь, очень удачно. Это, да позволено мне будет сказать, самые умные слова, какие мне до сих пор привелось прочесть о себе». Так писал Ницше в своем письме 2 декабря 1889 г. Но еще задолго до этого, в период работы над «Веселой наукой», он написал коротенькую, откровенную до цинизма строчку:

«Редукция морали к эстетике!!!» (см. посмертные сочинения, п. 145).

Три восклицательных знака поставил Ницше — так порадовала его находка. А состоит она в том, чтобы подменить общественные вопросы эстетическими, низвести объективную истину к безудержному капризу субъективного вкуса, к вкусовщине. Это ли не «веселая наука»!

Такой подменой, то есть такой своеобразной формой демагогии, рассчитанной на буржуазную интеллигенцию, Ницше занимался всю жизнь, начиная с юношеской работы «Рождение трагедии».

Эта первая книга Ницше, посвященная как будто искусствovedческому вопросу о происхождении трагедии и построенная на материале древней Эпиды, представляла собою на самом деле злободневный памфлет, направленный своим жалом против французской революции и ее идей.

Здесь Ницше негодует против господства разума, служившего высшим критерием оценок в эпоху Просвещения и французской революции, отвергает самое познание. «Познание, — писал он, — убивает действие; чтобы действовать, необходимо быть под покровом иллюзии...» (п. 7).

Идею разума Ницше возводит к Сократу. Ополчаясь против теоретического познания вообще, он создает из Сократа символ этой «пагубы». «Влияние Сократа, — говорит он, — подобно все удлиняющейся вечерней тени, распространялось на все потомство», «в Сократе — поворотный пункт так называемой всемирной истории» (п. 15). Ницше скорбит о том, что «весь наш современный мир... считает за идеал теоретического человека, первообразом и родоначальником которого является Сократ».

Вместе с тем Ницше изображает Сократа вдохновителем демократии. Но это ложь. На самом деле Сократ тяготел к аристократии, а те софисты, с которыми он вел споры, в большинстве были на стороне тогдашней демократии. Конечно, эти категории не следует понимать в нынешнем смысле слова. Надо помнить, что афинская демократия в целом была рабовладельческой. Выдающаяся прогрессивная роль Сократа в истории человеческой мысли определяется его открытиями в области философии и нравственности, его борьбой за истину против беспринципности и увертков поздних софистов.

От Сократа Ницше проводит прямую линию к рационализму француз-

ского Просвещения и его предтеч. Декарту, например, он дает такую характеристику: «Декарт... отец рационализма (и, следовательно, дед революции), для которого авторитетом был только разум...» Вот кого Ницше ощущает своим врагом и прибавляет: «Декарт был поверхностен...» («По ту сторону добра и зла», п. 191).

Следует напомнить, что Декарта наряду со Спинозой Энгельс назвал блестящими представителями диалектики в новой философии. Высокими образцами диалектики Энгельс считал книгу Дидро «Племянник Рамо» и сочинение Руссо «О происхождении неравенства между людьми» (см. Собр. соч. Маркса и Энгельса, т. XIV, стр. 20).

Нет ничего удивительного в том, что Ницше, противник диалектики и враг революции, яростно обрушивался на Руссо почти в каждой своей книге. В «Помрачении кумиров», например, он писал так: «Я угадываю и ненавижу Руссо еще в революции... я ненавижу ее моральность, свойственную и Руссо, ненавижу так называемые «истинные» революции, которыми она еще до сих пор продолжает действовать на умы... Учение о равенстве Нет более ядовитой отравы!» («Очерки несвоевременного», п. 48). В «Воле к власти»: «Руссо... морализует и, как человек затаенной злобы, ищет причину своего ничтожества в господствующим классам» (п. 98); «словами «несправедливо», «жестоко» всего легче разжечь инстинкты угнетенных...» (п. 99).

Ненависть к Сократу проходит через все книги Ницше. Чем больше он писал, тем яснее становились истинные причины его раздражительности. В «Помрачении кумиров» он обвиняет Сократа в том, что тот первый применил диалектику. Это, как полагает Ницше, привело к горестным последствиям: значение аристократии упало, и преобладание получил народ. Применять диалектику—«нескромно и неприлично». Там, где господствует авторитет, нет нужды приводить доводы,—там отдаются приказания. «Диалектика может быть оружием самообороны только в руках тех, у кого не осталось другого оружия. К ней прибегают только в тех случаях, когда приходится отвоевывать свои права... Диалектика—беспощадное оружие: человек, владеющий ею... обнажает слабости своего противника и предоставляет ему доказывать разумность своих доводов. Разъяря врага, он вместе с тем обессили-

вает его. Диалектика унижает ум противника...» («Проблема Сократа», пп. 6 и 7). К той же теме возвращается Ницше и в своей книге «Воля к власти». «...чернь,—говорит он,—при помощи диалектики одержала победу. До Сократа диалектическая манера отвергалась во всяком хорошем обществе... Ирония диалектики—это форма плебейской мести: угнетенные проявляют свою жестокость в этих холодных ударах ножом силлогизма...» (п. 431).

Что же противопоставляет Ницше разуму и диалектике? Инстинкт и искусство. В «Рождении трагедии» Сократу противостоит Дионис. В «Генеалогии морали» Ницше прямо пишет: «диалектика, ставшая на место инстинкта...» И он стремится развенчать науку, оттеснить интеллект на задний план. Даже самую склонность к умственной работе он клеймит, как проявление физической неполноценности. «Серьезность,—говорит он,—непреложнейший признак затрудненного обмена веществ...» (трактат третий, п. 25). На передний план выдвигается инстинкт. Что же обеспечивает его верность (Sicherheit)? На этот вопрос Ницше отвечает: «Человек должен был научиться действовать так, как солдат на учении. И действительно, эта бессознательность есть необходимое условие всякого совершенства» («Воля к власти», п. 430). Итак, автоматическое повиновение, тупая бессознательность—вот что должно заменить сознание, вот залог всяческого совершенства.

Неприглядная проза этой истины приукрашена, однако, рядом поэзии. Наряду с инстинктом выдвигается вперед искусство, наряду с лозунгом «Воля к власти» звучит пароль «Воля к красоте». Проза и поэзия, инстинкт и искусство сведены к общему знаменателю—к физиологии. В книге «Ницше против Вагнера» читаем: «И сама эстетика не что иное, как прикладная физиология» (глава «Против чего я возражаю»). В своей автобиографии «Ессе homo», в главе, прехарактерно озаглавленной: «Почему я так умен», Ницше преподает «духовным натурам» такие «истины»: «Сытный обед переваривается легче небольшого обеда, ибо полная загрузка желудка есть первое условие хорошего пищеварения. Величину своего желудка надо знать. Не следует советовать продолжительных обедов, например, за табльдотом. Никаких ужинов, никакого кофе: кофе омрачает. Чай только утром полезен. Немного, но крепкий; если он на один градус

слабее нужного, человек болен целый день» и т. д. Отождествляя мораль с пищеварением, Ницше называет эти диатические предписания тезисами новой своей морали. В другой главе «Почему я пишу такие хорошие книги» он требует от читателей в качестве необходимого условия восприятия его книг: «не должно быть нервов, должен быть веселый кишечник». А в книге «По ту сторону добра и зла», в разделе «Наши добродетели», Ницше прямо утверждает: «И действительно, ум более всего походит на желудок» (п. 230).

Так завершается круг: вместо разума на передний план выступает... веселый кишечник. Ницше наперед отказывается от диалектики — этим оружием он не в силах доказать нужные ему истины. Тем самым он, против своего желания, как бы признает умственное превосходство угнетенных классов над классами господствующими, «благородство» которых он столь ревностно отстаивает.

Умственного превосходства трудящихся Ницше опасался еще во время работы над первой своей книгой и представил его в демонизированном образе теоретического «вождя черни» — Сократа. Ницше тревожила мысль, что эта чернь овладеет наукой, «сократируется», и тогда «благородных» ждет неминуемая гибель. Еще в одной из ранних своих работ — «Философия в затруднении» (1873) — он писал: «Больше всего надо опасаться, как бы современное образование не заразило неученые классы... Как только рабочее сословие поймет, что оно может легко обогнать нас в деле образованности и добродетели, с нами будет покончено» (п. 2). Мысль о том, что диалектика служит классам, отводящим свои права, Ницше высказал в книге «Воля к власти», над которой работал в 1884—1888 гг., и в «Помрачении кумиров», написанной тоже в 1888 г. Во все периоды своего философствования он ясно сознавал, что логическим путем невозможно ни доказать справедливость эксплуатации, ни обосновать привилегированное положение «благородных». В их интересах он вынужден перенести бой в иную плоскость — в сферу темных инстинктов, в область искусства, которое рассматривает, как прикладную физиологию, и в котором, по его словам, «получает свое освящение именно ложь, а воля к обману имеет на своей

стороне чистую совесть...» («Генеалогия морали», трактат третий, п. 25).

В свое время Кант своей философией непознаваемости мира хотел ограничить область человеческого знания так, чтобы оставить место для веры бога. Ницше задумал повторить это опыты другими средствами — не анализом, а прорицаниями, и с другой целью: чтобы оставить место не богу в небесах, а господству «благородных» на земле.

Одна из мелких работ Ницше раннего периода (1873), «Философ», имеет такой подзаголовок: «Очерки борьбы искусства и познания». Здесь Ницше утверждал, что философ трагического познания (каковым он считал самого себя) призван обуздать разнузданную жажду знания и вернуть права искусству. В разделе «Апология искусства» он писал, что надо уметь довольствоваться художественным воззрением на мир: построить культуру на фундаменте науки невозможно, — это стало уже «очевидным». Обуздание науки может-де произойти теперь только посредством искусства. Его огромная задача по Ницше, состоит в том, что оно должно пересоздать все сызнова и этим новым породить жизнь.

На протяжении всех лет своей творческой работы, во всех своих книгах Ницше вел неустанную, никогда не затухавшую борьбу с Сократом. «Древние философы, — писал он в «Воле к власти», — были последовательны, исходя из своей ложной предпосылки, что сознательность есть высокое, высшее состояние, что она — необходимое условие совершенства — между тем как справедливо как раз обратное» (п. 434). Убить в людях сознательность — вот чем состоял пафос Ницше. Сократа он называет «мещанином с головы до ног». Платона — «Калиостро в большом масштабе»; еще бы, ведь и Платон грешил диалектикой, нарушил правила хорошего вкуса, проповедывал «нравственный фанатизм». Есть ли в свете преступления более тяжкие? «Моральная философия — это скабресный период в истории духа», — выкрикивал в раздражении Ницше (там же, п. 428).

То ли дело софисты! Их культура целиком выросла на почве греческих инстинктов. «Софисты были греками: Сократ и Платон, ставшие на сторону добродетели и справедливости, были удеями или не знаю чем» (там же, п. 429). Знаменитое уравнение Сократа: разум = добродетели = счастье вы-

вало у Ницше чувство ярости. Всю свою жизнь он искал формулу, которую можно было бы противопоставить этому уравнению, и, наконец, нашел упоминавшуюся уже «редукцию морали к эстетике». Позже, во время работы над «Волей к власти», он нашел и другую краткую формулу: «Натурализация морали». Моральные ценности он полностью заменил ценностями «натуралистическими» (п. 462). В первом случае мораль сведена к эстетике, во втором — к инстинкту, к физиологии, но и в первом и во втором случае задает тон, решает дело в конечном счете субъективность человека, — будь то субъективность его художественного вкуса или субъективность его общей психо-физической организации. Тут Ницше целиком совпадает со столь излюбленными им софистами древней Эллады.

На место сократовской диалектики он поставил эстетику, на место разума — инстинкт — под общим верховенством личной причуды, каприза, вкусовщины. При такой установке приводить доводы излишне, — достаточно просто повелевать и проявлять хороший вкус. «Настоящие философы, — писал Ницше, — это повелители и законодатели. Они говорят: «так должно быть!» Они определяют «куда!» и «зачем?»... Их «познание» есть «творчество», их творчество — законодательство, их воля к истине есть воля к власти» («По ту сторону...», п. 211).

Это предопределяло и метод философствования, и манеру письма, и самый литературный стиль Ницше. Стилю он придавал исключительное значение. Могло ли это быть иначе, ведь стиль был для него эрзацем диалектики, главным оружием, на которое он мог опереться, «повелевая» и «законодательствуя». О Сократе Ницше говорил, что тот открыл новый вид состязания, был первым учителем фехтования в знатных афинских кругах. Но шагай в руках Сократа был силлогизм. Не хуже Платона он занимался «отвратительной, педантичной возней с понятиями». Чтоб противостоять этим «фехтовальщикам» древности, Ницше тоже должен был вооружиться шагай. И он облюбил стиль, служивший ему стилетом, постоянно тренировался в искусстве стиля, мечтал о виртуозности. Ему казалось, что в этом мастерстве он достиг наивысшей вершины и не скупился на похвалы самому себе. «До меня, — говорил он, — не знали, что можно сделать из немецкого языка, что можно

сделать из языка вообще.. я поднялся на тысячу миль над тем, что когда-либо называлось поэзией» («Ессе homo»).

Не скупился Ницше и на высказывания об искусстве стиля и о собственной своей стилистической манере. Он писал о свойствах синтаксиса, о законах периода, об отличии периода у греков от периода в языке современных европейцев; писал о том, что внутренняя напряженность пафоса выражается в литературе посредством знаков и определенного темпа этих знаков, соответствующий жесту в ораторской речи, о нюансах языка, о ритме, интонациях и т. д. Его замечания о формах стиля порою метки и остроумны. Однако предмет философии — не художественный образ, а чистая мысль. Ницше не без самохвальства рассказывает нам, как он работает над языком, какими средствами выразительности доносит до читателя внутреннюю напряженность своего пафоса, но совершенно умалчивает о том, что же он проделывает с самой мыслью, с понятием. Между тем в области философии — главное именно это. Что же тут происходит?

2. Искусство маскировки

Писания Ницше кишат противоречиями. Ловить его на этом по меньшей мере наивно. Для Ницше показательно вовсе не то, что он допускает противоречия, и у него поэтому не сходятся концы с концами. Нет, не в этом дело. Показательно и интересно, что он работает на противоречиях, использует их, и тем достигает иллюзии убедительности для неискущенного ума.

Приведу только один пример: отношение к истине. Без тени улыбки Ницше говорит: «Мы принципиально склонны утверждать, что самые ложные суждения... для нас самые необходимые» («По ту сторону...», п. 4). «Ведь это не более, как нравственный предрассудок, будто истина имеет более цены, чем иллюзия» (там же, п. 34). В разделе «Критика философии» своей книги «Воля к власти» Ницше вновь возвращается к той же теме. Несколько кратчайших высказываний с исчерпывающей ясностью обрисовывают его позицию. В п. 451 он говорит: «Как будто существует «истина», к которой можно было бы так или иначе приблизиться!» В п. 452: «Истина»... пагубнее заблуждения и незнания...» В п. 455: «...вязатая сама по себе истина могла быть весьма мучительной, вредной, роковой...»

Для чего познавать, не лучше ли заблуждаться?.. Желали всегда веры, а не истины...» В п. 461: «Упраздним же этот «истинный мир»... Сколько таких же декретов, «повелений», написанных тоном «законодательства», опубликовано Ницше и в «Генеалогии морали», и в «Помрачении кумиров», и в других его книгах!

Но зачеркивая одной рукой понятие истины, Ницше второй рукой восстанавливает это понятие, использует его там, где это ему нужно. Так, в «Помрачении кумиров» мы находим «декрет» Ницше совсем иного рода, к стати весьма злободневный сегодня, — его мог бы издать фашистский военный врач, начальник «Гросслазарета»: «Обязанность врачей. — Большой — паразит общества. В известных случаях становится неприличным продолжать свое существование... На ответственность врача должно быть возложено решение во всех случаях, где затронуты высшие интересы восходящей жизни, где ей грозит беспощадный натиск вырождающейся жизни, так, например, от него должно исходить право на рождение, право на жизнь... истинная, то есть физиологическая оценка» («Очерки несвоевременного», п. 36). Когда нужно оправдать убийство больного или кастрацию «неполноценного» человека, Ницше взывает к тому самому понятию истины, которое наотрез отвергал, когда дело шло о прогрессе, добре, гуманности.

Вот несколько образцов положительных утверждаемых им «истин»: «Если ты появился на свет бедняком, от родителей, которые во всем только расточали и ничего не скопили, то ты «неисправим», это значит — созрел для каторжных работ и дома умалишенных...» («Воля к власти», п. 334). «По крайней мере известной породе человека (народу, расе), повидимому, наступает конец, как только она проявляет терпимость, как только она начинает признавать за другими равные права и перестает стремиться к господству» (там же, п. 354). «...Нужно отрешиться от суда, заставляющего нас отречься от наших естественных инстинктов и замалчивать их» (там же, п. 327). О каких «естественных инстинктах» идет здесь речь, ясно из предыдущего: заточать бедняка в тюрьму или сумасшедший дом, обрушивать войной на мирные народы.

Понятием истины Ницше оперирует двояко: один раз — подрывая ее в порядке своих «обратных оценок», дру-

гой раз — утверждая ее для нужных ему целей. В этом случае он использует ту, казалось бы, нежелательную ему инерцию положительного отношения к истине, которое живо в сознании его читателя. Это не просто противоречие, это работа при помощи противоречия, утилизация двойственной природы понятия.

Ту же своеобразную гибкость (по сути своей софистскую) проявляет Ницше и в отношении истории, морали и т. д. С одной стороны, он отрицает какую-либо закономерность в истории. С другой — он пытается обосновать собственные свои реакционные домыслы примерами из истории. «Имморалист» с одной стороны, он выступает с другой как проповедник морали, хотя бы то была мораль... веселого кишечника. Ницше сам говорит о себе, что он декадент и одновременно — противоположность декадента.

Вот эта-то субъективная гибкость понятий составляет на самом деле суть его стиля как философа.

Классически ясную и точную характеристику такого рода мышления, его принципиальное отличие от диалектики Ленин очертил в немногих словах: «Всесторонняя, универсальная гибкость понятий, гибкость, доходящая до тождества противоположностей, — вот в чем суть. Эта гибкость, примененная субъективно = эклектике и софистике. Гибкость, примененная объективно, т. е. отражающая всесторонность материального процесса и единство его, есть диалектика, есть правильное отражение вечного развития мира» (В. И. Ленин, «Философские тетради», стр. 110).

Софистскую гибкость понятий Ницше довел до виртуозности. Это и есть главное оружие, которое он противопоставил оружию диалектики. Стиль играл только подсобную, хотя и немаловажную роль. Субъективизм оценок, порочный в плане философского мышления, никогда не выступал у Ницше голо, а неизменно в поэтическом наряде. Бездоказательная отсебятина, совершенно произвольные суждения выступали в эмоциональной окраске, звучали, как исповедь затаенной души, как откровения высокой лирики.

Начиная с первой своей книги, Ницше утверждал, что невозможно никакое действие вне покрова иллюзии. И собственное свое философское деяние он вершил тем же способом. Можно ли найти покров более пленительный, бо-

ле обольстительный, чем волшебная
делена искусства! В нее философ и
драпировался.

«Воля к красоте» Ницше, его эсте-
тика полностью соответствовали такой
маскировке. Не правдивое отражение
жизни, а приукрашивание ее, идеализа-
цию он считал призванием художника.
От художника он требовал раскрытия
в искусстве своей субъективности. Вот
выразительная формула: «в искусстве
человек наслаждается самим собой,
как совершенством» («Помрачение ку-
миров», «Очерки несвоевременного»,
п. 9).

Такой взгляд на искусство, то исклю-
чительное, выдающееся значение, како-
е Ницше приписывает ему (обуздание
науки посредством искусства, пересо-
здание культуры и т. д.), весьма импо-
нировали буржуазной художественной
интеллигенции, особенно декадентскому
ее крылу. Здесь люди были склонны
принимать свою цеховую ограничен-
ность за особое жреческое призвание и
всякое максималистское высказывание в
этом духе горячо приветствовали. Эсте-
тические оценки Ницше произведений
мировой художественной литературы и
музыки, подчас довольно тонкие, неко-
торые его мысли о стиле, языке,
художественной форме, собственная его
философско-поэтическая практика, espe-
циально «Заратустра», привлекли к нему
симпатии значительного круга писателей
в разных странах.

Благодаря «редукции морали к эсте-
тике», подмене общественных вопросов
вопросами художественного вкуса, бла-
годаря обольщению искусством, пропо-
ведь Ницше воспринималась не в пря-
мом своем смысле, а как некое поэти-
ческое иносказание. Немало этому спо-
собствовала излюбленная Ницше афори-
стическая форма — самой популярной
его книгой был «Заратустра». Эта форма
при всей своей выразительности и
остроте скорее намечает пунктир ав-
торской мысли, чем дает ее действи-
тельно полное раскрытие. Тут мысль
развивается не в порядке последова-
тельного силлогизма, а с пропусками
логических звеньев, прихотливыми скач-
ками. Такая форма позволяла Ницше
выступать с апломбом открывателя но-
вой религии, вещать свои «истины» с
библейским величием, — короче, «повеле-
вать» и «законодательствовать». Но вме-
сте с тем читателю открывалась ши-
рокая возможность истолковывать текст
по-своему, включать обрывки ницшеан-
ских «истин» в такие ассоциативные

связи, которые были достаточно далеки
от автора, а порою и вовсе ему чужды.

Так, многие читатели понимали про-
поведуемый Ницше аристократизм толь-
ко в духовном смысле, а не в социаль-
ном. Злобные филиппики Ницше против
демократии, плебса, «стада» воспринима-
лись единственно, как протест тонкого
ценителя искусств против опошления
и вульгаризации. Крайний субъективизм
суждений Ницше казался проявлением
философского индивидуализма, а про-
рочества о грядущем сверхчеловеке —
мечтою об умственном и нравственном
совершенствовании человеческого рода.
Борьба Ницше против христианства (его
книги «Антихрист», «Генеалогия морали»
и др.) расценивалась, как атеистическое
свободомыслие автора. Обличения лице-
мерия и тартюфства обывателей и мел-
ких буржуа чудились принципиальной
критикой чуть ли не самих основ бур-
жуазного общества. При этом вовсе
упускалось из виду, что свой обстрел
Ницше ведет с позиций господствующих
классов, с позиций «благородных»
аристократов и финансовых магнатов.
Служебную роль своей идеологии Ниц-
ше ясно предчувствовал: «Мы, и м о р а л и с т ы, — писал он — теперь гла в н а я с и л а: другие великие власти н у ж д а ю т с я в н а с... Мы строим мир по п о д о б и ю своему» («Воля к власти», п. 116).
Осуждал Ницше и политику Бисмарка,
что приводило в восторг некоторых его
почитателей в среде буржуазно-либе-
ральной интеллигенции. Они вовсе не
замечали, что это — критика справа, что
осуждает Ницше Бисмарка не за его
реакционную, юнкерскую политику, а
за его уступки «духу времени» и боль-
ше всего за то, что он согласился на
введение всеобщего избирательного
права.

Софистская манера Ницше с ее
субъективной гибкостью понятий, под-
мена логических категорий художе-
ственными образами с их расплывча-
той многомысленностью были по сути
дела своеобразной формой демагогии,
рассчитанной, главным образом, на ин-
теллигенцию. Ее пленяло самое сочета-
ние философии с поэзией. Красноречие
гипнотизировало читателя, а смутность
очертаний ницшевских понятий позво-
ляла ему строить свои собственные до-
мыслы, подчас самые неожиданные и
противоречивые. С кем только не объ-
единяли Ницше! Не было недостатка в
охотниках сочетать его с Достоевским,
Львом Толстым и даже... Марксом.
Многие видели в нем смелого нова-

тора, фигуру, чуть ли не революционную.

Наибольшей силы его влияние на буржуазную интеллигенцию достигло в начале нынешнего века, и оно простерлось на писателей разных стран. В ту пору Европа была еще далека от фашизма, и практическая, политическая суть реакционной и человеконенавистнической проповеди Ницше не была злободневной. На ней вовсе не фиксировали внимания, она терялась между строк,— вычитывали иное, истолковывали по-иному. Если же кто и замечал резкость выпадов Ницше против демократии и социализма, то на это смотрели, как на простое «чужачество гения», как на крайность, проистекающую от одной только необузданности его темперамента.

Сколько раз объявлял себя Ницше врагом политики! Разве не вводили в заблуждение такие его строки: «Все периоды процветания культуры являются в то же время эпохами политического упадка: то, что считается великим в истории культуры, никогда не соответствовало политике, было даже «антиполитичным»» («Помрачение кумиров», глава «Чего недостает немцам», п. 4). Этот, с позволения сказать, «закон» обратной пропорциональности в развитии культуры и государственности,— не производил ли он в устах «эстета» и «поборника искусств» такого впечатления, будто интересы политики чужды и даже враждебны Ницше?

Правда, позже в книге «Воля к власти» он писал противоположное, но эта книга была гораздо менее популярна. Вот что он писал в самом «зрелом» своем труде, который назвал в предисловии «евангелием будущего»:

«Мы выдвигаем на первый план наше случайное положение в свете (как Гёте, Стендаль), внешние события нашей жизни и подчеркиваем их, чтобы ввести в обман относительно наших задних планов. Сами мы выжидаем и остерегаемся связывать с этими обстоятельствами нашу душу. Они служат нам временным пристанищем и кровом, в которых нуждаются и которые приемлют странники,— мы остерегаемся в них приживаться... Вся наша сила тратится на развитие силы воли,— искусства, позволяющего нам носить маски, искусства разумения по ту сторону аффектов (также мыслить «сверхевропейски» до поры до времени).

Приготовление к тому, чтобы стать законодателями будущего, владыками

земли; по меньшей мере, чтобы эти стали наши дети. Принципиальное внимание, обращенное на браки» (п. 132).

Тут речь тоже идет об искусстве, но совсем другом,— об искусстве носить «культурные» маски и готовиться к завоеванию мира.

Или дальше, в следующем пункте: «Двадцатый век... я не боюсь кое-что предсказать и таким образом быть может, подать повод к появлению призрака войны» (п. 133).

Такого рода высказывания и предсказания в прошлом обычно либо не доходили до читателя, либо опускались им. Только привычкой, сохранившейся от прошлого, считать Ницше не тем, что он есть на самом деле, только инерцией можно объяснить тот факт, что даже накануне нынешней войны тексты Ницше не были прочитаны по настоящему, в их подлинном смысле. Вот чем объясняется выступление д-ра Иоганна Шмидта в 1938 г. с традиционной в прошлом трактовкой Ницше. Тогда, в 1938 г., в немецком антифашистском журнале «Цейтшрифт фюр Фреифоршунг», издававшемся свободной немецкой высшей школой в Париже, был опубликован сделанный в этой же школе программный доклад д-ра Иоганна Шмидта на тему: «Национал-социалистская наука и задачи свободного немецкого исследования». Задачу свободно немецкой науки докладчик, в числе прочего, видел в том, чтобы «защитить духовное и политическое наследие немецкого народа от национал-социалистской эксплуатации». И он полагал, что «уступить» Ницше фашистам не следует, ибо это значило бы «действовать против исторической традиции». Сегодня, 1945 г., яснее, чем раньше, видно, как вводил Ницше в обман многих читателей разных национальностей путаною противоречивостью своих пророчаний своей софистикой, своей «редукцией». В плену этого обмана остались многие еще с дофашистских времен.

Но пришло время прочитать Ницше по-новому. Когда займешься этим чтением сегодня, то при свете фашистских пожаров выступят вперед те места Ницше, которые раньше вовсе не привлекали к себе внимания или могли казаться чем-то «невинным», политически нейтральным. По-новому осмыслится характер учения философа, и сама его личность.

3. Апология паразитизма

Писательская деятельность Ницше развернулась в годы, когда Германия

после победоносной франко-прусской войны и своего национального объединения быстрыми темпами наверстывала свое бывшее отставание в капиталистическом развитии. Французское золото, обильно притекавшее в Германию, как дань победителю, питало немецкое грюндерство. Захват Эльзаса и Лотарингии, сочетание рурского угля с лотарингской железной рудой создали прочную базу для промышленного роста. Германия завоевывала все новые позиции в мировой торговле, обогнала Великобританию и заняла первое место по экспорту. На всех парах Германия неслась навстречу той империалистской стадии капитализма, которая характеризуется господством монополий и финансового капитала. Хозяйство Германии наряду с юнкерством становилась финансовая олигархия.

Сущность и направление этого экономического процесса, конечно, вовсе не понимал Ницше, невежественный в вопросах экономики и совершенно чуждый им. Когда он говорит, что народные массы — лишь средства или препятствия, или копии, «а в остальном — побори их чорт и статистика!» — то в этой фразе характерным образом проявилась нелюбовь Ницше одновременно и к народу и к политэкономии. Для него статистика такая же чертовщина, как и народ и его исторические деяния. Но Ницше, как философ с резко выраженными классовыми симпатиями и антипатиями, с обостренным чутьем к явлениям идеологии, концами пальцев, щупальцами нервов чувствовал какое-то большое несоответствие между становлением новой империалистской эпохи и той старой буржуазной идеологией, которая была традиционно связана с идеями Просвещения.

Это было время, когда рабочий класс, по словам Ленина, (см. статью «Август Бебель») уже выделился из общей массы мелкобуржуазного «народа», отделился от мелкобуржуазной демократии и выступил на самостоятельный исторический путь, когда «объединенная по-бисмарковски, обновленная по-прусски и по-юнкерски, Германия ответила на успехи рабочей партии исключительным законом против социалистов» (т. XVI, стр. 548). Немецкая крупная буржуазия, сроднившаяся с юнкерством, заняла воинствующую позицию против рабочего класса. Окрыленная военными победами и успехами своей промышленности, она стала уже исподволь готовиться к за-

воеванию гегемонии в Европе, к будущей мировой войне. Повсюду давала себя чувствовать агрессивность подрастающего германского империализма, и это неизбежно должно было найти свое отражение в идеологии.

Энгельс в «Анти-Дюринге» писал: «Три основных класса современного общества — феодальная аристократия, буржуазия и пролетариат — имеют каждый свою особенную мораль» (т. XIV, стр. 93). Но очевидно, что мораль буржуазии не есть какая-то постоянная, всегда сама себе равная величина. Был период, когда юная буржуазия под прессом феодальной аристократии не могла еще окончательно отделиться от общей массы мелкобуржуазного «народа» и совместно с ним вела борьбу против феодализма за свободу (раньше всего за свободу торговли) и национально-государственное объединение. С тех пор до выступлений Ницше сменялось уже много весен и зим. Произошли решающие сдвиги и в структуре хозяйства, и в государственном устройстве. В среде самой буржуазии командующее положение заняла кучка трестовиков-монополистов, образовалась финансовая плутократия. Переход капитализма в империалистскую, паразитическую стадию требовал соответственной перестройки и в системе моральных взглядов.

К тому времени буржуазная философия измелъчала. Вместо прежних властителей умов появились новые кумиры — карлики и ничтожества. Сам Ницше упоминает о «двух берлинских львах» — о Дюринге и Гартмане. Лучшее от прошлого унаследовал пролетариат. Все прогрессивное в прошлой культуре не могло служить опорой для идеологии такого хищнического слоя, как финансовая олигархия. В этом — действительная причина пресловутой «переоценки ценностей», произведенной Ницше.

Ницше безудержно отрицал и критиковал, рубил направо и налево. Людям, не додумавшим до конца действительную суть этой кавалерийской рубки, может казаться, будто Ницше и впрямь занимался «романтической критикой буржуазной культуры». Этого вовсе не было. Он отрицал религию не потому, что она «опиум народа», а потому, что ее одурманивающее действие казалось ему недостаточно сильным. Подобно этому, он порицал и все прошлые идеологии, поскольку они проявляли, как ему казалось, недостаточную

активность в защите олигархии; из прошлого он любовно отбирал и сохранял только реакционные начала. Именно эта мысль заключена в самом заглавии его напумевшей книги: «Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей».

Это значит: воля к власти суших, а особенно будущих «повелителей и тиранов» так сильна, что она не может больше довольствоваться прежними ценностями и переоценивает их в интересах своего неограниченного и самодержавного утверждения.

Нарождавшейся в конце прошлого века плутократии Ницше и поставлял идеологию. Его «переоценка ценностей» — не что иное, как идеологическое перевооружение. Это требовало раньше всего «расчистки». Он расстреливал одну за другой культурные ценности прошлого, поскольку они становились на дороге духу империалистской, разбойничьей агрессии. И он «осваивал» из культурного наследия прошлого все то, что хотя бы косвенно могло служить эксплуататорской агрессивности новых хозяев.

Уяснив себе это, мы можем вернуться к тому крылатому слову Ницше, о котором упоминали вначале: «Редукция морали к эстетике». Подмена нравственного чувства разговорами о красоте и «хорошем вкусе» — только внешний прием. Действительная суть проповедей Ницше состоит в оправдании самой хищнической и зверской эксплуатации, в восхвалении международного насилия и разбоя. Это не отказ от морали вообще, — зря Ницше называл себя «имморалистом». Нет, это утверждение новой морали нового слоя эксплуататорского общества — финансовой олигархии. И если бы надо было выразить краткий смысл долгих умствований Ницше в двух словах, то они звучали бы так:

«Апология паразитизма».

Под покровом острых и пряных словечек, в обрамлении декадентской красоты Ницше пытался дать идейно-моральное обоснование монополистского господства горстки «повелителей» над миром. Его идеалом была именно паразитическая форма этого господства. Солью земли он считал знать, то есть тех, кто не хочет работы знать, — тех, «профессией которых, — по слову Ленина, — является праздность» («Империализм, как высшая стадия капитализма», т. XIX, стр. 152).

Ницше опасался, что выходявшая на авансцену истории плутократия будет

себя чувствовать в новых условиях не в своей тарелке, или, плененная «предрассудками» прошлого, будет испытывать угрызения совести, или не проявит достаточно решимости и жестокости. Предостережь плутократию от этой опасности, воспитать и закалять в «новом духе» он и считал высшим своим призванием. «Если, — говорил он, — аристократия с величественным пренебрежением отбрасывает свои привилегии и приносит себя в жертву крайностям своего нравственного чувства, как это было во Франции при начале революции, то это есть один из видов разложения... Сущность же здоровой аристократии заключается именно в том, что она чувствует себя не чьей-либо функцией... а смыслом и наилучшим оправданием существующего строя, — принимая на этом основании со спокойной совестью жертвы сотен людей, которые ради нее низводятся на ступень существ, не живущих полной жизнью, рабов, орудий. Основное верование ее должно заключаться в том, что общество может и должно существовать не ради самого себя, а лишь как фундамент, подмости, по которым избранный род существ, призванных для воплощения высших задач, мог бы подняться до истинного, всестороннего существования» («По ту сторону...», п. 258).

Этих «избранных» тунсадиев Ницше сравнивает с ползучим растением *Sire Madador*, которое водится на Яве. Своими побегами оно охватывает дуб и, опираясь на него, тянется ввысь до тех пор, пока не перекроет его крону и на вершине не вырвется навстречу солнцу. Этот поэтический образ натянут и фальшив. Всякому ясно, что сюда больше подходит сравнение сползучим растением-паразитом, высасывающим из дерева его соки.

Сравнения и поэтические метафоры у Ницше скользки и сбивчивы, порою нарочито. То он говорит о «черни снизу и черни сверху», то он обрушивается с деланным негодованием на выскочек, пробравшихся наверх благодаря деньгам, то он славословит родовитую юнкерскую знать, как бы в противовес денежному мешку. У неискушенного читателя может сложиться впечатление, будто Ницше занимает «высшую» надклассовую позицию, ратует за одну лишь «аристократию духа» и пренебрежительно относится к прозе материального мира. Отчасти это и дает повод для разговоров о ницшевской якобы романтической критике буржу-

азной культуры. На самом деле, однако, такого рода «критические» фразы, встречающиеся у Ницше то тут, то там, не меняют основной и действительной направленности его проповеди: апологии паразитизма.

«Твердо помните всегда,— поучает он,— что весь этот огромный труд, весь этот пот, пыль и рабочий шум цивилизации поднят для тех, которые сумеют использовать все это, не принимая участия в самой работе; что должны существовать излишние, которые поддерживают свое существование на счет общего излишка работы, и что эти излишние люди представляют смысл и апологию всей возни» (Посмертные сочинения периода «Веселой науки», 1881/82, п. 439). В другом месте, в книге «По ту сторону добра и зла», он говорит: «Жизнь по существу своему есть присвоение, нанесение вреда, насилие над чуждым, над более слабым, подавление, жестокость, навязывание собственных форм, воплощение и в самом лучшем, самом мягком случае — эксплуатация» (п. 259).

Тут уж сомневаться более невозможно: речь идет о присвоении не инносказательном, а самом реальном, об эксплуатации не только духовной, но и раньше всего материальной.

На всем протяжении истории, по мнению Ницше, повторяются два типа морали: мораль господ и мораль рабов. Только первый из двух этих типов благороден, дает полноту могущества, исполнен волей к власти, а стало быть, и волей к жизни. Основной принцип морали господ состоит в том, «что человек имеет обязанности только по отношению к равным себе, что по отношению к существам более низкого ранга, по отношению ко всему чуждому, можно поступать по благоусмотрению» (там же, п. 260). Ницше целиком на стороне этой морали, ей, как он думает, принадлежит будущее. А мораль рабов, проникнутая состраданием к задавленным и угнетенным, подстрекающая массы на бунт, вызывает со стороны философа самое резкое порицание, насмешки, издевательства и... базарную ругань.

Народ для Ницше — это «бесчисленная сволочь людская», «сброд», «чернь», «стадо», «стадное животное», наделенное одними лишь «стадными инстинктами», «бараны», рабы «с грязными руками». Он понимает, что эта зоологическая ненависть к народной массе, что эти действительно грязные слова

будут поставлены ему в вину, и отвечает: «Что же делать? Мы не можем иначе: в этом и заключается наша новая точка зрения» (там же, п. 202). Он говорит о народе с ненавистью и высокомерием, с отвращением и презрением. Он не может сидеть за одним столом с людьми из народа: это вызывает в нем «опасную диспепсию» и... послеобеденную тошноту. («По ту сторону...», п. 282). «Я не хочу,— вещает Заратустра,— жить и быть там, где каждый плюет и плюется: таков вкус мой,— я предпочел бы жить среди воров и клятвонарушителей. Никто не носит золота во рту». Награбленное золото не пахнет. Оно не оскорбляет совести, не раздражает обоняния утонченного эстета. Иное дело народ. «Там, где толпа пьет и ест,— говорит Ницше,— даже там, где она поклоняется,— там обыкновенно воняет». К чему бы ни прикоснулась рука народа, все это кажется ему оскверненным: «Книги, которые читает всякий,— это всегда скверно пахнущие книги: к ним прилипает запах мелкого люда» («По ту сторону...», п. 30).

Ницше испытывает удушье от того, что ему приходится жить посреди «плебейской эпохи»; его раздражают малейшие проявления демократии. Он томится «под нашим тяжелым, туманным небом возникающего господства черни, под которым все становится непроницаемым и свинцовым» (там же, п. 287). Человеконенавистничество возведено в культ. Ненависть мутит разум «эстета». Он впадает в истерику не хуже Гитлера и визжит от злости.

Душно и темно Ницше под свинцовым небом «плебейского времени». Как же осветить небо лучами солнца, как просветлить горизонты? Для этого есть только одно средство: затемнение народа. Ницше опасается, «как бы современное образование не заразило неученые классы»... Крайне недоволен он «поблжками», какие дали рабочему. «Ему дали,— сетует он,— право коалиции, политическое право голоса; что же удивительного, если рабочий ныне уже ощущает свое существование как бедственное (с моральной точки зрения — как несправедливое)?.. Если хотят цели, то следует желать и средств; если хотя бы иметь рабов, то глупо воспитывать их как господ» («Помрачение кумиров» п. 40). Надо поставить дело так, «чтобы здесь образовалось сословие особогс рода людей, покорных и довольных своей судьбой,— типа китайцев». И пусть

над этими «китайцами» безраздельно властвуют «могучие натуры», — вот когда будет не жизнь, а масленица! В другом месте Ницше пишет коротко и выразительно: «Рабочему населению нужны хорошие дома терпимости» («Веселая наука», п. 398).

Два заместителя просвещения припасены у Ницше для «китайцев»: дома терпимости и... церкви. Да, церкви. Хотя «антихрист» Ницше в принципе против религии, но что для него принцип, когда дело идет о самом драгоценном, о святая святых — о привилегиях паразитов? «Обыкновенным людям, большинству, — поясняет он, — тем, кто существует для служения и лишь поэтому имеет право на существование, религия дает неоценимое чувство довольства своим положением... чувство послушания... и оправдывает всю обыденную жизнь, всю низменность, всю полуживотную нищету их души» («По ту сторону...» п. 61).

Тут Ницше, предвестник и предшественник фашизма, выступает с циничной открытостью крепостника-реакционера. Та классовая правда, которую гитлеровцам приходилось прикрывать демагогией (они имели наглость называть себя «рабочей» партией и даже «социалистической»), — то высказано было Ницше с полной прямо-
той.

Самыми мрачными красками изображает он будущее торжество социализма и прибавляет: «Оно ведь возможно, несомненно возможно! Кто хоть раз продумал эту возможность до конца, тот пережил одним отращением больше, чем другие люди, и познал, быть может, и новые обязанности!» (там же, п. 203). Если вы последуете за Ницше и поинтересуетесь, какие же бедствия несет с собой на самом деле социализм, то философ мистическим шопотом поделится с вами: исчезнут понятия «господин» и «слуга», социализм — это «противодействие всякому особому притязанию, всяким особым правам и привилегиям» (там же, п. 202). Грозит невыносимое, чудовищное, отвратительное: господа перестанут быть господами, они лишатся своих слуг, исчезнут привилегии.

Весь пафос Ницше, его слова о любви к жизни и любви к красоте раскрываются как любовь к привилегиям и тупеядству господствующих классов. Эти привилегии он готов защищать топором палача и любими жестокостями. Он спрашивает: «На что возложить

нам надежды наши?» И отвечает: «И умы достаточно сильные и самородны чтобы дать толчок к обратным оценкам к переоцениванию «вечных ценностей» на предтечей и людей будущего, зазывающих в настоящем узел, который на целые тысячелетия толкнет волю человека на новые пути» (там же, п. 203). Себя самого Ницше относит к этим умам, себя самого чувствует предтечей будущих тиранов. И совершенно прав был Виндельбанд, когда писал о Ницше: «Это первый профессор, который охотно обратился бы в необузданного тирана».

Как же справиться с «тидрой реаклюции»? Выход Ницше видит только в одном: в «отважных опытах воспитания и обуздания». О таких «опытах» в прошлом Ницше рассказывает с неожиданной для него обстоятельностью в трактате втором «Генеалогии морали». Человек массы по своей природе забывчив, в его памяти прочно удерживается только то, что не перестает болеть. Но он не смеет забывать и выходить за рамки, указанные ему повелителями, он должен крепко помнить запреты, иначе не образумится. Надо, стало быть, вкалывать ему в память эти запреты каленым железом, пока он не даст клятвенного обета: «больше не буду». Пять-шесть таких «больше не буду» — и цель достигнута. На изящном языке философа эста это называется «мнемотехникой».

Не без удовольствия вспоминает Ницше о былой жестокости карательных законов, благодаря которой была преодолена забывчивость плембеев и удалось сохранить в их постоянной памяти несколько важнейших запретов. «Мы, немцы, — говорит он, — конечно, не считаем себя особенно жестокими и бессердечными народом... А между тем стоит только рассмотреть наши старые уложения о наказаниях, чтобы убедиться, сколько потребовалось на земле усилий для того, чтобы выдрессировать «народ мыслителей»... Стоит вспомнить только старые немецкие наказания, например, побивание камнями... колесование (собственное изобретение и специальность немецкого гения в области наказания и), убивание дубинками с расстояния¹, разрывание или растаптыва-

¹ Казнь состояла в том, что жертву привязывали к месту и с расстояния обстреливали, как живую мишень палками, дубинками или кольями.

ние лошадами, ...варка преступника в масле или в вине (еще в XIV и XV веках), излюбленное сдирание кожи («вырезывание ремней»), вырезывание мяса из груди. Преступника обмазывали также медом и предоставляли мухам под пальцам солнцем» (п. 3).

Колесование—это мучительная казнь, при которой палач посредством колеса ломает своей жертве кости. И Ницше хвалится тем, что это мучительство и есть изобретение и специальность немцев, даже больше того — «немецкого гения!» Он подробно перечисляет и любовно смакует все виды казни и, чтоб не оставить места никаким колебаниям, добавляет дальше: «Я утверждаю, что в те времена, когда человечество еще не стыдилось своей жестокости, жизнь на земле была веселее...» (п. 7). К увеселению жизни при помощи свирепых казней призывает Ницше своих современников и особенно потомков. А «в утешение неженкам» он разъясняет, что восприимчивость к боли у людей низшей расы весьма незначительна: «К такому выводу вынужден был прийти врач, лечивший негров; в случаях тяжелых внутренних воспалений, доводящих почти до отчаяния европейцев, даже обладающих наилучшим организмом, — у негров этого не наблюдалось. Кривая человеческой восприимчивости к боли, по видимому, действительно падает сильно и почти сразу, когда отсчитаешь вышше десять тысяч или десять миллионов людей высшей культуры...» (там же).

Ницше взывает к немецкой традиции казней. Он перечисляет наиболее излюбленные приемы (вырезывание мяса из груди и т. д.), доказывает, что это и есть наилучшее средство обуздать рабов отечественных и особенно иноземных: они ведь не входят в число десяти миллионов людей высшей культуры и потому нечувствительны к боли, как негры. Вот что такое «отважные опыты воспитания и обуздания». Совершат эти «опыты» будущие герои белого террора, «повелители, образ которых заставит побледнеть образы кого бы то ни было из живших доселе людей» («По ту сторону...», п. 203). Это предвидение, как мы знаем, оправдалось: сквозь мглу времени Фридрих Ницше увидел своих «героев», и этими «героями» оказались Адольф Гитлер, Генрих

Гиммлер, эсэсовские мясники и живодеры из Майданека, Освенцима, Трелинки, Бабьего Яра...

Гиммлер, эсэсовские мясники и живодеры из Майданека, Освенцима, Трелинки, Бабьего Яра...

4. Это называется «второй Ренессанс»

О «втором Ренессансе» мечтал Ницше. Ренессанс, эпоха Возрождения, пробудила в передовых слоях общества интерес к литературе и искусству древней Греции и Рима. Филолог Ницше, специалист по античной культуре, стремился к другому. Он хотел унаследовать для нового времени от древней Греции ее рабовладельческий строй. После мрачного средневековья Ренессанс был прогрессивным переворотом. После европейских буржуазно-демократических революций и великих открытий Маркса Ницше хотел «второго Ренессанса», как контрреволюционного переворота.

Возрождение рабовладельческого строя — вот главная мысль Ницше у порога империалистской эпохи, вот главный завет, оставленный им Гитлеру.

Рабство, — утверждает Ницше, — есть условие всякого повышения культуры. К этому тезису он возвращается неоднократно. В его посмертных записках периода «Веселой науки» (1881—1882) мы находим такое откровение: «Новая задача: не должна ли одна часть людей в своем воспитании быть поднятой до положения высшей расы за счет всех остальных людей» (п. 237).

Ницше сосредоточил свои усилия на том, чтоб убить в сердцах человечность и возбудить жажду к тирании.

Своим «воспитанникам», будущей касте господ, Ницше внушает: «Эгоизм есть существенное свойство благородной природы». Чтоб не оставалось места ни для каких кривотолков, он поясняет: «Под эгоизмом я подразумеваю непоколебимую веру в то, что таким существам, «как мы», должны быть подчинены, должны приносить себя в жертву другие существа. Благородная душа относится к такому утверждению ее эгоизма безо всяких сомнений и не видит в этом ни жестокости, ни насилия, ни произвола...» («По ту сторону», п. 265). В «Генеалогии морали» Ницше восхваляет политически-религиозную магометанскую секту асасинов. Эта секта, действовавшая в Передней Азии во время крестовых походов, в продолжение двух столетий наводила ужас на соседей своими убийствами и жестокими расправами. Ницше приводит изречение, которое хра-

нили, как тайну, высшие чины ассасинов: «Нет ничего истинного, всё произведено». Этим разбойников он называет «свободными умами», с их изречением-символом он полностью согласен. «Вот это,—говорит он,— была свобода духа...» (Трактат третий, п. 24).

Заодно с ним Заратустра призывает воспитать в себе «долгое недоверие, ужасное отрицание, пресыщение, способность резать живое тело». В посмертных сочинениях периода «Веселой науки» Ницше писал: «Не смешно ли, что и до сих пор верят в святую, нерушимую заповедь: «не лги», «не убий» (п. 255). Заратустра откликается: «Ты не должен гробить! Ты не должен убивать!—эти слова провозглашались некогда священными: перед ними склоняли колена и головы и снимали обувь... О, братья мои, разбейте, разбейте старые скрижали!» И еще откликаются—уже не одними только словами, но и делами—заратустровы дети, эсэсовцы на фронтах мировой войны, в ближних и глубоких тылах гитлеровской Германии. Библии для них заготовлены уже давно,—библия от Ницше, библия от Заратустры, библия от Гитлера. Сверхчеловеки новейшей формации, со свастикой, с топорами палачей, с намыленными веревками следуют заветам своих пророков!

Много усилий тратил Ницше на свое черное дело: разложить гуманные чувства в самом их корне, вытравить из людей совесть, опустошить души. Он хотел уже в самом зародыше задуть сострадание,—естественное чувство, какое вызывает в свободном человеке каторжная доля раба. Он утверждал, что сохранение больных и страдающих привело к «ухудшению европейской расы», а сочувствие сделало из человека «возвышенный выродок». Обращаясь к «людям седьмого дня», то есть к людям, профессиональной которых является праздность, к «благородным» тунеядцам, он восклицает: «Понимаете ли вы, что в ваше сострадание относится к тому, что должно быть формовано, сломано, сковано, разорвано, обожжено, закалено, очищено,—к тому, что страдает по необходимости и должно страдать» («По ту сторону...», п. 225).

И если читателю еще не ясно, за какие собственно провинности должна страдать «чернь», то главную суть обвинения формулирует Заратустра. В злобном исступлении он вещает: «Жищные звери они: в их «работать» скры-

вается еще и ограбить, в их «заботать»—еще и перехитрить». Жищками названы не эксплуататоры, а эксплуатируемые, не «люди седьмого дня» а люди шести дней труда и вечной нужды. Грабежом и хитростью названа не прибавочная стоимость, в том числе и торговый барыш, а скудная зарплата рабочего. Тут все поставлено вверх ногами. Так видит мир идеолог паразитизма. К угнетенным страдающим Заратустра обращается такими словами: «Все больше и больше вас, все лучшие из вас должны погибнуть, ибо вам должно становиться все хуже и хуже».

Пролетарии уже тогда стремились к социалистическому строю, а Ницше проповедывал «второй Ренессанс», новоявленный рабовладельческий строй, ныне воплощенный в немецком фашизме. Не «образумить» рабочих хотел он, а подавить их белым террором. Все свои надежды он возлагал на «деспотизм авторитета». Со страстью одержимого он призывает к рабству, насилию, тирании. Он говорит: «Мы—люди с явной и скрытой душой, в последние намерения которых не так-то легко заглянуть, с передними и задними глазами, которые никто не осмелился бы продумать до конца... мы при случае пугала, а это в настоящее время нужно,—вот какого сорта мы люди... Может быть, и вы тоже нечто в этом роде—вы, грядущие, вы новые философы?» («По ту сторону...», п. 44).

Теперь уже весь мир знает эти «новых философов», единомышленников Ницше, которых он предвидел в грядущем—Гитлера и Геббельса, Розенберга и Боймлера. Их «духовный отец» оставил им «новые скрижали»—заповедь палачей. Он создал культ жестокой кости. Писал о ней неуёмно, с азартом, безо всякого удержу.

Из большого множества его афоризмов на эту излюбленную им тему приведу несколько наиболее характерных «То, что действует приятно и составляет мучительную сладость трагедий, и есть жестокость» («По ту сторону...», п. 229). «Много наслаждений доставляет людям жестокость: она—самое употребительное из всех удовольствий, сколько бы ни клеветали на жестокого» (Посмертные сочинения периода «Веселой науки» п. 258). «Жестокость—целительное средство для оскорбленной гордости» (там же, п. 276). «Видеть страдания—хорошо, причин-

нать страдания — еще лучше». «Без жестокости нет праздника». Плакаты с такими текстами по праву могут быть вывешены в фашистских застенках, камерах пыток, концлагерях по всей Европе. Эту мораль фашистских палачей и заплечных дел мастеров избрал для них Ницше еще в конце прошлого века. Тут ничего нового им не надо было изобретать, — они получили этот символ веры в готовом виде от своего предшественника и пророка.

Наиболее разительный «завет» оставил Ницше в своих посмертных сочинениях, в подготовительных работах к «Веселой науке». Там есть такой милый афоризм:

«Роскошь является формой беспрепятственного триумфа — над всем, что бедно, отстало, бессильно, болезненно, алчно. Человек наслаждается не только самими предметами роскоши — что триумфатору до золотых колес его колесницы и прикованных к ней рабов! — а тем, что колесница его прокладывает свой путь по бесчисленным людским телам и давит и дробит их» (там же, п. 279).

Конечно, это образ, «только» образ. Но характерны направленные поэтической мысли, художественные «детали», которые она облюбовывает.

Такой жестокости не знал рабовладельческий строй древнего времени. В годы зверского лютования гитлеровщины приобретает острую злободневность книга по истории древнего рабства, — книги, покрытые пылью веков. Греческий историк Диодор, писавший во второй половине I века до н. э., рассказывает о положении рабов в Сицилии, о множестве актов насилия, учиненных рабовладельцами, что и привело к первому сицилийскому восстанию рабов. Мы узнаем, что сицилийские рабовладельцы «благодаря обилию богатств... высасывали соки из прекрасного острова... стремились прежде всего к наслаждениям и обнаруживали высокомерие и наглость». Богатые сицилийцы «соперничали с италийцами: в высокомерии, жадности и злобе к рабам». Часть рабов заковывали в цепи, на всех накладывали клейма и тавро, как на скот, всех изнуляли непосильной тяжестью работ. Часто рабы подвергались неожиданным и унижительным наказаниям. Их оставляли без пропитания и одежды. И рабы, разъяренные, голодные, разутые и раздетые, в ред-

ких случаях прикрытые шкурами волков и кабанов, восстали.

Маркс в «Капитале» приводит такие строки из Диодора Сицилийского: «Нельзя без сострадания к их ужасной судьбе видеть этих несчастных (работающих на золотых приисках между Египтом, Эфиопией и Аравией), не имеющих возможности позаботиться хотя бы о чистоте своего тела или о прикрытии своей наготы. Ибо здесь нет места снисхождению и помощи по отношению к больным, хворым, старикам, к женской слабости. Все должны работать, принуждаемые к этому ударами бича, и только смерть кладет конец их мучениям и нужде» («Капитал», т. I, Партиздат, 1932, стр. 165—166).

Какой подлинной человечностью звучат эти слова, написанные 2000 лет назад! Диодор говорит о сострадании... Должно было пройти двадцать веков культурного развития, чтобы у кзыбели империализма явился в мир апологет грядущего рабовладения, безумец Ницше, и попытался наложить табу на сострадание.

Сопоставление Диодора и Ницше крайне поучительно. Диодор советовал рабовладельцам своего времени «относиться гуманно» к рабам. Он взывал к благоразумию и предостерегал: «Чем больше власть обращается жестоко и незаконно, тем более звереют от отчаяния и нравы подвластных. Ибо всякий униженный судьбой... лишенный подобающего человеколюбия, становится врагом своих жестоких господ». Ницше предвидит грядущее «восстание рабов», до смерти боится его, но гуманность и простое благоразумие, к которым призывал рабовладельцев своего времени Диодор, уже недоступны ему. Он одержим жестокостью, как слепой страстью. Ему нужны эксцессы, как морфинисту шприц.

В этой патологической тяге к насилию и зверству проявились столько же индивидуальные особенности Ницше, сколько и социальная особенность того паразитарного слоя общества, идеологом которого он выступал.

Ницше, как известно, был неизлечимо больной человек. Наследственный сифилитик, он страдал прогрессирующим параличом и последние годы своей жизни провел в состоянии полного отупения. В автобиографическом очерке, опубликованном его сестрой г. Ферстер-Ницше, — он рассказывает о «грустном наследстве от отца», о «роковой болезни», которая обрекла его на преж-

дверенную смерть. Болезнь наложила отпечаток на характер и нравственный облик Ницше с самых юных лет. Он вспоминает об этом так: «В возрасте, до абсурда нежном, в семь лет, я уже знал, что до меня никогда не дойдет человеческое слово, а видели меня когда-нибудь опечаленным этим?» Отец Фридриха Ницше был попом и, можно сказать, счастливо сочетал благодать своего сана с благодатью сифилиса, и маленький Фриц был волчком уже в семилетнем возрасте. Такая наследственность и такие задатки с годами развились. Свое нравственное уродство он стилизовал на декадентский лад, рисовался им. «...а видели меня когда-нибудь опечаленным этим?» — бахвалился он. Затем Ницше философски обобщил свое нравственное уродство, превратил в «новую скрижаль», которая со временем стала фундаментом «нового порядка». «Моей болезни, — писал он, — я несомненно большим обязан, чем моему здоровью. Я ей обязан всей моей философией». В другом месте он говорит: «Мы, новые, безмянные, малопонятные, мы, рано рожденные дети еще неясного грядущего, для новой цели мы нуждаемся также... в великом здоровье... мы, аргонавты идеала, опасно здоровые...» и т. д. («Веселая наука», 5-я книга, афоризм 382). Какой же здоровый человек будет с таким воодушевлением писать о великом здоровом? Кому еще, кроме как опасно больному, придет на ум эпитет «опасно здоровые»? Чем иным, как не патологией, было его садистское смакование жестокости?

Есть что-то символическое в том, что идеологом империализма, то есть капитализма на стадии паразитства и загнивания, выступил именно Ницше, исцелимый больной человек, бывший самым воплощением загнивания в плоти и костях. Его личный недуг совпал с социальным недугом плутократии. Это совпадение заострило проповедь Ницше до парадоксальной крайности, сообщило ей озорную выразительность и фальцетную звонкость.

Классовое чувство было взвинчено при помощи физиологического, вернее, патологического. Не владея собой, Ницше в припадке истерии с несдержанной капризностью больного дает исход своим симпатиям и антипатиям. Дневник безнадежно больного «аристократа» становится евангелием современной плутократии. Это было бы только за-

бавно, если бы бациллы того же зумия не заразили всей Германии, если бы фашистская Германия не захватила кровью всю Европу.

* * *

Хотя истина — такая же «отвратительная старуха», как и человечество, а история не что иное, как «комедия» и сценическое «диких случайностей», Ницше философ в некоторых случаях взыскателен к опыту истории. Воля к жизни и воля к власти, учит он, неизменно проявляются в порабощении, в жестокости и варварстве. Это, по его понятию, вечная истина истории, постоянно вершающей один и тот же круговорот. Как только возникает вопрос о будущем, Ницше непременно взывает к опыту прошлого и утверждает, что «высшей культурой» человечество обязано только рабству, только жестокости, только варварству.

Его философия истории несколько сложнее таблицы умножения. Вас интересует, как возникла любая высшая культура? Очень просто: «Варвары, в самом страшном значении этого слова, хищные люди, обладающие ненадлежащей силой воли, нападали на более слабые, благонравные, мирные расы...» («По ту сторону...», п. 257). Отсюда пошла на земле вся культура. Становитесь вновь, в XX веке, варварами, тогда вы будете культуртрегерами.

Вот философия, которая оказалась по душе Гитлеру и его эсэсовским баббитами. Она льстила им и подымала их в собственных глазах. Они совершали гнусности, на какие не решались и варвары древности, и чувствовали себя при этом насадителями «нового порядка» культуртрегерами. Так внушил им Ницше. Так говорил Заратустра.

«Я радуюсь милитаристскому развиту Европы, — писал Ницше. — В каждом из нас сидит варвар, как и дикий зверь». В своей книге «Воля к власти» он объявил милитаристическое государство последним средством сохранить традицию высокого, сильного человеческого типа. Что такое по Ницше «высший тип», мы уже хорошо знаем. Это представитель какашного господ, рабовладелец, хищный тугоден. Именно для него, как говорил Заратустра, наступили «дни, когда вся земля сотрясается». Из такого состояния есть один выход: война. «Любите мир, — вещает Заратустра, — как средство к новой войне. И короткий мир больше, чем долгий»

или в другом месте — в главе «О старых и новых скрижалях»: «О, блаженное далекое время, когда народ говорил себе: «Я хочу над народами быть господином». Ибо, братья мои: лучшее должно господствовать и лучшее хочет господствовать».

Какой же народ — «лучший» среди наций? Какой из них призван быть господином? Совершенно ясно: тот, кто больше варвар. Этим неопределимым даром владеют нации и расы чистой крови. Там, где расы скрещиваются, кровь полна тревоги, беспорядка, сомнения, душе и телу недостает равновесия и устойчивости, и наступает паралич воли. Весь этот расистский бред выдуман вовсе не Гитлером и Розенбергом, — так писал еще в прошлом веке их предшественник Ницше в своей книге «По ту сторону добра и зла».

«Паралич воли! — восклицает он. — Где не сидит теперь этот калека!.. Болезнь воли неравномерно распределена по Европе: она выказывается более сильной там, где старше культура; она исчезает по мере того, как «варвар» еще — или опять — показывается из-под плохо сидящего на нем одеяния западной цивилизации. Поэтому в современной Франции, как это понятно до очевидности, болезнь воли наиболее сильна... Сила хотеть, и хотеть всей волей, сильнее в Германии, причем в северной Германии сильнее, чем в средней...» («По ту сторону...», п. 208).

Пруссия — вот где шансы для вождя варварства выше всего. Но и тут цивилизующее влияние вредно. Кто хочет «возвыситься» до варвара, должен сбросить с себя одеяния культуры — это явствует из всего сказанного раньше. Итак, пруссаки, освободитесь от груза культуры, оголяйтесь, тогда вы еще более приблизитесь к варвару. Это нужно! Нужно потому, что варварство есть залог... высшей культуры. Примеры «комедии», называемой историей, подтверждают это. Такова «логика» варварства, идущего под флагом культурутрегерства.

Ницше восхваляет «сильный и крепко утвердившийся тип новой Германии, например, бранденбургское военное дворянство». Немецкая родина любезна сердцу философа именно прусскими, солдатскими добродетелями — тем, что она сполна овладела искусством «повелевать и повиноваться — в том и другом эта страна сделалась ныне классической». «Однако здесь, — замечает он, —

мне приходится прервать мое восхваление Германии и мою торжественную речь, ибо я почти касаюсь моей серьезной проблемы, как я ее понимаю: — воспитание новой, господствующей над Европой касты» («По ту сторону...», п. 251).

Дальше мы узнаем, какими качествами должна обладать эта новая каста, воспитание которой составляет столь серьезную и благоговейно-таинственную задачу. Оказывается, «благородная каста всегда бывала сначала варварской кастой... это были более цельные люди (что на любой ступени развития означает: более цельные звери)» (там же, п. 257). А еще до этого Ницше делится с читателем радостью, наполнившей его до краев: «Установилось новое понятие о немецком духе, в котором резко выступило влечение к мужественному скептицизму, например, в виде неустранимости взгляда... и твердости разрушающей руки» (там же, п. 209).

Можно только удивляться, как накануне нынешней войны, когда злоецкие предсказания Ницше уже начали сбываться с такой страшной наглядностью, его тексты не были прочитаны по-настоящему, в их подлинном смысле. Немало нашлось антифашистов (и лже-антифашистов!), доказывавших противоположность нищезанства и гитлеризма. Во Франции вышел даже сборник «очень тонких текстов Ницше против расизма, государственного социализма, антисемитизма» и еще другая книга в том же духе: Henri Lefebvre, «Nietsche». Спору нет, в обильном потоке разнообразных и противоречивых писаний Ницше можно выудить и такого рода высказывания. Но какое же значение имеют эти оговорки по сравнению с неустойчивой, страстной проповедью агрессивности, рабовладельческого гнета, по сравнению с буйной апологией империализма и паразитизма!

Если сравнить многие злобные выпады Ницше против разных не-немецких наций с расистской свистопляской Розенберга и Геббельса, то, в частности, правда, можно будет найти отдельные различия, но общая «направленность идей» одна и та же. «Чистота крови», «культ расы», миф — занимают виднейшее место в кругу идей Ницше.

Ницше проповедывал буквально то самое, что делал Гитлер. И завоевательный пыл тот же, и шовинизм тот же, та же контрреволюционность и ненависть к демократии и социализму.

5. Мечта о порабощении России

Когда знакомишься с обширнейшей литературой о Ницше, то удивляет, что так мало говорят о нем как о политическом писателе. Его называют философом, поэтом просто и поэтом-мыслителем, теоретиком искусства и критиком искусства, даже композитором, но только не политическим писателем. Чаще и охотнее всего буржуазная литература характеризует его, как основоположника философского индивидуализма.

Между тем нельзя не видеть, что Ницше имел совершенно определенные политические взгляды. Правда, у него не было стройной системы, выдержанной концепции. Но такими качествами он и вообще-то не обладал ни в одной области, даже в эстетике. Обычная для него разбросанность и противоречивость суждений происходили столько же из психической неуравновешенности, сколько из пристрастия к импрессионистской манере письма. При всём том Ницше проводил свою политическую линию, и не только во внутренних социальных вопросах, но и в вопросах международных.

В книге «По ту сторону добра и зла» (п. 209) он писал о «новом воинственном веке, в который вступили мы, европейцы», и именно в связи с этим утверждал, что «установилось новое понятие о немецком духе». В посмертных сочинениях периода «Веселой науки» он пишет еще определенной: «Приближается время, когда будет вестись борьба за господство над землей... Уже теперь образуется первая группировка сил,— люди упражняются в великом принципе кровного и расового родства» (п. 441).

В этих высказываниях Ницше нет ничего неожиданного. Если бы их не было и он ограничивался бы одними расплывчатыми и отвлеченными философствованиями о касте господ и касте рабов, у нас не было бы еще серьезного основания называть его идеологом империализма. А когда Ницше говорит о «воинственном веке», о рабах не только отечественных, но главным образом чужеземных, которые будут работать на «повелителей» (то есть, монополистов финансового капитала), то здесь идеология империализма выступает уже вполне отчетливо.

Ницше был, однако, еще конкретней в своих высказываниях. Он прямо писал: имеются «самые недвусмысленные симптомы, показывающие, что Ев-

ропа стремится к объединению» («По ту сторону...» п. 256). Он предвидел «европейца будущего», и национальные рамки казались ему уже недостаточными.

Кто же возможные союзники и кто враги? «Мыслитель,— говорит Ницше,— у которого лежит на совести будущее Европы, при всех планах, какие он составляет себе относительно этого будущего, будет считаться с евреями и с русскими, как с наиболее верными и вероятными факторами в великой игре и борьбе сил». Что призвание евреев быть рабами, он не считает нужным даже комментировать. Что же пишет он о русских?

«Сильнее и удивительнее всего сила воли проявляется в громадном средним царстве, где Европа как бы возвращается в Азию—в Россию. Там сила хотеть давно уже откладывалась и накоплялась, там воля ждет—неизвестно, воля отрицания или воля утверждения,—ждет угрожающим образом того, чтобы, по любимому выражению нынешних физиков, освободиться...» (там же, п. 208).

Писалось это в 80-х годах прошлого века, в период длительного общественного упадка в России. Как разразится в ней «воля», Ницше не знает, но при всех условиях он ненавидит русских. Если Россия станет источником международной реакции, то она тем самым выполнит «историческую миссию» самой Германии, которая в этой роли вынуждена будет отойти на второй план. Если Россия станет средоточием революции, то она тем более ненавистна ему. При любом ходе событий он присоединяется к призыву реакционного пруссачества: «Дранг нах Остен!»

«Я разумею,— говорит он,— такое усиление угрожающей от России опасности, что Европа должна бы решиться сделаться столь же грозной, а именно получить единую волю посредством новой господствующей над Европой касты, продолжительную, страшную собственную волю, которая на тысячелетия вперед поставила бы себе цель, чтобы благодаря этому окончилась долгая комедия строя мелких государств, а также ее династическое и демократическое многоволие. Время для мелкой политики прошло: уже следующее столетие принесет с собой борьбу за господство над землей,—при-

нуждение к большой политике» (там же).

Эта декларация показательна в высшей степени. Вспомним, что под «новой, господствующей над Европой кастой» Ницше понимает «победоносно возникающий тип современного немца», раньше всего в лице прусской (бранденбургской) военщины. Именно эти свои слова он назвал «торжественной речью». Дойдя именно до этого пункта, он писал: «Однако здесь мне приходится прервать мое восхваление Германии... ибо я почти касаюсь моей серьезной проблемы...» Трудно было бы сильнее подчеркнуть многозначительность слов и таинственную преднамеренность умолчания. Автор переходит на доверительный тон и умолчанием своим как бы говорит: тут, друзья мои, истинно серьезное политическое дело, — разговаривать о нем полным голосом, может быть, еще преждевременно... Но «мыслитель, у которого лежит на совести будущее Европы», должен понимать, что мы вступаем в «воинственный век», что «строю мелких государств» пришел конец, что Европу ждет объединение под гегемонией Германии и при господстве высшей расы, что предстоит война за передел мира и порабощение чужих народов, раньше всего народов, населяющих Россию.

Однако и это не всё. Та крайне враждебная характеристика, которую Ницше дает англичанам, пренебрежительная оценка, какую он дает способности французов к сопротивлению, его злобные выпады против двух крупнейших западных демократий с очевидностью свидетельствуют о том, что он относил к лагерю противников Германии в будущей войне — наряду с Россией — также Англию и Францию.

Чрезвычайно интересно, что планы империалистской экспансии, какие питал Ницше, простирались далеко за пределы Европы. Так, например, в его посмертных сочинениях периода «Веселой науки» была найдена и впоследствии опубликована среди вороха других занумерованных премудростей также и такая запись:

«Я хотел бы, чтобы Германия овладела Мексикой для того, чтобы при помощи примерного лесоводства играть главную роль в интересах будущего человечества...» (п. 441).

Это ли не диво! Презирающий политэкономии и статистику («чорт ее поберит») эстет непостижимым образом проявляет интерес к лесному хозяйству.

Откуда только берется резвость, когда нужно отвоевать Германии «главную роль»? Откуда только берется желание осчастливить этим человечеством! Ведь доподлинно уже известно, что оно — «отвратительная старуха» и что «мы не любим человечества!» Поди ж ты!.. При всей своей девственной невинности в вопросах экономики Ницше вряд ли мог думать, будто эксплуатация мексиканских лесных массивов и есть истинное призвание философов и «аристократов духа». Настолько-то знал жизнь «поэт-отшельник», чтобы понимать: это дело крупного капитала.

Не в разглагольствованиях Ницше о греческой трагедии, Дионисе и Аполлоне, а в скупых его строках о будущей войне за передел мира, о «главной роли» Германии, о жестоком порабощении чужих народов и заключена на самом деле его «новая скрижаль».

Ключ к правильному пониманию своего учения дал сам Ницше, когда черным по белому написал: «Моя исходная точка — прусский солдат» (см. посмертные произведения, — «Отдельные замечания о культуре, государстве и воспитании»). Вовсе не знает самой сути ницшеанства тот, кто ограничился чтением таких широко популярных книг, как «Происхождение трагедии», «Несвоевременные размышления», «Человеческое, слишком человеческое», «Веселая наука», «Так говорил Заратустра», «Антихрист», «Ницше против Вагнера» и т. п. Несравненно определеннее для истинного лица Ницше такие относительно мало популярные в широком читательском кругу книги, как «Генеалогия морали», «Помрачение миров», «По ту сторону добра и зла», «Ессе homo» и особенно «Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей» и большое количество посмертных записей Ницше, не опубликованных при его жизни.

Воля к завоеванию, порабощению, ко всяческой агрессии во внутренней и внешней политике, самый сгусток идей Ницше, был кратко сформулирован им в словах: «Воля к власти». Эта «ведущая идея» всего его мировоззрения впервые осенила его во время франко-прусской войны, в которой он принимал участие в качестве начальника санитарного отряда. Он поведал эту «творческую тайну» своей сестре Елизавете Фёрстер-Ницше, которая в своих воспоминаниях рассказывает:

«...он вдруг услышал шум и грохот, и мимо него, как сверкающая молниями

туча, пронесся красивый кавалерийский полк, великолепный, как выражение народного мужества и задора. Но вот стук и гром усиливаются, и за полком в стремительном темпе несется его любимая полевая артиллерия и, ах, как больно было ему не иметь права вскопить на коня и быть вынужденным сложить руки стоять у этой стены!—Напоследок шла пехота беглым шагом: глаза сверкали, ровный шаг звенел по крепкому грунту, как могучие удары молота. И когда все это шествие вихрем пронеслось мимо него в битву,— быть может, навстречу смерти,— столь величественное в своей жизненной силе, в своем мужестве, рвущемся в бой, являя собой такое полное выражение расы, решившей победить, властвовать или погибнуть,— «тогда я ясно почувствовал, сестра,— так закончил свой рассказ мой брат,— что сильнейшая и высшая воля к жизни находит свое выражение не в жалкой борьбе за существование, но в воле к битве, к власти и превосходству!» «Но,— продолжал он, немного помолчав и глядяваясь в пылающее вечернее небо,— я чувствовал также, как хорошо то, что Вotan влагает жестокое сердце в грудь вождей; как могли бы они иначе вынести страшную ответственность, посылая тысячи на смерть, чтобы тем привести к господству свой народ, а вместе с ним и себя».

Один из современных идеологов германского фашизма, Освальд Шпенглер, в своей книге «Закат Европы» весьма кстати напомнил о таких словах Ницше: «Высшая порода людей, благодаря превосходству воли, знания, богатства и влияния я, воспользуясь демократической Европой, как послушным и подвижным орудием, чтобы взять в свои руки судьбы земного шара и, как художник, творить из «человеческого материала». Одним словом, приходит время, когда политике нужно обучаться заново». По поводу этих слов Ницше, не опубликованных при его жизни, Шпенглер справедливо замечает, что приведенный набросок «гораздо более конкретен, чем законченные произведения». «Его господская мораль,— говорит Шпенглер,— есть реальность. Она имеется налицо. Если устранить романтическую маску Борджиа и туманные видения сверхчеловека, то... перед нами просто реальный политик, денежный магнат, большой инженер и организатор... Шоу изобразил в «Майоре Барбара» в образе

миллиардера Ундершефта идеал сверхчеловека, переводя его на неромантический язык современности... Эти практики большого стиля действительно выражают в наши дни волю к власти...»

Ницшевский идеал сверхчеловека, если освободит его от покровов эстетики, предстает в образе Кирдорфа и Круппа, Феглера и Борзига. «Заслуга Ницше перед этими господами состоит в том, что он был первый, кто еще в конце прошлого века, у самой колыбели новорожденного германского империализма, сформулировал его перспективы, его цели, его идеологию.

«Новая скрижаль» Ницше совпадала с внешнеполитической программой вильгельмовского империализма: насильственное объединение Европы под гегемонией Круппов и под скипетром Гогенцоллернов с их прусско-юнкерской военной кликой. Декларация Ницше содержала в зачатке и другую идею: объединение всех реакционных сил Европы под руководством бранденбургского жандарма. Недаром из мутного ницшеанского источника черпали свою идеологию и империалисты предвоенной Германии, и гитлеровские «докторы» в наши дни.

«Второй Ренессанс», к которому стремился Ницше, означал возрождение в новых условиях олигархии древнего времени с ее необузданными тиранами, завоевательным пылом и зверской эксплоатацией чужеземных рабов. На рубеже XX века возникла, конечно, безо всякого просвещенного содействия со стороны Ницше, а естественным ходом развития капитализма, совсем иная олигархия — финансовая. Целью Ницше было оправдать ее паразитизм, толкнуть ее на путь зловещей тирании и империалистских завоеваний, призвать к новоявленному рабовладельческому строю. Это требовало полного разрыва с прогрессивными началами в культурном наследии прошлого, решительной «переоценки ценностей». И Ницше совершал реакционный переворот в понятиях. Он ставил всё вверх ногами. Он провозгласил:

вместо разума — инстинкт,
вместо истины — иллюзию,
вместо науки — миф,
вместо диалектики — софистику,
вместо культуры — варварство,
вместо истории — комедию,
вместо свободы — рабство,
вместо народоправства — тиранию,
вместо принципа — беспринципность»

вместо добра — зло,
вместо гуманности — жестокость,
вместо нравственности — «хороший
вкус» и «пестрые поступки».

Хищниками он назвал эксплуатируемых, но варваров приравнял к культуртрегерам. Людей народа он унизил до скота, а действительного сверхскота возвеличил именем сверхчеловека.

Гитлеру льстило это имя. Немецким фашистам, стремившимся в угоду своим

хозяевам повернуть колесо истории назад, была очень удобна такая идеология. Сам «фюрер» еще в зените своей «славы» фотографировался рядом с бюстом Ницше. Он хотел показать: вот вдохновитель. Место Ницше на той же скамье подсудимых, рядом с фашистскими бандитами, которых он вдохновлял всю последнюю четверть века, с первого же дня рождения немецкого фашизма.

АЛЕКСАНДР АНИКСТ НАША ЛИТЕРАТУРА

1

Помните ли вы, какой бурной была наша литературная жизнь в начале двадцатых годов? Одна за другой возникали писательские группы и школы, возглашавшие о своем появлении на свет широковещательными манифестами, публичными выступлениями, а иногда просто эпатажными выходками.

«Кузнецы» и «лефовцы», «пролеткультовцы» и «имажинисты», «конструктивисты» и «ничевоки», — каких только не было названий! Эти группы основывали свои альманахи и журналы, печатавшиеся на всех сортах бумаги — от оберточной до картона. Многие, впрочем, заканчивали свою историческую миссию выходом первого номера.

Немало тогда печаталось сборников стихов. На прилавках букинистов еще встречаются эти книжицы с претенциозными названиями и никому неизвестными именами их творцов. Выпустить книгу «изданием автора» тогда стоило не дорого, и она быстро превращалась в уникал, благодаря своему крохотному тиражу.

Толстые журналы боролись за право представлять литературную общественность. Они вели между собою непримиримую борьбу. «Печать и революция» не ладила с «Красной новью», «Красная новь» враждовала с «Новым миром», но все они были единодушны в своей борьбе против «Лефа», который утверждал свою оригинальность нововведениями в области пунктуации, невероятной версткой и раскрашенными фотомонтажами. Каждый номер этого издания, если и не был «пощечиной общественной вкусу», то все же ниспровергал всех и вся.

А диспуты! Какие жаркие литературные схватки и стычки происходили на эстраде в Политехническом музее в доме Герцена и в клубе МГУ, где глашатаи многочисленных писательских групп старались превзойти друга друга голосом, острыми словечками а часто просто руганью, — и все это при оживленном участии шумливой аудитории, аплодировавшей с одинаковым рвением ораторам разных направлений.

Теперь литературная жизнь стала иной. Нет в ней прежнего шума и трескотни. Большинство «гениев» и «талантов», столь легко провозглашенных в те годы, растеряв своих поклонников и поклонниц, исчезли с горизонта. «Иных уж нет, а те далече». Одни остепенелись и стали обыкновенными совслужащими, другие еще вертятся около литературы (в особенности около Литфонда) и зарабатывают себе хлеб насущный, кто «малыми формами», кто рекламой, кто перелицовкой опереточных либретто, кто титрами для кинофильмов.

Ушли, безвозвратно ушли те времена... Я слышал, как один литератор, держа в руке недавно вышедшие мемуары другого, элегически вздыхал:

— Как интересно было тогда! Литература! Сколько было остроты, свежести, сутолоки и шума, и во всем этом была жизнь...

И верно, много тогда было шума вокруг да около литературы, шум который творили, главным образом, различные мелкобуржуазные группы и направления, далекие, а то и просто враждебные великому делу новой, социалистической культуры. Большая советская литература — как массовое явление — только рождалась, и пр...

том вовсе не в литературных спорах эстетствующих юношей и не на шумной эстраде.

А теперь она есть.

Не появляются больше литературные манифесты с шумным успехом, но очень серьезно проходят вечера поэтов. Превжных групп и группочек нет, — есть единый Союз советских писателей. Журналы почти ладят между собой. В клубе писателей тихо. Но эта тишина не должна нас обманывать. Писатели сидят не в клубе. Они там, где борется и трудится народ. Они в рядах солдат. Идет большая, серьезная работа. Нет так называемой «литературной жизни» в ее старом понимании, но зато есть литература.

Да, у нас есть литература!

Сознание это наполняет гордостью душу всякого, кому дороги судьбы культуры, кто знает, что без подлинного искусства нет настоящей жизни... У нас есть и то и другое: и полноценная жизнь, за которую стоит бороться, и настоящее искусство, которым можно гордиться.

— Вот «новость», — скажет иной читатель. — Нашли, чем удивить. Да разве мы и сами этого не знаем? Есть ли нужда напоминать об этом?..

Верно, что мысль эта не новая. Но разве только о новом надо говорить? В достаточной ли степени мы осознали и оценили то изумительное явление, название которому советская литература?

Вот подходящая к случаю цитата:

«Эта мысль не новая: она давно была высказана тысячу раз. Казалось бы, для чего и повторять ее. Но, увы! как много есть пошлых истин, которые у нас должно твердить и повторять каждый день во всеулышание!.. Нет: пиши, говори, кричи всякий, у кого есть хоть сколько-нибудь бескорыстной любви к отечеству, к добру и истине...»

Это из «Литературных мечтаний». Но Белинского лежит передо мной, он раскрыт на этой статье. Впрочем, внимательный читатель, вероятно, догадался об этом и раньше. Мне нет необходимости хвалить Белинского. Там, критикам, его постоянно ставят укор: «Почему среди вас нет Белинского?» Но укорители часто ограничиваются лишь платоническим уважением и смутными школьными воспоминаниями. Заглянем же в статью Белинского.

«У нас нет литературы», — утверждал Белинский в интересующей нас статье. «Литературные мечтания» были написаны в 1834 году, и основная мысль этой «элегии» звучала как парадокс. Россия тогда впервые завоевала право гордиться своей литературой. «Руслан и Людмила», «Борис Годунов» и «Евгений Онегин» уже были созданы. В этом же году увидела свет и «Пиковая дама». Грибоедов был в могиле, но его бессмертная комедия только начинала свою жизнь в печати и на сцене. Высшей зрелости достиг Крылов, и начинал цвести гений Гоголя. Нет необходимости перечислять все богатства, созданные к тому времени основателями новой русской литературы.

Что же дало право молодому, тогда еще неизвестному, критику утверждать, что у нас нет литературы? Был ли это просто юношеский задор, желание поразить читателя оригинальностью? Нет, за этим утверждением скрывалась большая и очень важная мысль, — мысль, имеющая прямое отношение к занимающему нас вопросу.

Что такое литература? — спрашивал Белинский. На это есть три ответа.

«Одни говорят, что под литературой какого-либо народа должно разуметь весь круг его умственной деятельности, проявившейся в письменности».

Этот взгляд, игнорирующий специфику искусства, был устаревшим уже во времена Белинского. Он его не приемлет.

«Другие под словом литература понимают собрание известного числа изящных произведений, т. е., как говорят французы, «chef-d'œuvres de littérature».

Согласно этому взгляду, литературой будут лишь те произведения, которые подходят под определенную, иногда очень узкую эстетическую мерку. Белинский не разделял и этой точки зрения, которая так мила эстетам всех времен.

По мнению великого критика, «литературой называется собрание такого рода художественно-словесных произведений, которые суть плод свободного вдохновения и дружных (хотя и не условленных) усилий людей, созданных для искусства, дышащих для одного его и уничтожающихся

вне его, вполне выражающих и воспроизводящих в своих изящных созданиях дух того народа, среди которого рождены и воспитаны, жизнью которого они живут и духом которого дышат, выражающих в своих творческих произведениях его внутреннюю жизнь до сокровеннейших глубин и биений.

Вот точка зрения, с которой надо судить и нашу литературу. Но не будем забегать вперед. У Белинского есть еще одна важная мысль, служившая ему основанием для того, чтобы утверждать, что «у нас нет литературы».

Рассуждая об исторических путях России, демократ и разночинец Белинский отмечал: «Масса народа и общество (дворянское.— А. А.) пошли у нас врозь». Дворянская культура и литература были далеки от народа. Только отдельные гении, как Крылов, Пушкин, Грибоедов, достигали подлинной народности. В массе же своей писатели — и, следовательно, литература — не отвечали основному требованию Белинского: они не жили духом своего народа, не отражали и не выражали его.

«У нас была эпоха схоластицизма, была эпоха плаксивости, была эпоха стихотворства, эпоха романов и повестей, теперь наступила эпоха драмы; но еще не было эпохи искусства, эпохи литературы», — таково суждение критика о начальном периоде русской литературы.

Решение интересовавшей Белинского проблемы лежало вне самой литературы. Для того чтобы появилась подлинная литература, «надо сперва, — говорил он, — чтобы у нас образовалось общество, в котором бы выразилась физиономия могучего русского народа».

Иначе говоря, расцвет подлинной литературы Белинский связывал с определенными общественными условиями. «Физиономия могучего русского народа» может вполне выразиться только в таком обществе, где народ сам является хозяином своей судьбы.

Этого условия не было на протяжении всего XIX столетия. Оно появилось лишь тогда, когда наш народ совершил величайшую из когда-либо бывших революций — Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Только она создала предпосылки для полного слияния искусства и на-

рода, для возникновения той литературы, о которой мечтал Белинский.

Враги революции говорили, что она не сможет создать ни своей культуры, ни своей литературы. Они пытались помешать нам в созидательной и творческой работе. Но история смела их в мусорную кучу.

Наш народ совершил величайшую социальную революцию. За четверть века создано могучее социалистическое государство, оказавшееся в состоянии выдержать величайшие испытания и выйти из них еще более закаленным и крепким. Двадцать семь лет трудится и борется наш народ, создавая новые формы социальной жизни. В эти же годы, равных которым по героическому напряжению не знали ни одна страна и ни один народ, возникла и наша литература, которой мы гордимся, как одним из замечательнейших созданий нашей культуры.

Эту новую литературу создали не те, кто шумел на эстрадах. Лишь многие подлинные творцы всходили на нее. Она возникла не в салонах и узких литературных кружках. Создателями нашей литературы были люди труда и борьбы, прошедшие большую школу жизни, жившие общей жизнью с народом.

Во главе их стоит гениальный сын русского народа, поднявшийся с самого дна жизни, гордый буревестник революции и пророк освобождения человечества от векового рабства — Максим Горький. Он заложил основ нового искусства и сам же создал величайшие его образцы.

Из разных сфер жизни к нему присоединились другие мастера: поэт-агитатор, возвысившийся над бандо поэтических рвачей и выжиг, великий эрик революции, лучший, талантливый поэт советской эпохи — Маяковский; славный большевик-комиссар Фурманов, соратник легендарного народного героя, увековечивший его образ; наследник одного из славнейших русских имен, ушедший из мирбарских усадеб, чтобы стать участником строительства народной культуры — Алексей Толстой; поэт, вождь и путешественник, опытнейший мастер русского стиха — Николай Тихонов; реалист и романтик, певец гражданской войны и подпольщика Краснодона — Александр Фадеев; страстный публицист — Илья Эренбург; несравненный поэт тихого Дона, гениальный знаток народной души, худо-

ник, изобразивший великие сдвиги в жизни русской деревни — Михаил Шолохов; подпольщик и народный учитель, воспевший героический труд свободного рабочего, хроникер великих эпох социалистической индустрии — восстановления и индустриализации, и военного времени — Федор Гладков и другие, которых я не называю не жтому, что их доля была мала.

Одни из них были рождены в народной среде, другие пришли к ней. Поэты и борцы, писатели и строители, они живут одной жизнью с народом, в своих произведениях они выражают его «внутреннюю жизнь до сокровеннейших глубин и биений».

У нас есть литература, именно та литература, о которой мечтал Белинский, литература народа и для народа.

Великий критик был и великим пророком: «Завидую внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940-м году, стоящую во главе образованного мира, дающую законы и науке и искусству и принимающую благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества...»

Предсказание свершилось вполне. Все это стало возможным благодаря революции.

3

Были революции и раньше, но ни одна из них не оказывала столь благотворного влияния на развитие литературы и искусства, как наша Великая Октябрьская социалистическая революция. Прошло немногим более четверти века с тех пор как революция началась, а между тем советский народ за это время успел создать литературу, которая богата подлинными художественными ценностями и которая отразила развитие этой революции.

Произошло чудо, какого еще не знала история мировой культуры: в ходе самой революции возникла ее литература.

Могут спросить: почему чудо? Не преувеличиваем ли мы? Нет, именно чудо, необыкновенное явление, впервые встречающееся в истории.

Предположим, что вам захотелось узнать, какой была английская буржуазная революция XVII века, как жили, как боролись Кромвель и «круглогловые». Тщетно стали бы вы искать изображения событий револю-

ции в литературе того времени. Двадцать лет длилась эта революция, но за время ее не возникло ни одного художественного произведения, которое изобразило бы то, что переживала страна. После того как революция окончилась, выступил Мильтон. Он написал великие поэмы. Но только специалисты-критики разбираются в сложных библейских аллегориях, в которых поэт отразил английскую революцию в «Потерянном рае». Сто шестьдесят лет ждала английская революция своего художественного отображения. Первым изобразил ее лишь Вальтер Скотт.

Была буржуазная революция в Америке в середине XVIII века. Чем ознаменовала она себя в литературе? Одним именем — Бенджамин Франклин. Историки литературы расскажут вам, что он написал мешанские нравоучительные очерки и свою автобиографию. Но все же в сознании широких кругов интеллигенции Франклин был и остается изобретателем громового отвода. И это справедливо. Из всех его созданий это самое жизненное. Американская революция ждала своего бытописателя целый век, пока Теккерей не написал «Виргинцев».

А чем может похвалиться в области литературы первая буржуазная революция во Франции? Интересующиеся драмой могут прочесть исследование Константина Державина «Театр Французской революции». Это историко-литературный колумбарий, в котором сохранился пепел многочисленных пьес, не переживших своей эпохи. Их не возобновляли на сцене, их не перечитывают и, кроме историков, никто ими заниматься не будет, ибо, помимо внешней злободневности, в них ничего не было.

Самое известное имя в поэзии эпохи французской революции Андрэ Шенье. Но считать его поэтом французской революции можно с таким же основанием, как если кому-нибудь пришло бы в голову объявить поэттом нашей революции Гумилева. Оба эти поэта были кровно связаны с врагами революционного народа, и оба кончили одинаково.

Прозаики и романисты? Луве де Кувре, автор «Похождений кавалера Фобласа», и Шодерло де Лакло, прославившийся «Опасными связями». Вот наиболее значительные достижения в области романа.

Это не значит, что народ не стремился создать свое искусство. Тяга к этому была большая, и народ создавал массовые песни. Из них «Карманьола» не раз оживала на парижских баррикадах в течение XIX столетия. Руже де Лилль превзошел самого себя и всех современников: он создал «Марсельезу».

И это все.

Французская революция тоже долго ждала своего изображения в литературе. Первый мастер, написавший о ней, был Бальзак. В 1829 году он издал своих «Шуанов» — роман, изображающий события, происходившие в 1799 году. Тридцать лет! Писали о французской революции и Александр Дюма-отец, и Ламартин, и молодой Гюго, но главным образом о «бедных жертвах», о Марии-Антуанетте, маленьком Людовике XVII и «несчастных» аристократах. И только в 1874 г. появился первый хороший роман о французской революции — «93-й год» Гюго. За ним последовали в 1912 г. роман Анатоля Франса «Боги жаждут» и, наконец, в наше время — «Театр революции» Ромэн Роллана.

От подлинного 1793 года до «93-го года» Гюго прошло 80 лет, 80 лет Франция не имела книги, которая отразила бы величие французской революции! ¹

Эта арифметика содержит в себе очень много поучительного. От английской революции до Вальтера Скотта — 160 лет, от американской революции до Теккерея — 100 лет, от французской революции до Гюго — 80 лет. Вот сколько времени понадобилось, прежде чем буржуазные революции получили свое отображение в литературе.

Пусть теперь читатель посчитает, сколько лет прошло от революционного движения начала 900-х гг. до издания «Матери» Горького, от революции 1917 г. до поэмы Маяковского «Хорошо» и до горьковского «Егора Булычева». От революции и гражданской войны до «Чапаева», «Тихого Дона» и «Хождения по мукам» 5—10, 15—20 лет, — вот какими сро-

¹ Мы не говорим здесь о великом плодотворном влиянии идей Французской революции на литературу, для этого достаточно было бы вспомнить творчество Стендаля, Бальзака и других. Мы говорим лишь об изображении самой революции.

ками исчисляется время от великих исторических событий нашей эпохи до появления больших и подлинных художественных произведений, эти события отражающих и живописующих.

Великое чудо нашей литературы заключается в том, что она свершила то, что не было возможно во всех революциях прошлого, — в буржуазных революциях. Наша литература идет в ногу с временем, она участвует в самом ходе переустройства общества и одновременно художественно запечатлевает великий перелом в человеческой жизни. Факт этот иногда недооценивается. А между тем он стоит того, чтобы на него обратили внимание.

Да, у нас есть литература, — говорим мы, и с гордостью можем добавить, — литература, созданная в невиданно короткое время. Никогда еще ни одна литература не была так тесно связана с народной жизнью, как наша, и не возникла с такой истинно сказочной быстротой.

4

Почему же буржуазные революции не могли, в сущности, создать своей литературы и почему социалистическая революция оказалась в состоянии осуществить это?

Буржуазные революции по самой своей природе не могли создать подлинной литературы. Это мы поймем, заглянув в «18 брюмера» К. Маркса: содержание этих революций было ограниченным. В конечном счете они преследовали узко классовые интересы.

«Камилл Демулен, Дантон, Робеспьер, Сен-Жюст, Наполеон, — герои, равно как партии и масса старой французской революции, — в римском костюме и с римскими фразами осуществили дело своего времени, — они освободили от феодальных уз и возвели здание современного буржуазного общества» (К. Маркс и Ф. Энгельс, т. VIII, стр. 323—324). «Однако, как ни мало героично буржуазное общество, для его появления на свет понадобились героизм, самопожертвование, террор, междоусобная война и битвы народов». В классически строгих преданиях римской республики борцы за буржуазное общество нашли идеалы и исторические формы, иллюзии, необходимые им для того, чтобы скрыть о-

самих себя буржуазно-ограниченное содержание всей борьбы, чтобы удерживать свое воодушевление на высоте великой исторической трагедии. Так, одним столетием раньше, на другой ступени развития, Кромвель и английский народ воспользовались для своей буржуазной революции языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого завета» (там же, стр. 324).

В этих словах—ключ к интересующей нас проблеме.

«В этих революциях заклинание мертвых служило для возвеличения новой борьбы» (там же, стр. 324).

Вот почему Мильтону понадобилась библейская аллегория в его «Потерянном рае». Английскую буржуазную революцию он отразил в произведении, которое было насыщено «языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого завета». По этой же причине многочисленные пьесы периода французской революции вместо изображения парижских оптовиков, скупщиков конфискованных именей и санкиюотов, штурмующих твердыни феодализма, предпочитали изображать греков времен Фемистокла и римлян, подобных Бруту. Они изображали все, что угодно, кроме своего времени и кроме правды о своем времени. А там, где нет правды, нет и подлинного искусства. Вот почему бесплодны были все эти многочисленные творения. Только гений Мильтона помог ему подняться над этой ограниченностью. Но кто теперь читает Мильтона?.. А из тех, кто читает,— все ли понимают, что скрыто под его библейскими образами?

Буржуазно ограниченное содержание революции прошлого препятствовало развитию реалистической литературы, которая отразила бы подлинное содержание этих революций. Вот почему понадобилось несколько десятилетий, прежде чем могло появиться произведение, подобное «Отцу Горю», где Бальзак рассказал, между прочим, как его герой, фабрикант макарон и вермишели, нашлся в годы революции, или «Крестьяне», где изображен упадок дворянского землевладения после французской революции. Только когда буржуазное общество упрочилось, появилась реалистическая литература об этом обществе. Но создателями ее были не правдивые члены буржуазного общества, а «блудные сыны буржуазии», как назвал их Горький.

Социалистическая революция, совершаемая пролетариатом, принципиально отлична от революций буржуазных. Маркс и Энгельс смело писали в «Коммунистическом манифесте»:

«Коммунисты считают излишним скрывать свои взгляды и намерения».

Эти взгляды и намерения соответствуют интересам всей массы трудящегося человечества: уничтожить эксплуатацию человека человеком и создать бесклассовое общество, основанное на подлинном социальном равенстве, обеспечивающем каждому человеку всестороннее развитие его способностей. Именно потому, что пролетарская революция совершается во имя интересов подавляющего большинства человечества, ей нет надобности скрывать свои цели. Эта революция может говорить правду о себе, ей не нужен «исторический маскарад», ей незачем вызывать духов прошлого, прикрывать свое содержание иллюзиями и страстями, заимствованными из давних времен. Наоборот, чем полнее раскрываются ее цели, тем больше приверженцев она находит себе. Это является причиной того, что наша революция обдала всеми предпосылками для развития реалистического искусства, отражающего переустройство общества. Таким образом, в самой природе социалистической революции была заложена возможность возникновения и развития литературы социалистического реализма.

Но это лишь объективная предпосылка. Для того чтобы эта возможность превратилась в действительность, необходимо было еще одно условие, нужна была практическая работа по претворению этой возможности в реальность. Это условие обеспечили партия и ее политика в области литературы.

Здесь уместно будет вспомнить одно место из вышеприведенной характеристики литературы, сделанной Белинским. Он считал, что литература — и такой она была в его время — «суть плод свободного вдохновения и дружных (хотя и не условленных) усилий людей, созданных для искусства...»

«Дружные», но «не условленные усилия» — это выражение той обособленности, а подчас и одиночества, на которое обречены художники в классовом обществе. Социалистическая революция изменила и самое положение художника: он перестал

быть кустарем-одиночкой. Объединение писателей в союз — факт огромного принципиального значения. Усилия писателей становятся не только «дружными», но и «условленными», они коллективно стремятся к выполнению общей художественной задачи — выразить и отразить то, чем живет народ.

Основы этого нового отношения к литературе выразил Ленин в своей знаменитой статье «Партийная организация и партийная литература». Он писал:

«В противовес буржуазным нравам, в противовес буржуазной предпринимательской, торгашеской печати, в противовес буржуазному литературному, карьеризму и индивидуализму, «барскому анархизму» и погоне за наживой, — социалистический пролетариат должен выдвинуть принцип партийной литературы, развить этот принцип и провести его в жизнь в возможно более полной и цельной форме.

В чем же состоит этот принцип партийной литературы? Не только в том, что для социалистического пролетариата литературное дело не может быть орудием наживы лиц или групп, оно не может быть вообще индивидуальным делом, независимым от общего пролетарского дела. Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков! Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, «колесиком и винтиком» одного единого, великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса» (т. VIII, стр. 387).

Золотые ленинские слова всегда свежи, и их надо почаще вспоминать. Здесь изложено то, что стало основой всей партийной политики в области литературы. Много пришлось положить труда, чтобы преодолеть индивидуалистическое отношение к художественному творчеству. Впрочем, «литераторы сверхчеловеки» еще не перевелись. Пережитками этого индивидуализма являются те единичные факты, когда в дни великой общенародной борьбы отдельные литераторы замыкаются в свою скорлупу и предаются глубокомысленным исследованиям своей собственной психологии или элегическим воспоминаниям

о своей литературной молодости, — и это тогда, когда народ жадно ловит каждое слово своих художников, желая видеть их рядом с собой в великой борьбе и в великом труде...

Но вымирают литераторы-индивидуалисты. Можно смело говорить теперь о том, что все советские писатели орослись с народом. Это результат политики партии, результат того, что партия помогла найти писателям свое место в общем деле нашего социалистического строительства. И это пошло на пользу прежде всего самим писателям.

Партия постоянно ставила перед писателями задачу отображения нашей быстро развивающейся действительности, а где, как не у жизни писателю расти и учиться! Изживая бесплодное эстетство, приближая искусство к народу, мы и добились того чуда, на которое не была способна литература ни одной из революций прошлого.

И если мы говорим: «У нас есть литература», то этим мы обязаны нашей революции и нашей партии.

5

Велик круг тех, кто любит советскую литературу, радуется творческим успехам и достижениям наших писателей. Но есть еще и такие люди, которые отворачиваются от нее с пренебрежением, а при случае хулят и принижают ее. Их немного и становится все меньше. Но они еще есть, и притом, как это ни странно, такие типы встречаются в самой литературной среде. Назовите им любое имя в нашей литературе, и они найдут изъян. Для них литература — это, пользуясь словами Белинского, «собрание известного числа изящных произведений». Они признают лишь то, что освещено временем и всеобщим почтением. Для них литература — это Пушкин и Толстой, Шекспир и Бальзак. Масштабами этих писателей они измеряют наших современников и находят всяческие поводы для унижения последних. Впрочем, Пушкины и Шекспиром они восхищаются преимущественно платонически, читают они не их, — их только «уважают», а читают Хемингуэя...

Такие читатели существовали всегда. Ведь были же хулители у Шекспира, и до нас дошел презрительный отзыв одного из современников, назвавшего его «вороной-высочкой, р...

дящейся в павлиньи перья». А как нападали критики на Пушкина! Читатель не станет перелистывать сейчас критические отделы современных Пушкину журналов, но достаточно взять сочинения самого Пушкина, чтобы найти свидетельства того, каким злбным и несправедливым нападкам он подвергался со стороны некоторых современников.

Очень стара и, к сожалению, не утратила своей справедливости истина: современники часто не в состоянии оценить величие того, что они видят перед собой. На наших глазах произошло характерное явление. Еще лет двадцать тому назад считалось хорошим тоном говорить: «Я не принимаю стихов Маяковского, для меня это не поэзия». Конечно, и тогда это отнюдь не было всеобщим мнением, ибо поэт имел своих читателей всегда. А теперь Маяковский — признанный классик нашей литературы, и даже многие из числа тех, кто его «не понимали», отзываются о нем со всем подобающим классику пиететом.

Подобных примеров много, но нам важны не они, а взгляд на литературу в целом.

В каждую эпоху существовали люди, считавшие современную литературу плохой и за счет ее превознесившие литературу прошлого. Не может быть, чтобы среди тех, кто будет читать эту статью, не оказалось хоть несколько подобных граждан. Трудно предвидеть все аргументы, которые они могут противопоставить. Но один из них наверняка будет таков:

— Вы считаете, что у нас есть литература. Очень хорошо. А где у нас, позвольте спросить, писатели, подобные Пушкину и Льву Толстому?

Да, ни Пушкина, ни Льва Толстого у нас еще нет. Для того чтобы появились писатели, подобные им, потребно немало время. Появлению Пушкина предшествовало целое столетие созидания новой русской литературы от Ломоносова и Тредиаковского до Жуковского и Карамзина. В своей статье «Сочинения Александра Пушкина» Белинский показал, как длителен и сложен был процесс, без которого появление Пушкина не было бы возможно. Одной личной одаренности писателя недостаточно. Появлению таких писателей, как Пушкин и Толстой, предшествует развитие социальных, общекультур-

ных и литературных предпосылок, накопление которых необходимо для гения, на чью долю выпадает обобщить их в своем творчестве.

Наша социалистическая культура и литература еще молоды. Несмотря на это, у нас уже есть писатели, стоящий в одном ряду с великими классиками русской литературы. Это — Горький. Великое значение его признано всем культурным миром. Крупнейшие мастера современной литературы оценили его величие.

Патриарх писателей современного Запада, Бернард Шоу писал:

«Количество писателей, произведения которых получают известность за границей, очень невелико. Горький — один из этих немногих. В XIX веке в Англии из русских писателей вызвали сильный интерес сперва Тургенев и Толстой, затем Достоевский и, наконец, Горький и Чехов. Из этих писателей один только Горький начертал путь революции... Герои Горького несли в себе революцию, и поэтому книги Горького были книгами расцвета...»

Барбюс назвал его «наш великий Горький», для Ромэн Роллана он — «великий человек и знаменитый писатель», «первый, высочайший из мировых художников слова, расчищавших путь для пролетарской революции». Фейхтвангер определил его как «одного из лучших повествователей в мире», «великого глашатая новой, молодой России». Шервуд Андерсен назвал его «одним из подлинных творцов всей современной литературы». По мнению Мартина Андерсена Нексе, «с точки зрения эстетической Максим Горький — великий художник, живое олицетворение нового мира...»

Полнее всего определил значение Горького В. М. Молотов в своей речи на похоронах писателя: «По силе своего влияния на русскую литературу Горький стоит за такими гигантами, как Пушкин, Гоголь, Толстой, как лучший продолжатель их великих традиций в наше время. Влияние художественного слова Горького на судьбы нашей революции непосредственнее и сильнее, чем влияние какого-либо другого нашего писателя. Поэтому именно Горький и является подлинным родоначальником пролетарской, социалистической литературы в нашей стране и в глазах трудящихся всего мира».

Горький у нас один. Он — явление великое и неповторимое, как неповторим Пушкин и Толстой. Но вокруг него мы видим целую поросль выдающихся дарований. Из них Алексей Толстой бесспорно уже занял место в русской литературе как один из ее новых классиков. Другие мастера уже создали много значительных произведений, но творческий путь большинства из них еще далеко не завершен. То, что они уже сумели создать, обладает значительными художественными достоинствами, а ведь некоторые из них лишь вступили в полосу своего расцвета и трудно предвидеть, какими богатствами они нас еще одарят.

Мы далеки от того, чтобы утверждать, что мы уже «догнали» нашу классическую литературу. Вопрос о том, чтобы «догнать и перегнать», не стоит перед нашей литературой, он ей чужд.

Мы не собираемся никого «догонять» или «перегонять». Перед нами стоит совсем иная задача: создать новую литературу, литературу социалистического общества. Новизна задачи определяет и большие трудности. Не было еще такого строя жизни, какой мы создаем, не было еще таких людей, каких родило наше время. Для создания новой литературы нужно изучение новой жизни, любовь к ней, активное участие в ее строительстве.

Те, кто отворачивается от нашей литературы, как правило, отворачиваются от нашей действительности. Они не живут интересами нашего времени. Они могут понять трагедию Гамлета, принца датского, но им недоступно понимание трагедии Григория Мелехова, донского казака. Они восхищаются страданиями молодого Вертера и не видят величия Павла Корчагина. Король Лир для них вершина реализма, а Егор Булычев — забавный самодур. Они восхищаются Кутузовым в «Войне и мире» и не видят величия романа о «Петре Первом» Алексея Толстого.

Литература социалистического реализма за четверть века с небольшим создала типы, отразила жизненные конфликты и ситуации, и не менее значительные, чем те, что нам оставили классики. Мы не противопоставляем классическую литературу и нашу, мы их только сопоставляем, ибо они связаны живой кровью на-

родности и реализма, искренности и человечности.

Предки тех, кто хулит наших писателей, известны. Это они изгнали Данте из Флоренции, это они травнили Байрона и Шелли, это они помогали убить Пушкина и Лермонтова, это они поливали злобной клеветой Горького и освистывали Маяковского. Они всегда находят объекты, ибо в душе они враждебны той новой жизни, которая растет, и цепляются за старое, которое они ценят только потому, что оно освящено традицией времени. Они не понимают, что мучительную раздвоенность Гамлета, искание смысла жизни Пьера Безухова, раскольническое стремление стать личностью авторы их, доживи они до нашего времени, может быть отдали бы за эпическую цельность Чапаева и героическое величие Павла Корчагина.

Наше время создает нового человека. Советская литература живет стремлением запечатлеть многогранное проявление этого нового человека. Мы создаем новую жизнь, и наша литература полна произведениями, стремящимися художественно воплотить ее облик.

Слов нет, бывают у наших писателей срывы. Но разве все было хорошо в русской литературе, скажем, первой половины XIX века? Ведь рядом с Пушкиным был Булгарин, а рядом с Гоголем — Кукольник. Ведь судим же мы о литературе той эпохи по Булгаринным и Кукольниковым. Не все одинаково хорошо в творчестве даже больших писателей. Разве хотело одно из произведений Грибоедова может сравниться с его «Горем от ума», разве второй том «Мертвых душ» хуже первого? А кто поставит в укор Льву Толстому его неудачный роман «Семейное счастье»?

Неудачи есть, есть слабые произведения, есть просто плохие, но так всегда было в общем потоке литературного развития. Время производит естественный отбор ценностей, и разве сами мы не можем сказать своего слова о том, что лучше всего передает дух нашего времени?

Но наш противник еще не сказал своего последнего слова. Вот оно: — Допустим, что все сказанное верно. Признаем, что современная литература отразила то, и другое, и третье. Вы все говорите «отразила», «выразила», но где же искусство, где то мастерство, которое Пушкина

дало Пушкиным и Толстого — Толстым?

Наш оппонент заранее торжествует победу. Он твердо уверен, что нет ничего красивее пушкинского стиха и нет ничего лучше прозы Толстого. Но мы против этого и не спорим. Как и в другом случае, здесь не стоит вопрос «догнать и перегнать». Задача заключается в другом. Наши классики создали изумительный русский литературный язык. Он — основа для всех пишущих и сегодня. Но в русском языке XX века произошли значительные сдвиги, в особенности после 1917 года. Наша речь во многом стала иной. Есть вещи, для которых уже не подходит ни стиль Пушкина, ни стиль Льва Толстого, их можно выразить только стихом Маяковского, только прозой Алексея Толстого, Михаила Шолохова и Ильи Эренбурга. Мы не утверждаем, что оформление литературного языка нашего времени закончено. Но основы заложены, и рождается красота нового слова.

Новое содержание рождает новые формы. Но те, с кем мы в споре, не понимают содержания новой литературы и потому не чувствуют красоты новых форм. А они есть у нас так же, как и новое содержание. И богатство нового содержания литературы, получающего выражение в новых формах, есть как раз то, чего консервативно настроенные люди не в состоянии оценить. Нас же это еще и еще раз приводит к радостному и гордому сознанию, что литература у нас есть.

Война — проверка всего: и прочности нашего строя, и силы нашей державы, и ценности нашего человека. Она же явилась и генеральной проверкой нашей литературы. Испытание огнем наша литература выдержала с честью.

Слитность литературы и народа проявилась в том, что писатели разделили судьбу масс. Большинство писателей с первых же дней устремилось на фронт. Они поехали не за «материалом», они пошли сражаться, кто пером, а кто с оружием в руках, а кто и тем и другим.

На фронте находится более 800 советских писателей. Они работают в дивизионных, армейских и фронтовых газетах. Советский человек всегда общественник. На фронте, так же как

и в тылу, ему нужна пресса, голосом которой он выражает свои мысли и чувства. Писатели нужны теперь как никогда, ибо огромный размах человеческих чувств советского воина и гражданина нужно вместить в русло печатного слова, которыми обмениваются между собой воины. Наш читатель может убить немца, подорвать вражеский танк, сбить самолет. Он хочет, чтобы его товарищ сделал то же, но сказать не умеет, да ему и некогда. Это говорит за него его голосом, его словами писатель. Писатели идут в рядах бойцов, они делят с ним трудности и опасности, они живут единой любовью к родине и общей ненавистью к врагу. Каждый делает свое дело, — то, которое он лучше знает. Но все чаще и чаще боец обретает дар слова. Из этой среды еще появится не мало писателей.

Замечательные письма Юрия Крымова интересны как свидетельство того, что писатель на фронте смотрел на себя не как на представителя литературного «цеха», а как на бойца, у которого есть свое место в бою.

Все должны знать судьбу Аркадия Гайдара. Оставшись в 1941 году на оккупированной немцами территории, он с оружием в руках сражался против оккупантов. Когда ему предложили вылететь на самолете на Большую Землю, он отказался. Он сражался и пал как воин. Михаил Гершензон, другой автор, писавший для юношества, свое право учить молодежь жизни доказал своей кровью. Он заменил вышедшего из строя командира и повел подразделение в атаку.

Союз советских писателей гордится тем, что два его члена получили высокое звание Героя Советского Союза. Это — молодой украинский писатель Борзенко и казахский критик Малик Габдулин. Сотни боевых правительственных наград, полученных литераторами-фронтовиками, — лучшее свидетельство того, что советские писатели были с народом не только в дни мира, они стали в ряды его бойцов и в дни войны.

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан...» Наши писатели хотят быть и гражданами, и поэтами.

Выполняя боевые задания, как воины пали смертью храбрых прозаики В. Ставский, Б. Лапин, З. Хацревин,

зюэт Д. Алтаузен, историк литературы профессор О. Цехновицер, критики М. Серебрянский и Ю. Севрук. Война огняла у нас талантливогo сатирика Евгения Петрова.

Но не только непосредственным участием в войне ознаменовали свою деятельность советские писатели в годы великого испытания. Они сражались и творили.

Еще рано подводить итоги творческим достижениям нашей литературы за время Великой Отечественной войны. Но многое уже ясно и теперь. Прежде всего, война не нарушила естественного хода развития нашей литературы. Более того, она вызвала ее новый расцвет и ускорила созревание многих дарований.

Советская литература военного времени выполнила огромную задачу. Она выразила патриотический подъем народа, единодушно ставшего на борьбу против немецких захватчиков. Со страниц газет, по радио, на плакатах, всеми доступными средствами писатели говорили с народом, вдохновляя его на священную войну за нашу советскую родину.

Народ знал и видел, что мастера культуры с ним. Он слышал голос Алексея Толстого, в ярких статьях и памфлетах разоблачавшего врага и напоминавшего о великих исторических и культурных традициях нашей страны. На фронте и в тылу читатели жадно ловили каждую статью Ильи Эренбурга, сочетавшего пламенную страстность трибуна с блеском сатирического мастераства. Михаил Шолохов внес свой вклад в общее дело борьбы очерками и статьями, крепившими любовь к родине и ненависть к врагу.

Всех не перечислишь, но каждый писатель участвовал в общем деле. Статьи, стихи, очерки, рассказы—все они били в одну цель: по злобным и коварным врагам нашей родины; и слово писателей доходило до народа, оно жило в его среде, ибо писатели выражали то, что чувствовали все советские патриоты, они выражали и слова и образы, и мысли, и чувства советских людей.

На долю писателей выпала великая честь—воплотить в художественных образах героическую борьбу защитников родины, раскрыть значение их славных подвигов и сохранить для

будущих веков правдивую летопись этой эпопеи народного героизма. Советские писатели сделали уже немало. В народное сознание войдут образы Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, 28 гвардейцев, героев Краснодона. По живым следам событий создавались их портреты. Подлинная правда о героях Великой Отечественной войны полна такой огромной человеческой красоты, что даже скупая запись фактов принимает художественный облик. Эта работа еще только начата, но дорог почин, и то, что собрано и будет собрано, на века даст сюжеты для больших героических произведений.

В очерках и рассказах наших писателей, в стихах и поэмах запечатлены многие этапы войны. Упорные бои под Москвой, героическая оборона Одессы, Севастополя, Ленинграда и Сталинграда, кавказская битва и сражения в Заполярье, победоносные наступательные операции Красной Армии, боевые действия партизан, славные дела пехоты—«царицы полей», могущество нашего «бога войны»—артиллерии, бесстрашие сталинских солдат, мужество танкистов, саперов—все это записано в той огромной летописи, которую повседневно создают советские писатели. Часто это еще только заготовки, материал для будущих полотен, но иногда—это законченные этюды, выполненные с подлинным мастерством. Это огромная работа, мы ее еще не всегда ценим, а люди будущего будут с благодарением листать комплекты «Правды», «Красной Звезды», больших и малых газет нашей страны, где в записях, сделанных непосредственно в ходе событий, запечатлен пафос великого воодушевления, двигавшего нашим народом в эти замечательные годы.

Но наших писателей не удовлетворяет одно лишь собиранье материала. Повести и романы, драмы и поэмы, возникающие за годы Отечественной войны, говорят о страстном стремлении писателей создать художественное полноценное отображение нашей великой эпохи. Василий Гроссман рассказал в романе «Народ бессмертен» о первых трудных месяцах войны, когда Красная Армия сдержала натиск бронированных полчищ Гитлера и сорвала «блицкриг». Константин Симонов первым поднял тему «Русских людей» и в романе «Дни и ночи» описал героиню бессмертной Сталинград-

ской битвы. Глубину и величие патриотизма советских людей перед лицом врага показали Леонид Леонов в своем «Нашествии», Ванда Василевская в «Радуге» и Борис Горбатов в «Непокоренных». Эпос Ленинграда вдохновил поэмы Николая Тихонова, Веры Инбер, Зинаиды Шишовой и Ольги Берггольц. К этим последним надо присоединить и поэму в прозе А. Чаковского «Это было в Ленинграде». Д. Твардовский создал превосходный подлинно народный образ советского солдата — Василия Теркина. Маргарита Агигер опозитивировала легендарную тему Зои — народной героини-партизанки. Фрагменты Шолохова «Они сражались за родину» — прекрасное обещание, выполнения которого мы все с нетерпением ждем. Гладков и Шагинян запечатлели героический труд тыла.

Много хороших вещей уже создали советские писатели за неполных четыре года войны. Как всегда, советская литература поражает огромным диапазоном талантов и дарований, — от маститого Алексея Толстого, признанного мирового мастера, внесшего свой вклад в литературу Отечественной войны не только статьями, но и «Рассказами Ивана Сударева», до молодого талантливого писателя Георгия Березко. Поистине нельзя не порадоваться богатству дарований в нашем народе. Свое слово о войне сказали и певец природы Михаил Пришвин, и даже Анна Ахматова и Пастернак, узнавший, какое тысячелетие у нас на дворе.

Голосами всех народов нашей страны говорит литература о войне. Громче всех голос старшего брата — русской советской литературы, но немало создано уже и украинскими писателями, и белорусскими, и другими литераторами нашей единой многонациональной родины.

Подлинным патриотическим пафосом насыщена поэма Максима Рыльского «Украина в огне». «Похороны друга» П. Тычины — изумительная поэтическая симфония, появление которой — событие не только для украинской, но и для всей советской поэзии. «Знамя бригады» белорусского поэта Аркадия Кулешова — одно из известных произведений последнего времени. Грузинский поэт Григорий Абацидзе издал поэму «Гора радости». О войне пишут украинские писатели Л. Первомайский, С. Головановский, М. Бажан, армянский писа-

тель А. Исаакян, писатель и поэт Татарион Файзи и казахский литератор Малик Габдулин, литераторы Прибалтики — Упитс, Цвирика, Судрабалис. Большое общественно-политическое значение имела в дни войны драматургическая деятельность украинского писателя А. Корнейчука, чья пьеса «Фронт» обошла все сцены Советского Союза.

Советская литература военного времени обладает одной очень важной особенностью. Будучи глубоко патриотической, она совершенно чужда узкого национализма. Без шовинизма литературы военного времени в прошлом не обходились никогда. В нашей же литературе его нет, ибо это противоречило бы самому духу советской идеологии.

«Сила советского патриотизма состоит в том, что он имеет своей основой не расовые или националистические предрассудки, а глубокую преданность и верность народа своей советской Родине, братское содружество трудящихся всех наций нашей страны», — сказал товарищ Сталин в своем докладе о XXVII годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Выражение этого мы видим в произведениях советских писателей, которые никогда не унижались до шовинизма.

Советская литература — антипод человеконенавистнических писаний фашизма. Война показала высокие моральные качества советского человека, и наша литература поэтому, естественно, полна изображений именно высокой моральности наших людей на войне.

Фашизм проповедует разрушение, мы — боремся за созидание. Советская военная литература — первая в мире военная литература, прославляющая и в войне не разрушение, а сохранение материальных и духовных ценностей и дальнейшее созидание их.

Мы сумели остаться гуманистами и тогда, когда необходимость заставила нас взять в руки оружие. Мы воюем не для того, чтобы уничтожать, а во имя истребления варваров, грозивших погубить всю культуру человечества. Советский человек и на войне остался творцом, созидателем, строителем. Этот дух пронизывает всю нашу литературу.

За нами стоят вековые традиции, — вот почему в годы войны еще больше возрос интерес к прошлому нашей

родины. «Ливонская война» И. Сельвинского, «Порт-Артур» А. Степанова, «Багратион» С. Голубова и ряд других произведений на исторические темы не случайно возникли именно во время войны. Патриотический порыв народа, его любовь к своим великим традициям вдохновили Алексея Толстого на создание «Ивана Грозного», придали особую живость третьей части «Петра Первого».

Скептиков занимает вопрос: многое ли выживет из созданного во время войны. Вопрос не только праздный, но и вредный. Советские писатели думают не об этом. Они знают, что народ ждет от них больших художественных произведений именно теперь, и они творят. Они творят для своего времени, а мудрое изречение гласит: «Кто творит для лучших людей своего времени, тот творит для всех времен».

Спору нет — многое еще не сделано, многое еще не столь хорошо, как нам хотелось бы. Но работа идет. Произведения советских писателей воплощают живой дух нашего времени и нашего народа. В них мы видим и трудности, которые нам пришлось пережить, и подвиги наших героев, и великое напряжение наших сил, и бессмертные победы великой армии, ведомой гениальным полководцем.

Об этом написаны не только очерки, но и рассказы, и поэмы, и драмы, и романы. Словом, у нас есть литература — литература, достойная великого народа и его великих побед.

И в заключение — о «пафосе дистанции».

Раньше говорили, что он нужен писателям, чтобы иметь возможность издать охватить все значение великих событий. Советские писатели доказали, что эту дистанцию можно сократить до минимума. Они создали значительные произведения в ходе самих событий и по их горячим следам.

Но «пафос дистанции» остался. Только характер его изменился. Он стал принадлежностью некоторых критиков, которые молчат. Видимо, нужно, чтобы прошло много времени, прежде чем они смогут понять и оценить великое значение творческой работы наших писателей. Пройдет много времени, прежде чем они поймут, что у нас есть Литература... да-да: литература с большой буквы. Не будем уподобляться им.

Писатели покончили с «пафосом дистанции». Они живут пафосом эпохи. Критики должны последовать их примеру и понять пафос нашей литературы.

А она есть у нас. Бесспорно есть.

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ

О КНИГЕ В. КАТАНЯНА «МАЯКОВСКИЙ»

I

У русской революции был Маяковский. Если продумать жизнь Маяковского, то поразит прежде всего исключительное соответствие художника той роли, которую ему пришлось сыграть в жизни, исчерпывающая подготовленность ума, характера, силы — целого спектра дарований. Как будто природа, предвидя революцию, заблаговременно озаботилась о создании поэта.

Когда еще мальчиком я с корабля впервые увидел плывущего дельфина, меня потрясло зрелище совершенства того существа, абсолютное соответствие каждого его органа той обстановке, в которой ему приходилось действовать: выгнутый медный нос, азрезающий волну, идеально обтекаемое тело, мощный хвост и могучее перенние, призванное двигать, нести, наступать, туманная синевато-золотистая окраска — цвет самого моря... Иного лишнего! Все понятно в этом удесном организме. Он не мог бы принадлежать ни земле, ни воздуху, это — сама стихия воды.

Трудно представить себе Маяковского астрономом, инженером, врачом, генералом... Даже художником, хотя он и писал плакаты. Даже актером, хотя он снимался в кино. Маяковский мог быть только поэтом! Это была сама стихия стиха. Но и этого мало. Немыслимо вообразить себе Маяковского автором терцин, сонетов, баллад с кодой. Маяковский не мог родиться ни в эпоху ампира, ни во времена барокко и рококо, ни тем более в периоды безвременья. Стиль Маяковского — это стиль революции. Именно пролетарской революции. Оды честь Мирабо или Керенского не могли бы уложиться в строчки этого

поэта. Именно русской революции: эллин, итальянец, француз и уж тем более германец — это не Маяковский.

Владимир Маяковский — это первый лирик страны, с огромной полнотой выразивший в своем творчестве себя, а в себе — героя нашей эпохи, человека, все помыслы которого, все стремления и действия, как стрела, летящая в цель, направлены на строительство социализма.

В этом качестве Маяковский выше своих стихов, выше своей теории искусства, выше своей биографии трибуна. И когда говорят, что поэты Советской страны не сумели еще создать образа, который стал символом нашей эпохи, мы в праве указать на Владимира Владимировича и сказать:

«Вот писатель, создавший такой образ. Имя этого образа — Владимир Маяковский».

Этот образ нуждается в глубоком и всестороннем раскрытии и политиками, и поэтами, и критиками, и литературными исследователями, ибо понять Маяковского как явление, значит понять эпоху, которая гремела его устами, значит почувствовать природу той силы, которая определила новую эру в истории России и которая сегодня делает ее освободительницей Европы. В осознании этого образа большую помощь окажет книга В. Катаняна «Маяковский»¹.

Задача, которую поставил перед собой В. Катанян, на первый взгляд очень скромна: создать хронику труда Маяковского, справочник — ничего

¹ В. Катанян. «Маяковский», «Советский писатель», 1945.

больше. Он не пытается, подобно Мабилло в его монографии о Гюго, дать «атлас умственной жизни» своего поэта. Автор этой книги вообще скрыт за фактами, датами и цитатами и претендует только на их точность. Пользуясь работой Катаняна, можно определить, в каком году было написано любое произведение Маяковского, где и когда состоялось то или другое его выступление, как выглядела афиша, о чем говорил Маяковский с эстрады, какого характера записки получал он из зрительного зала.

Добросовестность, с какой выполнена эта работа, заслуживает всяческого одобрения. Автор не упускает ни одной мелочи, ни одной детали. Он не знает, пригодится ли тот или другой факт из жизни Маяковского, нужна ли будет та или иная дата, но как подлинный исследователь, впервые закладывающий фундамент изучения жизни Маяковского, считает своим долгом с одинаковой бережностью отнестись и к великому, и к малому. И он безусловно прав. Если Чарльз Дарвин на основании подбора мелких деталей закономерностей природы мог создать свою теорию происхождения видов, значит для науки не существует незначительных фактов.

В. Катанян не заботится о выводах. Его дело — систематизация фактов. Пусть нельзя без некоторой неловкости читать перечисление первых строк стихотворных текстов для «Окон сатиры»:

«Эй, рабочий! 7 марта...», «Эй, товарищи! Чтоб ему не на кого было опираться...», «Эй, товарищи, за труд!» «Мы в работе ловки!», «Эй, крестьянин, если ты не знаешь о налоге декрета», «Эй, уралец, без помощи твоего рудника» и т. д., и т. п.

Пусть невозможно без улыбки следить за чередованием событий, изложенных на стр. 137:

23 февраля — выступление на вечере поэтов о Ленине у студентов Вхутемас.

В конце февраля написаны для Моссельпрома рекламные тексты папируса «Дукат», «Люкс», «Максул», «Рекорд», «Герцоговина-Флор», «Янтарь», «Трио», трубочного табака «Джевиз», колбасы, хамовнического пива, вод, специй и мари-

надов, печенья, бисквита, карамели, монпасе и кофе «Мокко».

3 марта присутствовал на заседании литературной комиссии ЦК ВКП(б). Обсуждался проект резолюции ЦК ВКП(б) о художественной литературе.

Не в этом дело. В. Катанян, редактор и критик, не мог, конечно, не заметить некоторой безвкусицы такого соседства материалов. Но он невозмутимо проходит мимо нее, не позволяя себе навязывать датам не присущего им «изящества». Этим он еще раз подчеркивает вполне объективный, строго научный характер своей работы.

Если бы книга «Маяковский» ничего больше не представляла собой, кроме собрания чисел на протяжении 250 страниц, то и тогда труд В. Катаняна был бы оправдан, как первый очерк биографии великого поэта, выраженный в цифрах. Но книга эта не только томик адресов и телефонов. Она полна жизни. Ее читаешь с любопытством, а иногда с волнением. Чего стоит, например, необычайно выукло и ярко отраженное в ней пребывание Маяковского в Нью-Йорке! Позволю себе привести это место почти целиком. Оно читается как сценарий нашумевшего фильма, которого мы не видели, но о котором нам очень много и подробно рассказывали. Все здесь как-будто знакомо и в то же время точно увидено в первый раз.

31 июля 1925 — приехал в Нью-Йорк.

6 августа написано стихотворение «Бродвей».

9 августа в газете «Нью-Йорк Таймс» напечатана беседа с Маяковским Майкл Голда: ...Ему тридцать лет; он весит около 215 фунтов; у него смелое, твердое выражение лица и мускулатура футболиста.

14 августа в русских газетах «Новый мир» и «Русский голос», издающихся в Нью-Йорке, напечатан ряд приветствий и статей о Маяковском. В «Новом мире» напечатаны были, кроме того, стихотворения Маяковского: «Наш марш», «Испания» и отрывок «Партия» из 2-й части поэмы «Владимир Ильич Ленин».

«В его поэзии, прежде всего в его ритме — весь пульс совре-

менной России, от беспорядочных первых раскатов революционного грома до порывов и лихорадочности нового строительства. Маяковский виден весь. Он — живая программа, живой плакат СССРовского сегодня». («Русский голос» 14 августа 1925.)

В тот же день состоялось первое выступление Маяковского в Нью-Йорке в помещении Централ Опера Хауз.

«...Зал замирает. Воцаряется полная тишина. И, словно раскаты грома, раздается голос Маяковского. Так гремел голос пролетариата в Октябре 1917 года... В громовых раскатах его голоса чудилась та великая страна, которая породила одного большого и много-много малых Маяковских, значение которых растет вместе с ростом величия единственной в мире пролетарской Социалистической Республики». («Новый мир», август 1925.)

16 августа — статья Давида Бурлюка о Маяковском в газете «Русский голос».

«Маяковский пишет роман. О чем — сам не говорит. Роман из русской жизни, будет в нем и Америка! Удалось подслушать. Но что? Когда будет готов? Ничего никому неизвестно. Роман в 20 листов».

В августе в Нью-Йорке вышел сборник «Американцам для памяти». (Изд. «Нью-Йоркл Пресс». Стр. 32, тир. 10 000.)

В августе — сентябре — поездки на Уик-энд (конец недели) в рабочий лагерь «Кемп «Нит Гедайге» (Не унывай), организованный еврейской коммунистической газетой «Фрейгайт» под Нью-Йорком.

14 сентября — телеграмма из Нью-Йорка к Л. Ю. Брик (в ответ на сообщение, что Госиздат решил отказаться от издания Собрании сочинений): «Расстроен известием телеграфуру немедленно причины задержки кому телеграфировать. Окончив лекции немедленно еду».

Между 10—20 сентября — третье выступление в Нью-Йорке.

20 сентября написано стихотворение «Кемп «Нит Гедайге»».

26 сентября — выступление в Биконе.

29 сентября — выступление в Детройте.

«Вышло так — возмущенно писала белогвардейская газета «Рассвет», издававшаяся в Детройте, — что вместо литературной лекции Маяковский пел хвалебные песни советской власти. Маяковский не представитель литературы, а советский агент».

2 октября приехал в Чикаго... В этот же день первое выступление Маяковского в Чикаго в помещении Темпл-Холл.

«1500 человек набилось в Темпл-Холл, чтобы послушать знаменитого русского поэта Владимира Маяковского. Собрание было открыто «Интернационалом»... Сначала и до самого конца он держал аудиторию под своим обаянием. Публика едва не сорвала крышу криками восторга от его стихов, посвященных Америке: «Открытие Америки», «Барышня и Вульворт», «Блэк энд Уайт». Пятьсот экземпляров его стихов были распроданы на месте». («Дэйли Уоркер», 4 октября 1925.)

4 октября — четвертое выступление в Нью-Йорке в помещении Йорквилл-казино.

5 октября — выступление в Филадельфии в помещении Иглс Темпл.

11 октября — в газете «Нью-Йорк Таймс» статья Луи Рича о Маяковском:

«Маяковский сочетает в себе все противоречивые черты, придающие русским сложность и очарование: мятежный романтизм... научную фантастику... дерзость... Он взял лучшее в русской революции и сделал символом веры, могущества и отваги воинственный крик освобожденного человека».

В первой половине октября — выступление в Кливленде.

16 октября написано стихотворение «Небоскреб в разрезе».

17 октября — выступление в Питсбурге в помещении Русского технического общества.

20 октября — второе выступление в Чикаго, в помещении Шенхофен-Холл.

25 октября — последнее «прощальное» выступление в Нью-Йорке, в помещении Йорквилл-казино.

В октябре вышел в Нью-Йорке № 1 журнала «Спартак», посвященный Маяковскому.

28 октября выехал из Нью-Йорка на пароходе «Рошамбо» в Гавр.

В этом сравнительно небольшом (и сокращенном мною) отрывке, посвященном одной из очень любопытных страниц биографии Маяковского, заключена эпоха 20-х годов в ее экстракте. Мне как читателю не нужно никакой лирической водицы для усвоения этого экстракта. Все понятно. Не в замшевой кофте туриста, не в смокинге дипломата и не во фраке концертанта, а в поэтической своей прозодежде отразился в сознании американцев этот человек, — и это отражение соотечественника в чужом восприятии выявляет его перед нами с особенной остротой и свежестью: так большая тема, знакомая нам в симфонии, звучит по-особому четко, если она переведена на клавиатуру рояля. Я вижу Маяковского и его внешность: рост, вес, голос, походку, жесты, манеру разговаривать. Я втягиваюсь в его напряженную работу: в поездки, выступления, стихи, интервью. Я глубоко чувствую направленность этой работы: борьбу за великую правду мира и за отечество этой правды — СССР. Во мне отражено огромное впечатление, производимое Маяковским на слушателей, и мне становится понятным то обаяние, которым завораживало американцев творческое могущество Советского Союза.

Этот кусок жизни, наполненный пульсом Америки, просвеченный обликом Маяковского, пронизанный мыслями о величии и ничтожестве, насыщенный чувством радости, горечи и гнева, — заключен в трех с половиной страничках справочника В. Катаняна. Я неплохо знал Владимира Владимировича лично, немало читал его и о нем, напряженно думал об этом человеке, особенно после его смерти. Но этот отрывок из книги «Маяковский» обогатил меня новым знанием о нем.

Как-то однажды после возвращения Маяковского из Америки я слышал его выступление в Политехническом институте. Он читал «Бруклинский мост». Это был как раз тот период, когда Маяковский увлекался индустрией. В этой связи все в его стихотворении было мне особенно

близко и дорого — и индустриальная тема, и пафос техницизма, и эстетика инженерного расчета:

Я горд
вот этой
стальной милей,
живьем в ней
мои виденья встали,
борьба
за конструкции
вместо стилей,
расчет суровый
гаек
и стали.

Здесь была поэтическая реализация того, что Маяковский повез из СССР за океан. Восторженная ода богине Технэ, которая звучала уже в душе Маяковского, отлилась у него при взгляде на стальное сооружение Бруклина в могучие стихи. И вдруг я услышал концовку, которая меня поразила:

Бруклинский мост —
да...
Это вещь!

Как это было сказано! Я сразу увидел перед собой американца. Эту интонацию своего человека в технике Маяковский вывел уже отсюда. Читая сейчас книгу Катаняна, я снова вспоминаю вечер в Политехническом и понимаю, что фраза эта возникла в Маяковском органически. Она не была только нью-йоркским акцентом, которым он решил щегольнуть по приезде домой. И вот, отмечая огромную предприимчивость Маяковского, особенно впечатляющую на фоне Вульворг Бильдинга, я начинаю глубочайшим образом осознать, что Владимир Маяковский соединял в себе «русский революционный размах с американской деловитостью». И когда под этим углом зрения я принимаюсь перелистывать страницы катаняновской книги, рыться в фактах и перечислять даты, — уверенность моя становится убежденностью.

Ни один день не проходил у Маяковского попусту. Раскройте книгу «Маяковский» наугад: с любой страницы на вас хлынет ощущение напряженнейшего труда, насыщенности дня до секунды, неиссякаемой энергии в борьбе за одну и ту же цель, за одну и то же дело — великое дело социализма.

Страница 105. Январь 1923: Маяковский пишет стихотворение «Герма-

ния», сдает ГИЗу рукопись «398 страниц Маяковского», печатает в журнале «Календарь искусств» (Харьков) очерк «Париж», в «Красной ниве» — Необычайное приключение, бывшее с Я. Маяковским летом на даче, сдает в ГИЗ рукопись «Семидневный смотр французской живописи» с 25 репродукциями, печатает в «Известиях» стихотворение «На цепь» (в связи с оккупацией Рура), участвует в совещании Агитотдела ЦК ВКП(б), печатает в «Известиях» стихотворение «Товарищи, разрешите мне поделиться впечатлениями о Париже и о Монэ», в «Красной ниве» стихотворение «Пернатые», устраивает совещание редакции «Лефа» у себя на Лубянском проезде, пишет письмо сотруднику журнала Н. Ф. Ч. о разногласиях при обсуждении № 1 журнала, сдает в издательство сборник «Стихи о революции», пишет для бюллетеней Прессбюро ЦК ВКП(б) очерк «Сегодняшний Берлин».

Страница 160. Июнь 1926. Печатает в вечернем выпуске «Красной газеты» (Ленинград) стихотворение «Вызов», в газете «Заря Востока» отрывок из статьи «Как делать стихи», в «Известиях» стихотворение «Протекция», сдает в «Огонек» рассказ «Как я ее рассмешил», в «Огонек» же стихотворение «Мексика—Нью-Йорк», печатает в «Известиях» стихотворение «Фабрика бюрократов», в «Новом мире» стихотворение «Богомольное», выступает в Одессе с докладом «Мое открытие Америки», пишет в Одессе стихотворение «Строго воспрещается», выступает вторично с докладом «Лидо советской литературы», печатает в журнале «Шквал» № 25 стихотворение «От кактусов до железа» и автошарж, выступает для рабкоров, выступает в театре «Дворец моряка», в один и тот же день 13 июня печатает: в «Известиях» стихотворение «Любовь», в «Комсомольской правде» — «Послание пролетарским поэтам», в «Красной ниве» — «Собачья глушь».

Страница 237. Март 1930. За месяц до самоубийства Маяковский дает для «Литературной газеты» интервью по поводу своей пьесы «Баня», выступает в Ленинградском университете и в тот же день в Педагогическом институте им. Герцена, затем в ленинградском Доме печати, затем там же в Институте народного хозяйства, участвует на заседании Исполбюро Федерации писателей в

Москве, в тот же день в клубе писателей на вечере памяти Велимира Хлебникова, пишет 22 лозунга для спектакля «Баня», выступает в клубе фабрики «Трехгорная мануфактура», выступает в Политехническом музее на вечере «Писатели — комсомолу», открывает выставку «20 лет работы», выступает на диспуте о пьесе Безыменского «Выстрел», читает по радио антирелигиозные стихи, сдал ВЦСПС текст представления «Москва горит», выступает в Доме комсомола Красной Пресни, выступает на совещании в редакции «Вечерняя Москва» о постановке «Бани» и в тот же день на диспуте о «Бане» в Доме печати, написал стихотворение «Товарищу подростку», принимал участие в репетициях «Москва горит» в Госцирке и написал шесть текстов для летучек.

Я привел три справки, взятые неудачу. Я мог бы привести тридцать три. Вся книга в сущности посвящена этой титанической работе. Однако ежедневный, ежеминутный труд не был трудом поденщика. В нем — неугасимое горение огромного человеческого сердца! Каждое стихотворение Маяковского было полно новизны и свежести. Каждое выступление ставило вопросы, разрешало проблемы, стремилось поднять уровень зрителя, воспитать в нем боевой дух революционера, привить вкус к подлинной красоте жизни и искусства, зародить ненависть ко всему мещанскому. В нем Маяковский видел одного из самых страшных врагов социализма.

II

Владимир Маяковский великий поэт. Но Маяковский и замечательный теоретик искусства, зачинатель новой эстетики. И вот эта черта его деятельности остается пока за пределами научного анализа. Речь идет не о статье «Как делать стихи», очень интересной по отдельным штрихам, но слишком уж субъективной. Мысли и замечания Маяковского, разбросанные в его выступлениях, в репликах, в ответах на записки, впервые нашли себе единое пристанище в книге В. Катаняна. Здесь они тоже разбросаны «по градам и весям». Но если специально проследить за движением мыслей Маяковского об искусстве, начиная от периода футуризма и до вступления Маяковского в РАПП, — пред нами вырастет стройная и вполне законченная эстетическая теория.

Так тридцать афоризмов, дошедшие до нас из погибших сочинений Гераклита, дают ясное представление о его диалектике.

В своей автобиографии Владимир Владимирович пишет о весне 1905 года: «...приехала сестра из Москвы. Восторженная. Тайком дала мне длинные бумажки. Нравилось: очень рискованно. Помню и сейчас:

Опомнись, товарищ, опомнись-ка,
брат,
скорей брось винтовку на землю.

Это была революция. Это было стихами. Стихи и революция как-то объединились в голове».

Вот фраза, которую можно было бы поставить эпиграфом к будущим исследованиям об эстетике Владимира Маяковского. Эта идея становым хребтом пройдет сквозь все, что будет в дальнейшем делать Маяковский в стихах и прозе. Поэзия и революция — едины.

Первые тезисы Маяковского об искусстве относятся к 20 ноября 1912 года, — до Октябрьской революции было целых пять лет. России предстояло еще пройти сквозь огонь 1914 года. Империя не предвидела своего краха в грядущей войне. Напротив, после разгрома революции 1905 года она более чем когда-либо была уверена в своей мощи. Недаром после Ленского расстрела министр внутренних дел Макаров имел наглость во всеуслышание заявить: «Так было и так будет!» На массовые забастовки рабочих царизм отвечал расстрелами; на бунты крестьян — тюрьмами и каторгой; на волнения войск в Туркестане — военно-полевым судом. Не потому ли премьер-министр Коковцев и позволил себе заявить французскому корреспонденту: «В России за сто верст от столицы и за тридцать верст от уездных городов никто политикой не занимается?»

Это было время российского просперити, подчеркнутого во внешней политике фанфарами франко-русского альянса. Не мало светлых умов нашей интеллигенции было затуманено блеском и брвадами этих успехов. Утративши веру в силу народного восстания, даже некоторые партийные интеллигенты стали заниматься «богоискательством» и «богостроительством». Что же сказать о людях искусства? Символизм, бывший до того только литературным течением, теперь от-

верз уста для философского откровения. Соллогуб призывает отвергнуть реальную действительность и смотреть на бытие как на «творимую легенду»; Брюсов увлекается переводами из Эдгара По, воспевавшего мир, как «сон во сне»; Бальмонт отрицает поэзию Пушкина и Лермонтова, так как она реалистична и далека от таинственного; Мережковский, однако, милостиво амнистирует Лермонтова, ибо заметил у него движение «оттуда сюда», то есть опять-таки связь с мистикой. Был еще Ремизов со своей болотной чертовщиной — шишигами да недотыкомками. Был Кузьмин. Вот почему, когда на стенах Троицкого театра в Петербурге появилась афиша с тезисами Маяковского, она оказалась первым, еще неотчетливым, но все же ощутимым погромыхиванием надвигающейся бури.

В условиях столыпинской реакции, когда российские граждане не имели возможности открыто подвергать критике существующий режим, протестантский дух молодежи искал своего выражения в борьбе за новую эстетику. Их революционность приобретали форму новаторства. Первой ласточкой такого новаторства был футуризм, и прежде всего Маяковский. Начинаящий поэт выступил против знаменитых имен великопленной плеяды символистов и объявил их искусство кладбищем, а их самих мертвецами «Пройденные этапы русской поэзии!» — возгласил Маяковский в одном из тезисов этой афиши. Он обвинял символистов в трех грехах: в литературности их творчества, в боязни индивидуализма и в мещанском характере их лозунга «аполлонизм».

Сейчас трудно с точностью установить, что именно хотел сказать Маяковский этими пунктами. Может быть, субъективно девятнадцатилетний юноша действительно вкладывал в свою критику исключительно литературное содержание. Но, как говорит Гейне, тигр в детстве был все-таки тигренком, а не кошкой, и в эти пункты мы видим в зародышевом состоянии то основное, что впоследствии стало программой поэтической деятельности Владимира Владимировича. В самом деле, разве нельзя рассмотреть тезис о литературности поэта-символистов как упрек в отрыве от жизни? Разве «боязнь индивидуализма» не может означать требования личной, прямой и открытой связи

тересованности в изменении мира вместо безличного служения Красоте с большой буквы, ставшего каким-то эстетским ритуалом. Наконец борьба против «аполлонизма». Не сводится ли она к борьбе против аполитического искусства, равнодушного к судьбе народа и человечества?

Правда, теоретически Маяковский видит в новом искусстве «возрождение первобытной роли слова», а эту роль он вместе с Бурлюком и Хлебниковым сводит к «словотворчеству», к органической связи слова с мифом. Но в практической своей борьбе с символистами Маяковский забывает об этих формулировках и противопоставляет себя декадентам, как живое мертвому.

В понятие «жизнь» Маяковский вкладывал еще очень примитивное содержание. Он призывал «жить клокочущей жизнью города, скрежетом рельсов, таять в дыхании полей, прыгать, смеяться...» Но характерно, что доклад свой на диспуте о новейшей русской литературе 24 марта 1913 года Маяковский назвал «Пришедший сам», перефразировав известную книгу Мережковского «Грядущий хам», в которой автор пророчествовал о нашествии демоса. Этим Маяковский и социально связывал себя с завтрашним днем России, что важнее всех его футуристических формул. Что этот второй смысл названия его доклада был не случаен, доказывает фраза на диспуте «речетворцев», которую он бросил в зрительный зал:

— Мы разрушаем ваш старый мир... вы нас ненавидите!
(«Русские ведомости» 15/X 1913.)

Дальнейшее развитие эстетических взглядов Маяковского происходило чрезвычайно стремительно. Так, в харьковской газете «Утро» от 16 декабря 1913 г., рецензировавшей его выступление в зале общественной библиотеки (вместе с Бурлюком и Каменским), мы находим такое поразительное место:

«...Он (Маяковский) призывал к научному мышлению, в частности—к диалектическому пониманию истории и эстетики... В эстетике больше чем где-либо держится метафизический взгляд, что эстетические нормы неизменны...»

До Маяковского ни один поэт о диалектике в искусстве не говорил. Приведенный тезис Маяковского—это уже марксизм. Владимир Владимиро-

вич впоследствии не раз пересматривал те или другие свои установки, но этой основной точки зрения на поэзию он никогда не менял. Пять лет спустя, в 1918 году, на митинге «Старое и новое искусство», Маяковский указал, что «футуристы сами отвергают сегодня то, что ими было сделано вчера. С таким же пафосом футуристы выступают против своего же искусства, если оно становится мертвым и старым» («Искусство Коммуны», 5/1 1919.)

Об этом же диалектическом взгляде на эстетику Маяковский писал в своем заявлении в Агитотдел ЦК ВКП(б), подчеркивая необходимость «бороться всяческим образом с соглашателями, в области искусства, подменивающими коммунистическую идеологию в области искусства старыми затрепанными фразами об абсолютных ценностях и вечных красотах». (Январь 1923.)

О том же говорил он и 30 октября 1929 г. в клубе 1-й Образцовой типографии: «Я никогда не считаю какую-нибудь вещь законченной, сделанной, что я, мол, «памятник себе воздвиг нерукотворный». Я твердо верю в творческие силы рабочего класса и прихожу к нему за помощью, чтобы этот нерукотворный памятник сделать рукотворным... Для меня идеалов нет».

Но Маяковский не только говорил о диалектике. Он мыслил и действовал как диалектик. Достаточно вспомнить, сколько раз он реорганизовывал литературную группировку, лидером которой являлся. Не говоря уже о «Ком-футах», сменивших футуристов, даже о «Лефе» он говорил, что его засасывало «закисание в группах» и что «одряхлевшие лохмотья «Лефа» надо заменить». Отсюда доклад его в 1928 году «Левее Лефа», отсюда организация группы «Реф», отсюда же, наконец, и выступление Маяковского в РАПП.

III

Борьба за новый стиль в поэзии была живым выражением эстетических взглядов Маяковского и являлась по существу осмыслением его же собственного творчества. В этой связи теоретические высказывания Маяковского приобретают особенную ценность.

В 1914 году, на выступлении в г. Николаеве, Маяковский говорил:

«Поэзия футуризма — это поэзия города, современного города... Телефоны, аэропланы, экспрессы, лифты, ротационные машины, тротуары, фабричные трубы, каменные громады домов, копоть и дым — вот элементы красоты в новой, городской природе. Электрический фонарь мы чаще видим, чем старую романтическую луну».
(«Трудовая газета». 26 января 1914.)

В этой тираде нас может заинтересовать, конечно, не утверждение Маяковским футуризма как урбанистического откровения. Тему города футуристы получили в готовом виде не только от Верхарна, который впервые поднял ее в поэзии, но и от Брюсова и даже от Бальмонта. Значение этой тирады заключается в том, что Маяковский считает красотой тот круг вещей, в котором человек живет и мыслит, который стал его средой, его родиной, его миром. Следовательно, прекрасное для Маяковского — то же, что характерное. Это понимание красоты определяет всю ту революцию, которую Маяковский совершил в поэзии, и вполне соответствует отрицанию Маяковским незыблемости эстетических норм.

«Самое главное, — продолжал Маяковский, — изменился ритм жизни. Все стало молниеносно, быстро, как на ленте кинематографа... Лихорадочность — вот что символизирует темп современности... Поэзия должна соответствовать новым элементам психики современного города. (Там же.)

Здесь от общего положения о красоте Маяковский переходит ко второй, не менее важной, эстетической проблеме: к взаимоотношению формы и содержания. Вышеприведенной цитатой он как бы утверждает, что форма должна конститутивно соответствовать содержанию. Следовательно, говоря практически, совершенство стиха — явление относительное: оно зависит не от того, насколько стих точен вообще, пластичен вообще, певуч вообще, а от того, насколько он характерен для выражения новой темы.

Мне могут возразить, что выводы мои шире их оснований. Но, размыш-

ляя об афоризмах Маяковского, я ни на минуту не теряю из виду его поэтическое творчество. Именно оно-то и позволяет раскрывать не всегда ясные намеки, оставшиеся нам от речей и лекций Маяковского.

Маяковский искал в поэзии стиль, соответствующий характеру эпохи. Но когда он говорил литературному молодняку: «Разрежьте ваши ямбы! Сделайте стих менее гладким, более современным!», то это вовсе не значит, что он проповедывал анархию поэтической формы, «левизну» ради «левизны». Напротив:

«Бойтесь выдавать случайные искривы недоучек за новаторство, за последний крик искусства. Новаторство дилетантов — паровоз на курих ножках. Только в мастерстве право откинуть старье». («Лес № 1, 1923.)

Ярлык «разрушителя», который долгое время прилепляли к имени Маяковского, в действительности никакого отношения к нему не имел. Маяковский — это олицетворение железной организованности в области стиха, но принцип этой организованности был не похож на тот, к которому приучили читателя классики русской литературы.

Подвергнув пересмотру всю технологию стиха и не оставив от него камня на камне, Маяковский не ограничился одной переоценкой. Великая заслуга Маяковского как стихотворца заключается в том, что вместо canceled отмененного элемента классического стиха, который казался ему устарелым и обветшавшим, он выдвигал свой, новый. Объявив старым новым силлабо-тоническое стихосложение, основанное на равном количестве слогов в строке, Маяковский создал свою просодию, основанную на равном количестве ударений (так называемый «ударник»). Взамен рифмования слогов Маяковский предложил рифмовать слова, причем независимо от их равносложности и даже последовательности чередования звуков («резвость — врезываешь», «нагло — нагло», «арба — барабан»). Система классических сравнений и метафор, строящихся на трех или по крайней мере на двух чертах сходства, Маяковский противопоставил свою, ограничивающуюся одной («Пролетали в грозы и ночи...»). Лексикой поэтизм старого стиха сменил словарем улицы. Интимно-лирический жанр заглуши-

ораторским и т. д., и т. п. Вся эта огромная творческая работа шла не во имя идеала новизны, а для того, чтобы открыть простор перед языком новых идей и чувств. И действительно: стихом Маяковского можно было говорить о таких вещах, которые до него считались за пределами поэзии, и так о них говорить, что каждый сразу же ощущал атмосферу своего времени. Это ощущение времени было основным в поэтике Маяковского. «Поэзия воспринимается только через современность», — утверждал он. Вот почему обывателями и мещанами Маяковский считал не только «рыцарей формы для формы, бесчисленных эстетизаторов и канонизаторов старого», но и тех, которые «пытаются втиснуть пятилетку в сонет». Владимир Маяковский, как истинный диалектик, музыкальное мышление считал таким же выражением мировоззрения поэта, как и мышление логическое.

«Самое революционное содержание не может быть революционным без революционного подхода к слову», — говорил Маяковский. Итак, форма, оказывается, это тоже содержание!

Это понимал еще Вяземский, который говорил, что «о характере певца не можно судить по тем словам, которые он поет». Но этого не понимали многие критики и даже поэты, которые, называя себя марксистами и борясь за новую культуру, эстетически оставались старовеерами и по сути дела требовали нового содержания в старой форме. Борясь с врагами социализма, Маяковский вынужден был бороться и с теми друзьями нового строя, которые тянули его назад. Маяковский, как никто, понимал, что стих легко заболевает склерозом, если утрачивает гибкость и не пытается каждый день, каждый час, каждую минуту выражать ритм жизни всей системой своих органов: просодией, метафорами, звукозаписью, рифмой.

И каким ободрием всему, что есть новаторского в поэзии, что, в силу этого новаторства, встречает сначала глухую стену непонимания и даже враждебности, звучит замечательная мысль Маяковского, становящаяся еще более глубокой оттого, что подкреплена примером всей жизни великого поэта:

«Искусство не рождается массовым, оно массовым становится в

результате суммы усилий... Массовость — это итог нашей борьбы, а не рубашка, в которой рождаются счастливые книги какого-нибудь литературного гения». («Лэф» № 1, 1928.)

Излагая новую поэтику Маяковского, я не хочу сказать, что рассматриваю ее как нечто обязательное для всех поэтов нового времени. Такое положение противоречило бы прежде всего основной идее Маяковского — идее отрицания незыблемости норм искусства. Недаром в предисловии к «Мистерии Буфф» он призывал поэтов будущего исправлять и дополнять его пьесу, когда новые факты жизни сделают ее устаревшей. Другие течения и группы, естественно, могут и должны разрабатывать свои приемы стиха. Суть не в этом. Важным и, помимо, обязательным в эстетике Маяковского является его утверждение идейности самой формы, понимание стиха поэзии как стиха жизни, борьба за вечное обновление форм искусства.

Но и здесь Маяковский остается верен себе и своему поразительному чувству эпохи. Создав новый стиль в лирической поэзии, сделав самую лирику советской, Маяковский со свойственной ему цельностью тут же подверг критике жизнеспособность с а м о г о явления стиха. Если Пушкин говорил о том, что в искусстве важно не «что», а «как», если Некрасов ставил вопрос — «во имя чего?», то проблемой Маяковского было определить конкретную способность дня. И в этом новая, незнакомая нам до него, грань эстетики:

«Мы пришли не для того, чтобы фотографировать мир, но для того, чтобы литературным орудием бороться за будущее. За перестройку мира... Деление на методы — деление условное. Стиль это последующее окостенение приемов». («На лит. посту» № 5—6, 1930.)

Маяковский ненавидел мещанский принцип литературного благоденствия, над которым издевался и Ленин: «писатель пописывает, читатель почитывает». Маяковский хотел «мучить», нервировать, будоражить читателя, не давать застывать его ощущениям, прививать ему социалистические рефлексy, помогать созданию в его психике того «чувства нового», которое

товарищ Сталин назвал «лучшим качеством большевика». Для этого-то и было задумано Маяковским коренное переоборудование классического стиха, для того-то и понадобилось открытие нового стиля — стиля цели. Недаром даже о рифме Владимир Владимирович любил говорить, что это «нагайка, которой очень сподручно подхлестывать отстающих».

Жизнь стиха как явления искусства, пусть даже высокого, пусть даже отражающего образ революции. — его не устраивала. Больше того: раздражала. Маяковский мечтал уже не о точности в звучании слова, но о жесте его, о прямом воздействии стиха не только на душу, но и на поступки человека (отсюда все эти «Эй», отсюда обилие повелительных наклонений и пр.). Ему хотелось приказы в а т ь стихом, как командой. Ему мечталась такая магия слова, которая могла бы повелевать даже вещами:

Я знаю силу слов. Я знаю слов
набат.

Они не те,
которым
рукоплещут ложи.

От этих слов
срываются
гроба

Шагать четверками
своих
дубовых
ножек.

Вот почему Маяковский не очень любил книгу. Покуда ее еще не печатают, да издадут, да разошлют по торговой сети, да «спустят» в библиотеки, да выдадут в читальные залы... А надо, чтобы мгновенно! Сегодня! сию же минуту! Поэтому он так рвался в газету, на эстраду, на радио. Поэтому он призывал поэтов уходить из лабораторий на заводы. Поэтому же его любимыми жанрами были те, которые легче и быстрее всего усваивались массой, — агитка, лозунг, плакат, даже реклама.

Эта жажда превращения искусства в жизнестроение овладела Маяковским с такой силой, что он уже не чувствовал, как начинает переходить за пределы самого искусства. Еще в 1924 г. на лекции «О современной поэзии» в Ленинграде Маяковский утверждал следующие положения: «Глав-

ное — не в создании произведений, а в тенденции... Перевод работы из искусства в жизнь». Через год он объявил: «Искусство застаивается, когда оно... изыщно!» Еще через год говорил о «сращении искусства с производством как необходимом факторе индустриализации страны. И это не было для него словами. Маяковский заявлял, что рекламирование продукции Моссельпрома — это высокая и революционная поэзия. И вот спустя 22 года, в течение которых наша страна продумала основные проблемы искусства, поднялась на новую ступень понимания природы его и характера воздействия на психику человека («Писатель — инженер человеческих душ»), поставила вопросы о преодолении формализма и утилитаризма, потребовала от художника создания характеров и образов строителей социализма, а в связи с этим восстановила на новой базе жанры эпоса, трагедии и романа, — после всего этого В. Катанян, изменяя на сей раз своему принципу объективной систематизации фактов, пишет следующее:

«Первые рекламные тексты, сделанные для Моссельпрома, «Столовое «масло», папиросы «Ира»... «Красная звезда»... заканчивались двустипшием — сначала: «Нет нигде кроме как в Моссельпроме», потом просто: «Нигде кроме, как в Моссельпроме». Это двустипшию стало вскоре общим рекламным лозунгом Моссельпрома и получило огромное распространение. Работа по рекламе (он называл ее «хозяйственной агиткой») вызвала целый ряд нареканий и издевательства со стороны критики и всяческих любителей «чистой» поэзии. В своей автобиографии Маяковский писал об этом: «Несмотря на поэтическое улюлюканье, считаю «Нигде кроме, как в Моссельпроме» поэзией самой высокой квалификации».

Признание величия Маяковского должно выражаться не в том, чтобы объявлять священной каждую его опisku и превозносить до небес лобную опечатку. Значение Маяковского для социалистической культуры определяется не рекламой Моссельпрома, которая вряд ли что-нибудь прибавит к лаврам гениального поэта. Для нас, изучающих теорию Маяковского в связи с его творчеством, стихи

допевающие соски Резинотреста, лю-
пытны тем, что подкрепляют тот
эстетике Владимира Владими-
вича, в котором он дошел до абсо-
ютного уничтожения черты между
искусством и жизнью.

Эстетические взгляды Маяковского
оказали огромное влияние на раз-
витие советской поэзии. Основное в
ней — представление об искусстве как
средстве жизнестроения. В этом сво-
ем качестве теория Маяковского ре-
волюционна и бессмертна. Но Мая-
ковский добивался превращения ис-
кусства в нечто иное, новое по са-
ме своей природе. Он пытался выве-
сти искусство за пределы эстетиче-
ской категории и подчинить его зако-
нам промышленности. Но Маяковский
забыл о том, что мир эстетики свя-
зан с устойчивыми законами челове-
ческой психики, в которой потреб-
ность красоты глубочайшим образом
выражает в себе и нравственное на-
строение. Заменить его прикладным ис-
кусством невозможно, даже если при-
кладничество достигнет совершенства.

Искусство умирает, если отрывается
от жизни, но гибнет и тогда, когда
растворяется в ней.

Книга В. Катаняна — очень цен-
ный вклад в науку о Маяковском.
Как я пытался показать, она являет-
ся не только хронологическим спра-
вочником, но дает ряд чрезвычайно
характерных зарисовок быта и дея-
тельности Маяковского и, наконец, в
пунктирах воссоздает очертания его
теории искусства. Но едва ли не са-
мым замечательным в книге являет-
ся ощущение жизни Владимира Мая-
ковского как ежедневного революци-
онного подвига. Эта жизнь учит пони-
мать поэзию не как шаловливую игру
в слова и их сочетания, не как запо-
ведник избранников природы, изрека-
ющих глаголы «незакажной красоты»,
и не как добросовестный, но равно-
душный труд «сих дел мастера», но
как вдохновенную борьбу революцио-
неров духа, готовых во имя идеалов
человечества «сердце отдать време-
нам на разрыв». В этом глубокое вос-
питательное значение книги.

АН. ТАРАСЕНКОВ

НОВЫЕ СТИХИ БОРИСА ПАСТЕРНАКА

Как много времени прошло с той поры, когда мы спорили о лирике Пастернака! Какие испытания за это время прошел наш народ, какие невиданные жертвы он принес во имя своей свободы и независимости, какие тяжелые раны приняла наша земля, наши города и села, как выросли, окрепли и закалялись честность, сила, мужество советских людей, опаленных очистительным огнем борьбы! И вот теперь, когда снова свободна вся наша страна, когда все самое тяжелое позади, когда ослепительный свет победы разгорается все ярче, может быть, уже настало время снова заговорить о лирике и человеческой душе, о величавом говоре сосен под ветром, запахе свежескошенного сена и замирании сердца от крика грачей на талом мартовском снегу.

А может, оно никогда и не проходило это время?.. Помнится, в дни ленинградской осады, в доме, сотрясавшемся от взрывов снарядов дальнобойных немецких пушек, мы с друзьями читали Блока. В Ленинград — город книги — шли письма с фронтов; люди просили прислать им стихи Тютчева и Есенина, Лермонтова и Анненского. В душе нашего солдата никогда не умирало чувство природы и родительского дома, любви к женщине и ребенку, восхищения морской волной и утренней росой. Дым войны не выел души советского человека, и жаль только, что наши поэты редко обращались к ней, к ее щедрым красотам, к ее благодарному, отзывчивому существу.

...И вот перед нами новая книга стихов Бориса Пастернака, «Земной простор». Снова с ее страниц встают, как лирические видения, бессмертные

русские пейзажи, слышатся запахи трав и сырого снега, оживают краски земли и неба. В пейзажной лирике Пастернака есть что-то от полотен Серова и Левитана — одухотворенных и человеческих. Лес Шишкина, изумительно выписанный со всеми изгибами коры и нервами былинки, все же мертв, он искусный макет, не более. А пейзаж Серова не столь точен и детален. Еще менее пристален Левитан. Если полотна Шишкина поражают своей ботанической скрупулезностью, то Левитан и Серов — истинно русские художники — внесли в него прежде всего душу человеческую, величие гуманизма. Таковы и стихи Пастернака — в них и щемящее чувство узнавания своего, родного, извечного (в этом поэт — художник-реалист), и душа русского человека, которая как бы озаряет все внутренним светом своим.

Вот одно из новых стихотворений Пастернака — «Сосны». Это действительно шедевр точного изображения Подмосковья и одновременно лирический монолог человека, мечтателя, поэта, который за стволами сосен «спятворной смесью лимона с ладаном дыша», видит воображаемое море:

Там волны выше этих веток
И, сваливаясь с валуна,
Обрушивают град креветок
Со взбаламученного дна.
А вечерами за буксиром
На пробках тянется заря
И отливает рыбьим жиром
И мглистой дымкой янтаря.

Скажу просто: это доставит радость каждому человеку, ибо строки стиха здесь теряют свою условность, и перед взором встает вечернее море

таким, каким его видел каждый. Это узнавание природы в искусстве Пастернаку дается легко и естественно. Здесь он художник истинный, неподдельный.

Вот — из новой книги — стихотворение «Дрозды». Здесь русская природа снова исполнена небывалой прелести и изображена с естественным реализмом:

На захолустном полустанке
Обеденная тишина.
Безжизненно поют овсянки
В кустарнике у полотна.
Бескрайний, жаркий, как желанье,
Прямой проселочный простор,
Лилый лес на заднем плане,
Седого облака вихор.

Пейзаж, однако, не самоцель для Пастернака (хотя даже если бы он и был самоцелью — русское искусство только обогатилось бы новой перво-классной страницей). Пастернак описывает дроздов, их мудрую и простую песню во славу бытия. И кон-
часть:

Таков притон дроздов тенистый.
Жив в неубранном бору
Живут, как жить должны артисты.
Я тоже с них пример беру.

Это уже мысль, причем мысль, претворенная в образ. Во всем этом Пастернак прекрасен и не нуждается ни в каких мелочных упреках. Можно полемизировать о том, что Пастернак избрал образ дрозда как символ искусства. Можно противопоставить этому созерцательному пониманию форму Маяковского:

Но если
Я говорю:
«А» —
это «а»
атакующему человечеству труба.
Если говорю
«Б» —
это новая бомба в человеческой
борьбе.

Что и говорить — разное понимание. Но искусство многообразно, и ему нужны и Маяковский с его волевым вмешательством в социальные судьбы мира, и Пастернак с его дроздовой флейтой. Этот спор решен жизнью. Уже никто теперь не станет во имя блюминга отрицать микроскоп и противопоставлять профессию инженера ремеслу актрисы. Мы давно выросли из пеленок своего ребяче-

ства, и воин, кидающий гранату в немецкий блиндаж, знает и ощущает необходимость песни, лирики, одухотворяющей любви к облакам или кленам, несколько не хуже и не меньше, чем ученый книголюб, половину жизни проведенный за столом Ленинской библиотеки. Читатель принимает лирику Пастернака как подлинно артистическую песню любви, природе, родному дому, и она часть того великого, что зовется родиной.

Где я обрывки этих речей
Слышал уж как-то порой прошло-
годней?

Ах, это сызнава, верно, сегодня
Вышел из рощи ночью ручей.
Это, как в прежние времена,
Сдвинула льдины и вздулась за-
пруда,

Это поистине повое чудо,
Это, как прежде, снова весна.

Эти речи поэт подслушал у милых перелесков Подмосковья, у мостов и переправ среднерусской равнины. Он увидел в нашем родном доме ивоводную елку — «стыдливую скромницу в фольге лиловой и синей финифти», ощутил «горячую духоту» дачного вагона, услышал «тоску голошенья» вьюги, загляделся на «иней сводчатый терем». Это все подлинно прекрасно в стихах Пастернака.

И вот пришла война — Великая Отечественная война, силу и глубину испытаний которой выдержали наши души. Мы знаем большие удачи в нашей поэзии — торжественный мстительный пафос «Пулковского меридиана» Веры Инбер, мы слышали воспаленный страданием, но исполненный великой веры в победу голос Павла Антокольского в его поэме «Сын», мы узнали, как выносива душа русского солдата — славного смельчака и балагура Василия Теркина, мы почувствовали щемящую боль и силу любви к истерзанной врагом родной земле в стихах украинца Леонида Первомайского и белоруса Аркадия Кулешова, в гневных строках ленинградки Ольги Берггольц.

Что же сказал о великой войне народа Борис Пастернак? Как из своих извечных тем любви и природы, искусства и трагедии ему удалось выйти на простор новых больших тем? Чем помог поэту его прежний опыт? Как сегодня сказались эпические начала, заложенные в поэмах «1905 год» и «Лейтенант Шмидт»? Помогли ли

они Пастернаку в овладении темами современности, исполненными такого трагизма, такого величия и такого благородства человеческого духа, которого не знала вся предшествующая мировая история?

Нет, нельзя по чистой литературной совести признать, что стихи о войне написаны Пастернаком с той же силой артистизма, с какой он писал раньше и пишет теперь о природе, о любви, об искусстве. Вдруг появилась у Пастернака несвойственная ему риторика и сухость. Вот строки из стихотворения «Смелость»:

Безыменные герои
Осажденных городов!
Я вас в сердце сердца скрою,
Ваша доблесть выше слов.
В круглосуточном обстреле
Слыша смерти перекат,
Вы векам в глаза смотрели
С пригородных баррикад.

Слабо, не изобразительно, как будто написано не Пастернаком, а кем-то умело подражающим его словарю, синтаксису, его ритмическим ходам, но не нашедшим секрета души пастернаковской поэзии, ее человеческого обаяния. Детали здесь попрежнему прекрасны. Вот раненый лежит в госпитале, который расположен в старом дедовском парке:

Зверской боли крепнут схватки,
Крепнет ветер, озверев,
И летят грачей девятки,
Черные девятки тref.

Четверостишие настолько свежо и тонко по своей изобразительной структуре, что чувствуется рука большого мастера. А в целом стихотворение лишено внутренней темы, огня, истинного вдохновения, оно только мертвый слепок с чего-то гораздо более живого и могучего, чем «старый парк».

В другом стихотворении — «Смерть сапера» — очень точная военная терминология безукоризненно умело и тонко введена в стих. Она не вредит стиху и не режет слух прозаизмами, — к их мастерскому поэтизированию Пастернаком мы давно привыкли. Но холод рассудочности сковывает и эту вещь. Детали войны увидены верно и зорко. Проекторы, которые, «как ножки дирижера», вонзаются в окрестные предметы, «котлы дымящегося супа», оставленные отступающим врагом, сраженье, которое выкатывается на

равнину, подобно морю, сломавшему плотину, — все это говорит о том, что Пастернак войну видел воочию, и пронзающее явь зрение художника ему не изменило. Но почему за всем этим не видно человека со всеми его трудностями и невзгодами, с его счастьем победителя, переполняющим душу? Похожи на «Смерть сапера» и стихи «Преследование», «Разведчики», «Неоглядность».

Что же случилось в этих стихах с большим и искренним поэтом, который, как и все мы, ненавидит врага, верит в свой народ, в его победу, в его славное будущее? Кто же усомнится в подлинности чувств Пастернака? Он — гражданин в самом высоком смысле слова. Не погоня за легкой газетной славой заставила его взять перо для того, чтобы написать стихи, исполненные неподдельного восторга перед героизмом Красной Армии и советского народа. Но восторг этот получился в стихах холодным, он не согревает, он мерцает бледным светом ракеты, а не живым светом солнца.

Как хотелось бы, чтобы Пастернак снова услышал тот свой внутренний голос, который диктовал ему «Второе рожденье», «Разрыв», «Кремль в буран конца 1918 года», «Шекспира», «Плачущий сад». Здесь нарочито перечислены и чистая лирика, и стихи на общественно-политические темы, чтобы подчеркнуть их органическое единство в прежнем творчестве Пастернака. В «Земном просторе» это единство утрачено. В лирике Пастернак не только остался собой, но стал еще чище, еще вернее природе и ее образцам, он еще более приблизился к поэтическому реализму. В военных же стихах Пастернак как бы отступил от самого себя. Как будто ему подумалось, что о войне надо писать совсем особо. Да, это верно. Великая тема требует отношения сверхординарного. Но разве сама по себе поэзия может примириться с ординарностью, даже если речь идет об обычном, бытовом, мелком, а не о самом главном в жизни народа? Конечно же, нет! Пастернак, однако, решил что эта особость — в отказе от многого, что было существом и содержанием его поэзии. Он отказался от внутреннего лирического наполнения тем во имя точности внешнего описания. Отказался от напряженной страсти во имя риторических

формулы. Горько, обидно, что это произошло.

Нет, пусть Пастернак еще и еще раз вернется к теме войны — великой теме, которую наша литература будет жить не одно поколение. Но пусть в тему войны он принесет и неповторимый запах осеннего листопада, и крик журавлей, и лунные пятна на ночном снегу, и задушевность страдания, и глубину восторженной души русского человека — все, чем богат его талант.

В стихотворении «Победитель», посвященном Ленинграду, есть строфа, в которой снова ощущается Пастернак в его коренной сущности:

Вы помните еще ту сухость в
горле,

Когда, бряцая голой силой зла,
Навстречу нам горланили и перли
И осень шагом испытаний шла?

Эта «сухость в горле» — как бы зарница исторических дней трагической осени 1941 года. В ней все — и подлинная поэзия, и ощущение своего единства с народом в пору его самого острого и самого величавого страдания, из которого выросла затем победа. За эту зарницу Пастернаку будут благодарны люди. В ней залог его долгой жизни в поэзии и обещание нового подвига в искусстве. Ему будут благодарны и за стихотворение «Весна», заключающее его сборник, и, по-моему, единственное настоящее произведение поэзии из всего пастернаковского «военного» цикла.

Весеннее дыханье родины
Смывает след зимы с пространства
И черные от слез обводины
С заплаканных очей славянства.

.....
Мечтателю и полуночнику
Москва милей всего на свете:
Он дома, у первоисточника
Всего, чем будет цвести столетье.

Да, поэт должен быть мечтателем и полуночником, но не ритором и не репортером с полей сраженья. Это не упрек и не нотация. Это лишь голос читателя и критика, для которого поэзия Пастернака долгие предвоенные годы была дорога не столько своим профессиональным мастерством, сколько своей подлинной человечностью, не столько своим импрессионизмом и подчас ложными философскими ходами, сколько своей связью с русской речью.

У Пастернака было много пороков индивидуализма. Кто же не порадуетя, когда он отказывается от них? У Пастернака было много камерности и усложненности. Кто же не скажет ему доброе слово за отход от них? Но пусть на их место встанут не мнимые, а подлинные ценности. Пусть снова зазвучит прекрасная речь поэта, многое передумавшего и переосмыслившего заново в дни великой войны. И пусть в этой речи мы снова услышим всегда волнующее сердце читателя горячее слово патриота и лирика, мастера и задушевного мечтателя.

Л. ТИМОФЕЕВ
СРЕДИ СТИХОВ

(Статья третья)

Георгий Суворов. Слово солдата. Гос. изд. худ. лит. Л. 1944; Михаил Дудин. Костер на перекрестке, Гос. изд. худ. лит. Л. 1944. Людмила Попова. Соколиный мир, Гос. изд. худ. лит. Л. 1944; Семен Бытовой. Земля отцов. Гос. изд. худ. лит. Л. 1944

В Ленинграде вышло недавно четыре книжки стихов. Книги эти очень не похожи одна на другую — и по темам и по своим поэтическим достоинствам. Но, собранные вместе, они позволяют задуматься о многом, характерном для современной нашей поэзии.

«Слово солдата» — первая и последняя книга стихов Георгия Суворова. На читателя глядит с портрета мужественное лицо воина, и, только вглядываясь в него, видишь: оно так молодо, что еще не потеряло юношеских очертаний. Но суровое время сделало нашу молодежь поколением воинов. Будущие поэты, художники, мастера, строители жизни — встали в строй, ушли навстречу смерти, и только по отрывкам, по наброскам и запискам, от них оставшимся, мы можем судить о том, что они могли дать жизни, — об их неосуществленных делах. Как бы от имени поэтов, которые никогда больше не сложат своих стихов, говорит с нами Георгий Суворов, погибший в боях за Ленинград на переправе через Нарву. Его небольшая книжка, собранная поэтом М. Дудиным, посвящена войне, но здесь сквозят и воспоминания о юности в счастливой стране:

Помню гор безоблачные шири,
Кедров голубые облака,
Ясную голубизну Сибири,
Грань серебряного ледника,—

говорит Суворов в одном из стихотворений; в другом вспоминает: «Живые горы голубых акаций, и в них, восторженные соловьи».

Вот о чем говорил бы, очевидно, в своей первой книге Георгий Суворов, если бы не ворвалась в его жизнь война. Но «Слово солдата» целиком заполняет грозная тема войны. Боец, командир взвода противотанковых ружей, офицер связи, работник дивизионной газеты, — Суворов видел войну в лицо и говорит о ней точно и строго.

Страшные и величественные картины войны наспех, наскоро, но в то же время с настоящим поэтическим талантом зарисованы в этой книге поэтом, мимоходом упоминающим о себе: «И я живу пока».

Но главное в ней — это подлинная сила духа советского человека, благодарящего судьбу за то, что «еще не раз на свете нам в бой итти за этот свет», и как бы ни было трудно, но

Коль любишь жизнь —
Борись за жизнь.

За войной, за концом ее, Суворов снова видит настоящую человеческую жизнь:

Еще война. Но мы упрямо верим,
Что будет день, — мы выпьем
боль до дна.

Широкий мир нам вновь раскроет
двери,
С рассветом новым встанет
тишина.
В воспоминаньях мы тужить не
будем,
Зачем туманить грустью ясность
дней?
Свой добрый век мы прожили как
люди —

И для людей...

Все в этой книге чисто и ясно.
Порой еще в наивных и неумелых,
а иногда уже в обладающих настоя-
щей поэтической силой словах рас-
крыта душа нашей молодежи, не сло-
мившейся в испытаниях, сохранившей
веру в будущее своей страны, делом
и кровью отвечающей за свое сло-
во, — именно таков облик Георгия Су-
ворова, такова судьба его, и за ней
угадываются судьбы многих и мно-
гих наших молодых поэтов, у кото-
рых не нашлось друга, собравшего
на поле боя их недописанные книги.

А книги эти имеют право войти в
историю нашей литературы эпохи Ве-
ликой Отечественной войны:

Нет, не забудем мы о нем,
Без слова павшем под огнем, —

сказал сам Суворов над погибшим
бойцом, и эти слова его зазвучат
как эпиграф к той главе будущей
истории, которая бережно соберет по-
этическое наследие молодых поэтов,
не издавших при жизни своих книг.
Глава эта будет одной из самых по-
этических в истории советской литера-
туры.

Михаил Дудин вступил в войну
уже на пороге поэтической зрелости.
Он побывал в самых жестоких боях
на полуострове Ханко, который в
истории войны обрел почти легендар-
ную славу. Дудину есть о чем рас-
сказать читателю. Его новая книга
«Костер на перекрестке» включает в
себя лирику и поэму о краснодонцах.
Книга эта значительна и содержательна,
интересна и настойчивыми поисками
Дудинным своей формы, интонации,
своих образов, ритмов. Лучшие его
стихи достигают той «весомой, грубой,
зримой» осязаемости, которая придает
стиху переполненную поэтическую убе-
дительность. Когда он говорит, что
проходит, оседая, почти на цыпочках,
волна, когда он рисует «обтрепанный,
израненный, измятый, на лыжной пал-

ке вздернутый флажок», который по-
дымают наши гвардейцы на взятой
ими Вороньей горе, — читатель ощу-
щает подлинность поэтической картин-
ны, которую рисует поэт.

Читатель верит поэту, который
обещает ему досказать то, чего не-
досказали его друзья, — те, что полег-
ли в братских могилах:

Мне жить одной, встающей над
разлукой,

Над вашей смертью в схватках
огневых,

Той нерушимой круговой порукой,
Упрямой связью мертвых и живых.
Она превыше всех житейских

правил,
Честней и тверже всех житейских
дел,

Чтоб этот стих, как штык в бою,
не ржавел,

Чтоб штык в бою, как этот стих,
звенел.

Пускай с меня за пятерых
берется, —

Я все обязан на себя принять,
За всех друзей дожить и

добротиться,
Доделать, долюбить и дострадать.

Пусть ветер смерти облетает мимо,
И ветер жизни бьет в лицо

сильней.

Гори, огонь ничем неистребимой
И ненасытной жадности моей!

Здесь прекрасно определена одна
из задач нашей литературы, в особен-
ности наших писателей, которые при-
несли с войны неповторимый боевой
опыт. Ответственность этой задачи и
определяет ответственность тех поис-
ков настоящего слова, без которого
нет и настоящего художественного
произведения. У Дудина это отноше-
ние к слову, несомненно, есть. Но
часто он еще теряет чувство меры,
и тогда эти поиски снова превра-
щаются в известную самоцель. От
этого Дудина следует предостеречь,
тем более, что и редактор его кни-
ги — А. Прокофьев — сам не свобо-
ден от склонности к тому, что мож-
но назвать поэтическим токованием
(птица на току так этим токованием
увлекается, что не слышит даже под-
ходящего к ней охотника). В особен-
ности это токование дает себя у Ду-
дина знать в дикле любовной лирики.
Ограничимся одним примером:

С глухих неприступных отрогов
Седого, как дым, Карачая,
Цветы и деревья растрогав,

И запахи расточая,
И молнии, словно бивни,
Вонзая озерам в глаза,
Кидая лиловые ливни,
Врасплох подступила гроза.

Роняла у нашего дома
Тяжелые яблоки грома.
Бежала по лесу, по долам,
И след заметала подолом.
И где-то над вымытым лесом
Подпрыгнула вдруг на бегу,
Над нашей антенной подвесив
Большую цветную дугу,
Которая в мокрый газон
Малиновый сыпала звон.

Эта гроза, которая наделена бивнями и подолом, которая подпрыгивает и сыплет яблоки, конечно, насквозь выдумана. И если читатель спросит Дудина, для чего нужны эти «бормотаний твоих жемчуга», как может он сочетать их с настоящими взвешенными словами о краснодонцах, о ленинградских гвардейцах,— то вряд ли он получит вразумительное объяснение. Книга Дудина значительно выиграла бы, если бы он был строже к самому себе, потому что известно: путь к мастерству — путь беспощадной требовательности поэта к себе, а у Дудина ее еще нет в должной мере. Но богатство опыта, значительность тем, поиски настоящего слова, которое мы видим в лучших его стихотворениях,— все это заставляет с интересом ждать от Дудина новых работ.

К сожалению, этого не скажешь о книге Людмилы Поповой «Соколиный мир». По замыслу книга бесспорно заслуживает самого хорошего отношения— это стихи о летчиках. И, как сообщает в стихах сам автор книги, у него есть все основания свободно владеть своим материалом: «Смогла я встать в ряды военной части, любимый город защищавшей мой», «Мне все здесь близко в этой летной части... Я руку летчикам даю на счастье» и т. д.

Но вся беда в том, что автор идет по линии наименьшего сопротивления, зарифмовывая самые ходовые обороты, ввертывая в текст фамилии летчиков и не заботясь о том, чтобы сделать обладателей этих фамилий сколько-нибудь ясными для читателя.

Приходится удивляться нетребовательности автора и редактора к стиху. Речь, например, идет о летчике, которого спасло перелетывание крови.

«Ты жив! Но где же давший кровь товарищ?»—

спрашивает летчик. Товарищ, давший кровь, оказывается артисткой:

Ты слышал этот голос молодой:
— «Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты».
И тут прекрасные, как это пенье,
Тебе на счастье, на выздоровенье
Внесли в палату от нее цветы».

То, что автор, выражаясь летным языком, пристроился в рифму к Пушкину, вряд ли явилось для него хорошим маневром. Стих Л. Поповой крайне неряшлив:

Пусть станет наш воздух советский чист
Пусть хищники сгинут во тьме небытия
Я слышу, как сердце стрелка стучит,
Навстречу бессмертью летя...

Здесь и небрежность языка (небытие), и примитивная рифма, и нечеткость образа (летающее сердце стрелка) в целом создают весьма неприглядное представление об отношении автора к теме весьма ответственной.

Характерный пример: капитан Гастелло совершил свой беспримерный подвиг, как известно каждому советскому человеку, на бомбардировщике. Но стихотворение, посвященное ему Л. Поповой, говорит иное:

На них истребителя огненный ком
Он бросил рукой опаленной...

При всем желании, мы не можем уравновесить недостатки книги примерами удачных стихотворений Л. Поповой, настолько строго выдержан ее «стиль». Появление этой книги вызывает у читателя чувство острого удивления.

Не первую книгу выпускает С. Витовой. Его «Земля отцов» задумана своеобразно: в основе ее цикл стихов, посвященных истории Дальнего Востока: «Знамя Петропавловска», «Открытие Амура», «Витус Беринг», «На

Л. СКОРИНО ИСКУССТВО РАССКАЗЧИКА

Лев Успенский — писатель-рассказчик. В этом своеобразии его дарования. В своем творчестве Успенский обращается к форме живого устного повествования, форме гибкой, позволяющей ввести в действие весь богатый и многообразный арсенал русской речи. Небольшая книжка рассказов Л. Успенского, изданная Военмориздатом¹, казалось бы, имеет скромную задачу — рассказать о некоторых случаях из боевой жизни краснофлотцев, очищавших от немцев псковскую землю. Но смысл рассказов глубже, не в занимательности событий, — это только повод, толчок для рассказа о людях. Сюжетная канва подчинена внутреннему лирическому замыслу писателя, который стремится показать, как в каждом поступке советского человека проявляются те новые душевные качества, какие воспитаны в нем всем строем нашей жизни.

Сюжеты рассказов нам подчас знакомы, они типичны для первого периода Отечественной войны, когда и были написаны некоторые из них. Но в привычную сюжетную схему Л. Успенский умеет внести свое особое видение материала, раскрыть людей и события с новой стороны. О ловле немецких шпионов мы не раз читали в книгах и журналах военного времени. Однако Л. Успенский перенес центр тяжести с события на героя и доказал в матросе Заверняеве («Рыжики») не просто отдельные его человеческие качества — бдительность и наблюдательность, но их глубокую природу, заложенную в характере этого героя.

«Лесовик» Егор Заверняев — это простой русский человек, влюбленный в красоту родной природы. Лесной край, где он родился и вырос, исхожен им вдоль и поперек. Егор знает здесь каждый кустик, каждую тропку. Он — хозяин леса, изведал все повадки его обитателей, проник в тайны лесной жизни, радуется сказочной поэзии природы. Ничто не ускользнет от зоркого глаза «лесовика».

Однако проникновенная любовь к природе, присущая Заверняеву, не ведет, как это часто бывает, к индивидуалистической замкнутости, не отделяет его от людей, а, наоборот, сближает его с ними. На этой земле, в этих лесах жили его деды и прадеды.

«Места наши — русские; древние, медвежьи места, — говорит рассказчик; повествуя о матросе Заверняеве, — с двенадцатого века на этих местах сидим. В лесу живем, лесом кормимся... Семь веков пьем березовый сок се-ребряных весенних стволов; что на свете свежей, нежней березового майского сока! Семь столетий гоним пену, можжевелевого, верескового пива. Не пробовал? Попробуй! Темное, как шоколад, сладкое, точно солодовый леденец, остро пахнущее сизой смолистой вересковой ягодой; кипучей и хмельнее любого вина! За семь веков сами смолой пропитались насквозь, стали звонкими и твердыми, как ясеневая заболонь; топор неймет — отскакивает...»

Рассказчик в своем лирическом значении, в отступлениях-монологах, в эмоциональных сказовых характеристиках раскрывает внутреннюю суть образа героя, всю обусловленность его поведения. Это человек из крепкой породы лесных людей, каких «топор неймет — отскакивает». Всеми корнями он врос в родную землю. Он ощущает свою связь с целыми поколениями предков

¹ Лев Успенский. «Рассказы». Военмориздат НКВМФ СССР, Москва — Ленинград, 1944.

вспоенных соками этой земли и ушедших в нее на покой. Любовь к родной природе для Заверяева — это любовь к своему народу.

Но Заверяев не просто русский, он советский человек, один из тех, кто пролил кровь за свою родину. Он знает родную землю, знает, что красоту ее и поэзию надо защищать, не щадя даже жизни.

Любовь его к природе не пассивна, а действительна, природа и люди, связанные с нею трудом своим, для него нераздельны.

Герой Успенского — и в этом есть несомненная полемика с литературной традицией — не оскорблен тем, что в богатую лесную тишь проникла война, и в заповедных местах строятся аэродромы, и появляются «в каждой сопке, в каждом кусту — зенитные батареи». Наоборот, зрелище это наполняет гордостью душу человека, тяжело раненного в бою и вышедшего из борьбы. Этот «вооруженный» лес говорит Егору Заверяеву, что наступление продолжается, и когда сам Егор снова получает возможность принять участие в общей борьбе, он это делает. Поимка фашистского разведчика означает, что и для Егора Заверяева наступление продолжается.

Таковы элементы нового в знакомой нам сюжетной схеме. Писатель ищет своих особых путей, преодолевая старое. И в этом смысле упрекнуть Л. Успенского можно лишь в том, что не всегда с достаточной смелостью и определенностью он подчеркивает то новое, что находит. Писатель как бы сам еще не знает, что у него ново, своеобразно, а что не выходит из общего русла сегодняшнего литературного потока. Между тем, нам кажется органически необходимым именно усиление «сказовости» повествований Льва Успенского, в которой и заключается сила и своеобразие этого писателя.

Сказовая форма предполагает наличие рассказчика — того, от чьего имени ведется рассказ о событии, свидетеля или участника его. Присутствие этого рассказчика определяет позицию писателя, который, отойдя от эпической объективности в повествовании, вводит в него субъективный элемент. События преломляются через восприятие, чувства и переживания рассказчика, индивидуальность которого и отношение к происходящему определяет характер произведения. Не только сюжет логикой своего развития говорит сам за себя,

но и автор-рассказчик разговаривает с читателем. Резко выраженная субъективность и эмоциональность реализуются и в языковом строе сказа, в речевых характеристиках событий и людей, в лирических монологах и даже в самой интонации рассказчика, иначе говоря, во всех основных элементах устного повествования. Сила Успенского именно в пользовании всеми этими элементами, в привнесении в повествование своего лирического «я».

Льву Успенскому, как рассказчику, присуща глубокая лиричность, смягчаемая усмешкой, шуткой, ласково подтрунивающей интонацией. Язык его рассказов живописен и образен.

Без стилизации под народную речь, писатель естественно и органично использует ее элементы и самый принцип ее построения. В речевую ткань сказа вылетает пословица: «Сколько в воротах ни стой, а в избу надо!» — говорит герой Успенского, прощаясь с друзьями перед уходом в партизанский отряд («Скобарь»), шутливая прибаутка: «Ут-у! Какие из нас с твоей мамкой лесники, — посмеивается бабка Тапошки, оставшаяся с ее матерью хозяйничать в лесу вместо ушедших на фронт мужиков. — Нас и заяц лапой под куст завалит!» («Танюшка»). В устах рассказчика присказка зло бьет немцев («Рыжики»): «Не знаю как где, а у нас воевать им трудно, не про них сажены наши леса. Не умеют они на мху спать, лапником укрываться. Не умеют берестяную корову доить, с зеленой свиный жирок снимать, заячью капусту во щи класть, заячьей кислицей закусывать».

Из народной речи заимствует Успенский прием фонетического переосмысления слова. Народ нередко приспосабливает иностранные слова к русскому звучанию, внося в них новый, чаще всего иронический смысл. Так П. Бажов, знаток уральского горнозаводского быта, указывает, что немецких мастеров, работающих у медеочистительного горна, русские рабочие с лукавцей называли не «чармахеры», немецким словом, а на русский лад — «карнахари». Сами уральцы ходили с бородами, а немцы были бритые, карнали свои хари.

По принципу иронического, шутливого переосмысления слова возникает в рассказе у Л. Успенского спасительный словарь «Блокгауза и Эпрона». На смысловой игре понятий построен заголовок одного из лучших рассказов

Л. Успенского — «Автолет-самомобиль». Разведчики-моряки и среди них летчик возвращаются из глубокого тыла противника после успешной операции. Перед ними трудная задача — незаметно пересечь линию фронта. На шоссе разведчики обнаруживают неисправный немецкий грузовик (в моторе отсутствует магнето), а на нем вполне исправный самолет «Хеншель», но в разобранном виде, без крыльев. Естественным казалось бы решение — снять часового, взорвать грузовик вместе с самолетом. Но веселая сметка подсказывает героям рассказа другой выход: «Не запустить ли винт самолета, попробовать — вдруг «стащит он грузовичок». И смелая выдумка побеждает. Летчик «газует», невиданное чудо техники «чешет по новенькому шоссе со скоростью девяносто в час». Так на полном ходу пронесли разведчики через линию фронта и лихо ворвались в расположение своих же частей. На изумленный вопрос потрясенных военотехников, что же это, наконец, — автомобиль или самолет, разведчики отвечают: «Разрешите доложить... это автомобиль-автолет. Новое такое усовершенствование...»

Шутливое переосмысление слова здесь не самоцель; оно возникло из удачного переосмысления реальных обстоятельств, а «новое усовершенствование» — автолет-самомобиль — помог сметливым разведчикам успешно выйти из тыла врага. За словесной шуткой мы видим творческое отношение наших людей к действительности.

«Случай из жизни» разведотряда балтийцев рассказан Л. Успенским занимательно, остроумно, искристо. Это и дало повод к тому, что скучные люди забеспокоились: «а в самом ли деле так ярка, искриста жизнь, да бывает ли так в действительности? А не подоврал ли автор?»

Критик Б. Брайнина выступила в «Литературной газете» от 3 февраля 1945 г. со статьей, где вместо художественного занаялась перечислением фактов, которые кажутся ей неправдоподобными. Мог ли, например, самолет «стащить» грузовик? Могла ли старуха перестрелять из автомата фашистов? Мог ли никогда не прыгавший с парашютом партизан («Скобар»), хотя и проинструктированный людьми опытными, в нужную минуту вполне успешно прыгнуть? Но ведь каждый парашютист, т. Брайнина, хоть раз в своей

жизни прыгает впервые, и, как пока зала практика, обычно этот первый прыжок проходит удачно, ибо иначе не было бы второго прыжка и трудно было бы найти желающих прыгать хотя бы по одному разу.

Мог ли — сомневается затем Б. Брайнина — раненный в ногу политрук Ковалев все же ходить в тыл к немцам и выполнять боевые задания?

А если нужно, если иначе нельзя, если больше некому выполнить то, что может сделать этот израненный человек, силой воли, силой духа преодолеть левающий физическое страдание? Разве мы забыли о случаях, когда советский человек во имя победы народа находил в себе моральные силы пренебречь физическими страданиями или когда наш боец телом своим закрывал амбразуру вражеского дота во время атаки? С «домашней» точки зрения это, конечно, непостижимо, неправдоподобно. А в большой, не комнатной жизни бывают такие случаи! Но жизни т. Брайнина, как оказалось, не доверяет, хотя и становится в позу ее защитницы.

Критик наш, увы, не обладает необходимым критерием в определении того, что действительно могло быть во фронтовой жизни, а что выдуманно, привнесено автором (хотя и в выдумке беды нет, было бы хорошо выдуманно!).

Нас, однако, интересует не только правда жизненного факта, но и художественная правда произведения искусства. А об этом т. Брайнина говорит меньше всего, между тем как частные сомнения критика менее интересны, чем глубокий художественный анализ произведения. Был бы этот анализ — т. Брайниной пришлось бы отказаться от многих своих субъективных оценок, потому что в этом случае она яснее представила бы себе предмет своей критики. Задача критики, как известно, в изучении и оценке созданного писателем, а не в размышлении о том, что нам хотелось бы посоветовать автору написать.

Тов. Брайнина упрекает Успенского в том, что он «претендует не только на внешнюю занимательность», но и «пытается показать внутреннюю историю событий, раскрыть душевную жизнь, психологию героев». Да, претендует, и не только претендует, но и нашел ту художественную форму, которая позволяет ему решать поставленные перед собой задачи. Форма эта не роман, не поэма, а сказ — живое устное повествование.

Успенского характеризует интерес к многообразию, живой пестроте явлений действительности, к могучему движению жизни, к постоянной изменчивости ее форм. Писатель стремится уловить эту яркую пестроту и изменчивость жизни. Он обращается к сказу, к повествованию о «случаях из жизни».

Вспомним, что одного из наших классиков-рассказчиков, Н. С. Лескова, критика некогда сурово порицала за «анекдотичность» его произведений, погоню за сюжетной занимательностью, за «неправдоподобность» событий, какие Лесков черпал из старых хроник и устных рассказов.

Нужно ли говорить, что занимательность, необычность сюжета — отнюдь не порок для произведения. Важно другое — зачем рассказан данный «случай из жизни», раскрывает ли он типические ее стороны?

У Льва Успенского мы не найдем просто занимательных событий, у него действительно всегда есть «внутренняя история событий», в которой раскрываются типические черты наших людей.

Разве не типична для нашего советского воина та веселая изобретательность, которая в рассказе «Автолет-самомобиль» противопоставлена педантизму, «бумажности» немцев? Разве не типична для командира Красной Армии сила духа, проявленная политруком Ковалевым, умолчавшим о своем ранении в ситуации, когда не было смысла о нем говорить: свою часть дела Ковалев не мог не выполнить («Потертость»). Не типична ли колхозная девочка Тапиошка, которая не только защищает малыша братишку от немецкого парашютиста, но и восстает душевно, что определяет ее поступки, против того «нечеловеческого», что воплощено для нее в фашисте, одном из тех, кто «таких махоньких», как ее Митючок, бросали в колодец, рвали на куски? Тапиошка защищает от фашистского зверя не только братишку, но и человечность.

Событие в рассказах Льва Успенского никогда не заслоняет человека, писатель уважает своего героя. А это, к сожалению, не всегда бывает.

В литературе предвоенного времени, да и наших дней, мы встречали штампованного псевдо-«простого» героя, который столь уж прост, что и сам не подозревает о своем героизме. Любимый герой одаренного новеллиста В. Козина — участник гражданской войны, простой, душевный человек, ветеринар-

ный фельдшер Живулькин («Рассказы о просторе») в неразберихе и путанице боя отстает от своей отступающей части. Вдвоем с другим красноармейцем он ухитряется засесть в расщелине какой-то скалы и продолжает отстреливаться от нападающих белых. Происходит неравная схватка — двое против полка, и все же белым не удается взять скалу. Орудя единственным пулеметом, два красноармейца тормозят наступление противника. Поведение их героично. Но в глазах Живулькина происшедшее выглядит столь незначительным, что он и говорить об этом стесняется. Обыденность, а точнее, примитивность героя подчеркивает и диалог Живулькина с комиссаром. Юмористический эффект достигается противопоставлением риторически приподнятой речи комиссара прозаическим репликам Живулькина.

«— Это вы стреляли из пулемета? — спрашивает комиссар.

— Точно так.

— Фамилия?

— Живулькин.

— Ваша?

— Его звать Джума Гундогды.

— Потомство вечно будет помнить ваши имена.

— Покорно благодарим».

Человек, по воле автора, оказывается мельче своих дсяний. В обедненном героическом раскрывается, по замыслу Козина, героизм рядовых людей, «неосознанный», стихийный героизм «серых» масс.

Едва ли можно так писать о героях Великой Отечественной войны, характернейшей чертой которых является ясное осознание величия той исторической миссии, какую они выполняют, миссии, заключающейся в освобождении человечества от фашистского варварства. Наши герои знают, что они делают. Их героизм — героизм сознательный, одухотворенный. Потомство действительно «вечно будет помнить их имена», имена Зои Космодемьянской, героев Краснодона, Александра Матросова, Гастелло, Дмитрия Босого и многих других. Но Вл. Козин упорствует, продолжает рисовать примитивных простаков. В книге военных рассказов «Горы и ночь» мы находим двойника Живулькина — Картечкина («Праздник на Чистых прудах»), характерного тем, что «ни у одного из наших комэсов нет, кажется, такого простодушного боевого прошлого, как у Картечкина». И воистину с детским,

а мы бы сказали идиотическим, простодушием Картечкин свершает подвиг, который положено ему свершить в рассказе. Подвиг человека автор превращает в инфантильное дурачество, в результате которого, глядя на Картечкина в момент жестокого боя, бойцы «потели от смеха». Человек, совершающий подвиг, оглушен, унижен.

Это, к сожалению, не частная писательская неудача. На страницах военных очерков и рассказов нет-нет, а встретишь некоего лейтенанта или бойца, бодро обходящегося во всех случаях жизни словечком «точно». Мы встречаем героев, доблесть которых заключается в необъяснимом упорстве, с каким они не желают «сознаться» в том, что совершили подвиг. Любуясь этим литературным штампом, многие авторы проливают слезы умиления над скромностью, бескорыстием и т. п.

Герой Льва Успенского тоже прост и скромен, но автор уважает его, а потому раскрывает в нем большие внутренние силы — силу ума, творческое начало, любовь к родине и верность ее великим гуманистическим идеям. Внешняя характеристика героя, его своеобразие не заменяется «экзотичностью», не является самоцелью, а служит средством раскрытия внутренней сути образа.

Герой рассказа «Автолет-самообиль», молодой летчик, показан во всей характерности его поведения и речи. Его лихость проявляется в смелых поступках: он удирает из санатория к брату на фронт и для «отдыха» путешествует по тылам противника. Он отнюдь не ищет случая сложить свою голову в схватке. Нет, он молод, он стремится реализовать в полезном действии свою кипучую энергию, он хочет побеждать, ибо иначе ему «скучно» жить. Даже в лексике его есть своеобразная лихость — это специфический фронтовой язык. Фразеология, слова, возникшие в военном быту, технические и уставные термины — все это сплавлено воедино заносчивым юношеским задором, лихой бравадой — не внешней, но той, за которой таится испытанное мужество, естественное и обязательное свойство каждого настоящего человека.

Герой рассказа повествует о своих боевых приключениях шутивно, в то же время он — не литературный штамп, а человек из плоти и крови, осознаю-

щий реальную весомость того, что им совершено.

«Рассказываете-то вы очень весело, товарищ лейтенант,— говорит ему де-вушка-санитарка,— весело и просто. Но ведь не так все это вам легко далось, а?..— Ну и что ж, что не просто? — пожал он плечами,— оно и должно так быть. И просто, и не просто! Война!»

В этом ответе ключ к пониманию героев Льва Успенского. За их внешней простотой мы ощущаем большую душевную сложность.

Герой «Скобаря» дан автором в подчеркнутом внешнем своеобразии: огромный светлородый детина, на лице которого подчас выражается «необыкновенное лукавство и одновременно неопытная простота. Этакий Иванушка-Дурачок себе на уме». Всю свою жизнь прожил Иван Журавлев в старом мире. Он из тех псковских крестьян, земли которых по мирному договору некогда отошли к Эстонии. В 1940 г. он получил от советской власти землю. В дни войны, защищая ее от немцев, фактически впервые сблизился с советскими людьми. Душа его раскрылась, он осознал самого себя, свои силы, свои возможности, познал второе рождение.

Обильно прибегая к звуковой и даже графической передаче характерного «покающего» певучего говора псковича Ивана Журавлева, писатель твердо идет к своей цели. Он показывает: вот простой русский человек, он еще темен и невежествен, все свои 27 лет он прожил в старом мире, где ему не удавалось разогнуть спину и оглядеться вокруг, познать самого себя. Над внешним его видом, чудным говором посмеиваются краснофлотцы и читатель. Но автору это внешнее своеобразие понадобилось не для «развлечения публики», оно помогает постижению внутренней сложности и реального человеческого характера, необычного и во многом нового для читателя. Постепенно и верно в различных эпизодах рассказа Лев Успенский раскрывает в своем герое «человека бесспорно смелого, решительного, сметливого» и показывает, какие богатые силы в нем заложены. «Нет, не так-то прост простой русский человек!» — говорят нам эти эпизоды. И если не понять этого, то не поймешь и природы истинного героизма!

Лев Успенский не любит первобытной, стихийной силой своего героя, не пытается законсервировать его

этой «первобытности». Писатель смотрит не назад, а вперед, он пробуждает могучую природную силу Ивана Журавлева, расковывает ее и делает разумной.

Журавлев встречает советского человека, доктора математических наук, выдающегося астронома и одновременно прославленного командира партизанского отряда, хозяйничающего на страх немцам в псковских лесах. В этом человеке — ученом, с «барскими» манерами и речью — Журавлев с удивлением узнает двоюродного брата, родившегося на той же псковской земле, в том же году, что и он сам. Но братьев разделила граница, больше того — эпоха. Иван Журавлев остался в старом мире, его брат рос в мире новом, небывалом. И, глядя на него, Иван Журавлев впервые в жизни реаль-

но ощутил границы своих человеческих возможностей.

Рассказы Льва Успенского свидетельствуют о том, что писатель нашел своего героя и утвердил основные элементы своего стиля. Обращение к сказовой манере повествования для Льва Успенского закономерно, ибо эта форма позволяет ему наиболее полно проявить свою творческую индивидуальность. Однако, есть опасения, что приверженность Успенского этой форме в ином случае может привести писателя к отрыву от реальной почвы, от жизни в ее повседневных и многообразных проявлениях.

Небольшая книжка рассказов Льва Успенского говорит все же о том, что перед нами писатель незаурядного дарования, нашедший в литературе свой особый путь.

Л. КРУПЕНИКОВ

БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ ФОМЫ СМЫСЛОВА

Спросите у любого бойца на фронте — кто такой Фома Смыслов, и вы услышите обстоятельный рассказ о жизни этого бывалого русского солдата, о его боевых делах и, главное, о метких речах и поговорках, многие из которых вошли во фронтовой быт. Фома Смыслов для этих людей не просто реально существующий где-то человек, — он воюет на соседнем участке фронта, все знают о том, что он был ранен, многие пишут ему письма и даже ожидают ответа.

Русский солдатский лубок, достаточно распространенный уже во время Отечественной войны 1812 года, нашел свое продолжение и в годы Великой Отечественной войны. «Заветное слово Фомы Смыслова», написанное С. Кирсановым, быстро завоевало популярность на фронте. В дни обороны Сталинграда осенью сорок второго года русский бывалый солдат, сержант Фома Смыслов, повел свою первую рифмованную речь — беседу о воинской чести:

«Речь поведу о чести на ратном месте. Я, брат, русский бывалый солдат, трижды срок отбывал, дважды немцев бивал. Я на фронт пошел добровольно, потому что горько и больно видеть в неволе родные места. Совесть моя чиста, не отступал ни шагу, не преступал присягу. От смелого смерть бежит. Враг перед ним дрожит. Бой — так бой. Поставь перед самим собой собственную душу и скажи: — Присяги не нарушу. Все стерплю — не отступлю. — В этом и есть красноармейская честь».

В следующем выпуске «Заветного слова» Фома Смыслов говорил о так называемой «непобедимости» немецких захватчиков. Это «Слово» было озаглавлено: «Не так страшен чорт, как его малюют». Затем последовал третий, чет-

вертый, пятый выпуск. Фома Смыслов рассказывал обо всем, что интересует и волнует бойца. Он не уставал говорить о воинском мастерстве, об умении побеждать, учил молодых необстрелянных бойцов решительности в наступлении, помогал своими советами вести бой на уничтожение. И говорил обо всем этом просто и душевно, как старший товарищ и друг. Каждое «Заветное слово» выходило в виде отдельной листовки, над заголовком обычно был изображен сам Фома Смыслов — усатый пожилой сержант, беседующий с группой бойцов. Листовки печатались многомиллионными тиражами, перепечатывались почти всеми дивизионными, армейскими и фронтовыми газетами.

Популярность «Заветного слова» дошла до того, что фашистская пропаганда решилась еще на одну фальшивку и стала выпускать своего «Эрзац-Фому». Фальшивки получились на редкость неумными и чухлыми.

Примерно через год после появления первого «Заветного слова», в очередной своей листовке Фома Смыслов сообщил номер своей полевой почты. Письма Фоме Смыслову посылались и до этого, но за неимением его адреса люди направляли их в те многочисленные военные газеты, в которых перепечатывались «Заветные слова». Ученье количество этих писем пока невозможно, но достаточно и того, что в адрес своей полевой почты Фома Смыслов получил много тысяч писем, некоторая доля которых была использована в работе над этой статьей.

В этом потоке писем представлены фронтовики всех родов войск, всех военных специальностей — рядовые бойцы, сержанты, офицеры, курсанты военных училищ. Смыслову пишут даже жены и дети бойцов... Многие письма

представляют собой замечательные человеческие документы эпохи Великой Отечественной войны, показывают нам людей большого сердца, широкого круга мыслей и интересов — воинов советской страны. Они говорят и о той большой любви, об уважении, которое завоевал на фронте Фома Смыслов.

«Дорогой и многоуважаемый товарищ Фома Смыслов», «Дядя Фома», «Милый наш Фомушка», «Дорогой боевой друг», «Добрый день, дорогой папаша...» — так начинаются письма.

Авторы их, как правило, прежде всего интересуются военным опытом Фомы Смылова и рассказывают о той помощи, какую оказали его советы в их боевых делах. Молодой красноармеец Иван Жуков пишет: «Я вам решил написать письмо и поучиться у вас, как у старого и опытного воина, бить фашистских стервятников навзрык с одной очереди, так как я еще молодой воин Красной Армии и еще мало имею фактов на практике».

А вот письмо бойцов одной из орловских дивизий, написанное в виде подражания рифмованному сказу самого Смылова. (Кстати сказать, количество таких подражаний очень велико, но эти письма гораздо менее интересны и менее задушевные.)

«Мы знаем, ты солдат бравый и в разных боях бывалый, а мы еще в лесах не воевали и до здешних лесов о лесных боях мало знали. Когда дело до них дошло, наше общее мнение нужным нашло обратиться к вам за советом — как бить врага в лесу летом?»

«На вашу речь, которую вы написали последней, мы, бойцы, ответили разгромом немцев в одной из деревень», — пишет красноармеец Бердников.

Аня Затулина, девушка-регулирующая на одной из фронтовых дорог, пишет: «Ваши речи, старого русского солдата, вдохновляют, наставляют нас, молодых воинов, на правильный путь борьбы с кровавым фашизмом. Прочитав ваш листок, я еще напряженней, еще бдительней буду работать на своем посту, ни один примазавшийся шпион не проедет по моей трассе».

Это все письма деловые, их много, большинство из них содержит конкретные вопросы: какой гранатой и куда лучше поражать «Тигра», как сподручнее действовать штыком и т. п. Артиллеристы просят побольше говорить об артиллерии, саперы просят подчеркнуть особую важность саперного дела, по-

вара обижаются, что Фома Смыслов уделяет им мало внимания.

Другая, не менее значительная и не менее интересная группа писем — это письма душевные, дружеские. Бойцы советуются со Смысловым, делятся своими горестями и радостями, обращаются к нему, как к самому близкому другу, за моральной поддержкой. Многие спрашивают о родных и детях Смылова, желают ему доброго здоровья, интересуются подробностями его боевой жизни.

Бойцы старательно собирают выпуски «Заветных слов», многие авторы писем сообщают, что они не раскуривают смысловские листки, а подшивают их один к одному. Девушка-почтальон полевой почты пишет, как благодарят ее бойцы, когда она приносит на передовую листовки с «Заветным словом». Эти листовки она раздает в первую очередь тем, у кого нет писем из дому. Многие бойцы пишут Фоме о потере своих близких и очень хотят установить постоянную переписку с ним. «Больше мне ждать писем не откудет, всех моих немец погубил», — пишет боец Кравцов.

Старые друзья Смылова следят за его боевыми делами и меткими речами еще с дней сталинградской обороны. Вот письмо старшины Ивана Марченко: «Дорогой товарищ, вспоминаю еще сталинградские бои, где, сидя на танке, я читал ваше «Слово». Какую оно несло радость в душу человека, который сидел возле меня и сказал: «Да. И в бой идем и не чувствуем усталости, хотя уже три дня не отдыхали». Как интересно узнать ваш боевой путь, вашу жизнь в части».

Фома Смыслов не просто русский бывалый солдат, это — воин Красной Армии, советский человек. И друзья у него — представители всех свободных народов нашей родины: и русский сибиряк Яков Андриевский, уверенный, что Фома его земляк, и сообщающий, что Фома очень похож лицом на его отца, и украинец Катриченко, и бурят Цыданов, и еврей Глазман, гостеприимно приглашающий Фому после войны к себе на родину в Харьков. Сержант Константин Гогитидзе, грузин, пишет: «Заверяю вас, товарищ Фома, что буду действовать, как вы описываете в вашей листовке. Я по-русски хорошо не владею, но моим оружием я очень хорошо владею. Буду бить врага до самой последней крови, буду мстить врагу за братьев, которые погибли

в бою под Сталинградом,— три брата погибли. Уже, товарищ Фома, настало время, что в скором будущем будет враг разбит и победа будет за нами. Пока до свидания и желаю скоро разбить врага и быть здоровым».

Приведу письмо украинца Ляшко. Ляшко—это тот же Фома Смыслов, человек с его биографией, с его мыслями и поступками. Не выдумай Кирсанов Фому Смыслова, он мог бы взять себе за образец бойца Ляшко. «Уважаемый товарищ Смыслов,— пишет Ляшко,— я тоже немолодой, и могу иметь с вами переписку. Я немец не раз пробував воевать, в 1914 году бил немцев в Галиции, добре дали им духу, когда брали крепость Кронштадт и гнали через усю Австрию. Я, товарищ Смыслов, уже немало прожив, но я усы свои в Красной Армии побрыв, я тут стал моложе, ростом больше, на вид грубый, а сердце мое наполнено к немцу большой злобой. Мое сердце сильною злобой окипело за то, что немец поганит мою Украину и томит моих отца и мать; наверно, я уже не найду в живых своих ребят. Прошу вас, все это учтите и мне за два года хоть одно письмо напишите, поскольку писать мне некуда...»

Сравнительно небольшое место занимают письма из тыла. «Заветное слово» печаталось только в военных изданиях, и в тыл попадали только случайные листовки, посылаемые бойцами своим родным в письмах. Жены, матери и дети бойцов, узнавшие о существовании Фомы Смыслова, считают его своим лучшим защитником и другом. Дети пишут о ходе занятий, о сборе колосков в фонд Красной Армии, просят написать им о военных подвигах «дяди Фомы». Женщины и девушки пишут о своей работе в тылу, обращаются к Фоме за советами по личным вопросам. Привожу письмо Юлии Евлампиевой: «Дорогой брат, товарищ и друг Фома. Я вам пишу это письмо; вот как мне тяжело, дорогой. Получила я письмо от матери. Какое горе, какое большое горе—погиб в бою ее четвертый сын Иван. Я пишу вам это письмо и прошу вас: Фома, родной, отомсти за горе моей матери, за слезы мои и за горе моей дочурки Нади, которая зовет «папа» и не знает, бедная девочка, что ее папа погиб. Как тяжело! Тысячи проклятий послали мы Гитлеру и его армии. Вы можете от меня отмахнуться, как от назойливой мухи, но нет, я прошу—выслушайте меня и ответьте мне.

За детей наших, за отцов, мужей, братьев, за весь советский народ отомстите».

Многотысячный архив писем представляет неограниченные возможности для цитирования, но уже приведенные выше письма позволяют сделать некоторые выводы. Фронт верит и в Фому Смыслова и Фоме Смыслову. Его любят и уважают. Его «Заветные слова» сыграли немалую роль в общем арсенале воспитательных средств, направленных на повышение воинского мастерства, боевой выучки наших бойцов и младших командиров. Более того, они способствовали образованию того столь необходимого «духа войска», о котором говорил Лев Толстой. Кратко, но достаточно убедительно написал об этом Фоме Смыслову боец Юрий Никонов: «Прочитав вашу листовку, я еще крепче стал чувствовать себя против озверелого врага».

Какими средствами достигнуты эти любовь и уважение?

Прежде всего, честным показом трудного солдатского дела. Фома Смыслов просто и душевно говорит суровую правду о войне. Этим он выгодно отличается от таких своих предшественников, как, например, Кузьма Крючков, чье безмерное бахвальство и шапкозакидательство очень быстро набило солдатам оскомину в 1914 году. Смыслов не скрывает от своих боевых товарищей, что война трудное и опасное дело, что «солдатская жизнь трудна и сурова. И рубаха бойцовская в соль пропотела, да и пуля в скатке дыру провертела, шинель прожгла да мимо прошла. Наглотаешься, брат, и дыма и пыли, да и бинт вокруг головы—землю кровью своей окропили...»

Фома Смыслов поднимает самосознание бойца, помогает формированию в нем чувства собственного достоинства, показывая роль и значение каждого бойца в общем деле борьбы с немцами. В этом отношении наиболее интересное «Заветное слово Фомы Смыслова—о сталинском приказе». Фома Смыслов говорит: «Выполняешь дело с душой, значит, ты человек большой, ты помощник маршала всенародного нашего». И дальше: «А ты вот, боец, связист! Дело твое—с проводкой возись. Иди по лесной тропе и тяни себе провод на рогатый КП. Идет проводок потаенно, через листву, от шеста к шесту, и приходит в штаб батальона. Провод пополз по полянке к штабу полка в землянке. Смотришь, доходит

провод твой в штаб фронтовой, а там — столбы замелькали, близка Москва, далека ли, какая ни будь дистанция, а провод в Москву дотянется. Провод вошел в аппарат, по проводу говорят. У провода медных два конца, один в аппарате товарища Сталина, другой — в аппарате бойца. Все, что бойцу командиром приказано, с приказанием Сталина связано. И говорят среди нашего брата, когда собираемся в бой: от Сталина к сердцу солдата — провод прямой.

Бойцы верят Фоме Смыслову потому, что его многочисленные боевые советы — советы очень точные и продуманные, такие, действительно, может дать только бывалый, опытный солдат. Эти советы даются в виде дружеской беседы, — сидит на привале старый, закалившийся в трех войнах сержант и своим певучим говорком поучает друзей, приводя разные случаи из своей богатой боевыми событиями жизни. Речь пересыпается ладными солдатскими поговорками: «Без ухода винтовка вещь бесполезная. Просго-напросто палка железная», «место штыку — в немецком боку», «под русскую мину — немецкую спину».

Больше всего Смыслов учит солдат наступлению: «И скажу я, ребята, снова — есть одно заветное слово, что меня за сердце берет, отпирает замки ворот, нет на свете второго такого — это русское слово: «Вперед!»

Люди верят в Фому Смылова, потому что Кирсанову удалось создать более или менее цельный характер. В каждом новом выпуске перед читателем все более отчетливо вырисовывался образ рассказчика — умелого и мужественного бойца, русского солдата, человека веселого характера и мудрого сердца, душевного и отзывчивого старшего друга и, самое главное, свободного советского человека, прекрасно знающего, за что он борется в этой войне. И этот человек наставлял бойцов, подбадривал их в дни неудач, воспитывал в них наступательный дух, корил нерадивых, учил ненависть к врагу претворять в боевые подвиги. Письма показывают, что «Заветные слова» пали на благодарную почву. Несмотря на ряд принципиальных возражений, которые вызывает «Заветное слово Фомы Смылова», практическая польза большой и очень трудоемкой работы Кирсанова, несомненно, велика.

Русский лубок имеет многовековую историю. Лубочные издания имели широкое распространение еще в XVII веке. В XVII и даже XVIII веках это был, в сущности, единственный вид литературы городских низов. Лубок использовался и в политической борьбе. Известное старинное лубочное издание сказки «О Ерше Ершовиче» является прообразом всех позднейших лубков. К концу XVIII века в связи с появлением новых возможностей для выражения общественных настроений и мыслей — выход газет и журналов, значительный рост книгопечатания и т. д. — значение лубка уменьшается, но ни устные, ни типографские произведения этого жанра не исчезают. Всякое крупное явление в жизни народа неизменно находит свое отражение в лубочной литературе, широко воздействовавшей на общественное мнение. Так было и в Отечественной войну 1812 года.

Наряду с официальными патристическими изданиями типа афишек Ростопчина в народной среде, и особенно в солдатской массе, ходили неизвестно кем сложенные рифмованные рассказы, в которых рисовался образ русского солдата, его мужество и удаль, его замечательная смекалка и способность на всякие выдумки в борьбе с врагом. Авторы этих произведений оставались неизвестными, зато реальные черты приобретал образ героя сказа — смелого, лихого солдата с постоянными поговорками и прибаутками. Война 1914 года почти ничего нового не внесла в этот жанр. Попытки создания образа солдата-героя и появление фигуры Кузьмы Крючкова успеха не имели и очень скоро были оставлены.

В годы гражданской войны Маяковский успешно использовал традицию русского народного лубка в целом ряде своих «Окон РОСТ'а». Позже, уже в 1925 году, он написал стихотворение «К первомайской годовщине», являвшееся, несомненно, продолжением его работы над русским народным лубком. Это стихотворение в первом издании собрания сочинений Маяковского даже графически напечатано так, как печатались лубочные стихи, — без разбивки на строчки.

Кирсанову, несомненно, знакомы лубочные произведения. В начале своего поэтического пути он даже экспериментировал в этой области. Достаточно вспомнить такие его произведения, как «Крестьянская — буденновцам», «Деревен-

ская свадебная», опубликованные в книге «Опыты» в 1927 году.

Естественно было бы ожидать поэтому, что Кирсанов, известный своей любовью к экспериментированию, творчески отнесется к старинной и несколько устаревшей форме лубка. К сожалению, это не произошло. Кирсанов не только не экспериментировал, он взял наиболее старинную форму лубка того периода, когда в лубочных изданиях преобладала сказка с традиционными зачинами и повторениями. В значительной степени он сохранил и лексику того периода, конечно, применяя по необходимости огромное количество новых слов и выражений. Такой совершенно непонятный пietet ничем не оправдан, и следует сказать, что в данном случае поэт пошел по линии наименьшего сопротивления, не поставил себе задачу модернизировать, видоизменить старую форму, наполнил старые мехи новым вином.

Несомненно, перед Кирсановым стояла нелегкая задача — он должен был рассчитывать на многомиллионного читателя. «Фома Смыслов» должен был «дойти» буквально до всех. Но даже расчет на наименее искусшегого в литературе читателя не оправдывает того упрощения, огрубления языка, которое допущено в «Фоме Смыслове». Архантные и нелитературные слова отнюдь не сообщают произведению необходимой простоты. Получается не простота, а упрощенность. Такие слова, как «али» (вместо «или»), «должон», «во как», «хрясь», также устаревшие и несвойственные нашей армии обращения, как бесконечные «братцы» и «ребятушки», не делают «Фому Смыслова» более доступным, а лишь снижают высокий строй мысли, высказываемых в очень ответственные моменты. Так снижает, например, слово «жисть» очень напряженную концовку одного из «Заветных слов»: «целую заветное знамя. Не отступлю ни в жисть. И победа будет за нами. Только — держись». Вызывает резкое возражение странная оценка умственных способностей одного из фронтовых друзей: «Гляжу это я на тебя, товарищ, — видать, котелком недурно варить».

Следование псевдонародной лексике приводит иной раз к более серьезным срывам другого порядка. В одном из «Заветных слов» Фома Смыслов заявляет: «Обстановку я точно вижу — немец нажил в России грыжу. Прежде-то он задавался, а попробовал русскую землю поднять, не по весу ему — на-

дорвался, показали поганому кузькину мать».

Подобное легкомысленное упрощение, такой примитив словаря вряд ли кому-нибудь нужны. При чтении этих строк вспоминаются многие подобные псевдонародные лихие высказывания вплоть до афишек Ростопчина, в одной из которых, выпущенной в день ухода из Москвы, когда армия Кутузова уже отошла, Ростопчин писал:

«Я приеду назад к обеду, и примемса за дело: сделаем, доделаем и злодеев отделаем».

Лев Толстой по поводу этих произведений Ростопчина говорил, что они писаны «тем ёрническим языком, который в своей среде презирает народ и который он не понимает, когда слышит его сверху».

Правда, таких мест, которые слишком напоминали бы подобные произведения, у Кирсанова немного. И все-таки Фома Смыслов из-за характера своего говора кажется «пересаженным» в наши дни из времен Отечественной войны 1812 года. Постепенно выявляется все больший разрыв между фактами его биографии и манерой излагать эти факты. В самом деле, мы узнаем, что еще в 1917 году его просветила «Окопная правда» и ленинские речи. В годы мирной жизни он был передовым рабочим, «стал по знаниям ровня инженеру», был в Москве, на съезде стахановцев, слушал Сталина. Фома Смыслов — член большевистской партии, он — передовой человек нашего времени, и именно этим интересен. «Братцы, ребятушки», «хрясь», «солдат должон» — все это попросту подводит Смыслова, огрубляет и обедняет его характер. Получается, что уже не Кирсанов, а Смыслов, стоящий на более высоком уровне, чем окружающие его бойцы, приспосабливается к своим менее развитым товарищам, норовит говорить нарочито простовато и архаично. Не нужно даже ссылаться на вышеприведенные слова Толстого, чтобы утверждать, что настоящий, реальный Смыслов никогда бы этого не стал делать, ибо это никому не нужно. Происходит странное явление: несмотря на исключительную точность в описании фронтовой обстановки, истинный характер войны, ее масштабы и ее напряжение искажаются Кирсановым, искажаются совершенно невольно, опять-таки благодаря тому, что традиционная форма солдатского лубка не подверглась совершенно необходимому изменению. По вековой

традиции солдат-рассказчик сидел, раскуривая трубку на привале, и неторопливым говорком сыпал свои рифмованные поговорки, вел свой подробный стихотворный сказ. Для войны 1812 года это было типично. В условиях позиционной войны 1914 года это было вполне возможно. Но кто и когда мог бы слушать все тот же неспешный говорок Фомы Смылова в дни круглосуточных стремительных наступлений и безостановочного преследования врага в часы артиллерийской и авиационной подготовки? Должна быть другая емкость слов, другое напряжение речи, более соответствующее темпу современного боя. Лишь иногда Фома Смылов, понимая, что его размеренная речь не подходит, находит нужную краску своему голосу и, оставаясь в пределах присущего ему лубочного характера речи, говорит очень взволнованно и напряженно: «Давайте, солдаты, жить поживее — вы не цветочки на ять. Шагать, так шагать, чтоб дрожала дорожная гать. Петь, так петь, чтобы в голосе — медь, а если в атаку я вас подыму,— иди вперед в огне и дыму. Отставания не прошу никому!»

Перед нами лубок совсем нового звучания, показывающий, что может быть достигнуто в этой форме без нарушения ее традиционных особенностей.

Трудно сейчас сказать, какое место в кирсановском творчестве военных лет занимает «Фома Смылов». Многочисленные стихи Кирсанова, разбросанные по страницам десятков военных и невоенных газет, пока что воедино не собраны, и ни одного сборника стихов Кирсанова за это время не издано.

Отдельные стихи, как например, большое стихотворение «Днепр», опубликованное осенью 1943 года в газете «Красная звезда», написанное в форме лубочного стиха, показывает, что Кирсанов работал над расширением и углублением этой формы, и остается пожалеть, что достигнутые результаты он не попытался применить в «Фоме Смылове».

Работа над лубком — работа трудная и ответственная. Возможно, что Кирсанов не ставил перед собой самостоятельных поэтических задач. Во всяком случае, он их не разрешил. Об этом можно только пожалеть. «Заветное слово Фомы Смылова» лишено той поэтической неповторимости и того своеобразия, которое должно быть присуще всякому поэтическому произведению. Не случайно ведь лейтенант Потапов пишет Смылову: «Сообщите вашу фамилию. У нас все спорят, терются в догадках, — кто пишет беседы? Одни говорят, что Лебедев-Кумач, другие — Зошенко».

«Заветное слово Фомы Смылова» должно быть написано так, чтобы спор между читателями сводился к вопросу: подлинный ли сержант Смылов или Кирсанов пишет эти сказы. Только такой спор мог бы быть почетен для поэта.

Покорное следование окостеневшей форме и псевдонародной лексике помещало Кирсанову создать полноценный, многогранный образ передового человека нашей эпохи, бойца Красной Армии, воина-освободителя. Удачно обрисованы отдельные черты героя — этого нельзя отрицать. Но политическому и общественному значению этой вещи не соответствует ее литературный уровень.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Александр ФАДЕЕВ— Молодая гвардия, роман (продолжение)	1
Галина НИКОЛАЕВА— Лирика	46
Анна АХМАТОВА— Новые стихи	50
Яков ХЕЛЕМСКИЙ— Рига, стихи	52
Николай ДАЛЕКИЙ— Улыбка, рассказ	53
Федор ФОЛОМИН— Снежные стихи	61

ЛЮДИ И ФАКТЫ

П. АНТОКОЛЬСКИЙ и В. КАВЕРИН— Восстание в Собибуре	61
--	----

ПУБЛИЦИСТИКА

Генерал-майор М. ГАЛАКТИОНОВ— Стратегическая цель (продолжение)	80
И. ЛЕЖНЕВ— Пророк империализма и фашизма	91

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Александр АНИКСТ— Наша литература	112
Илья СЕЛЬВИНСКИЙ— О книге В. Катаяна «Маяковский»	125
Ан. ТАРАСЕНКОВ— Новые стихи Бориса Пастернака	136
Л. ТИМОФЕЕВ— Среди стихов, статья третья	140
Л. СКОРИНО— Искусство рассказчика	144
Л. КРУПЕНИКОВ— Боевые друзья Фомы Смылова	150

РЕДКОЛЛЕГИЯ: Вс. Вишневский (отв. редактор), Конст. Симонов,
Ан. Тарасенков, Л. Тимофеев, Ник. Тихонов, М. Толченев.

Адрес редакции «Знамя»: Москва, ул. 25 Октября, д. 10/2, Гослитиздат
Телефон К 0-52-93

Подписано к печати 25/V 1945 г. А—13120 Печ. л. 9³/₄ Уч.-авт. л. 1
В печ. л. 55 000 зн. Тираж 30 000 экз. Цена 5 руб. Зак. 91

6-я типография треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР, Москва
4-й Самочувный пер. д. 17.